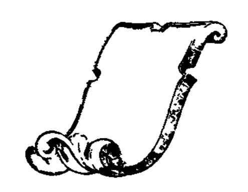
В. Вересаев

ЖИВАЯ ЖИЗНЬ

О Достоевском и Льве Толстом
Аполлон и Дионис (о Ницше)



Москва
Издательство
политической
литературы
1991

ББК 84Р7
В31

Вересаев Викентий Викентьевич.

В31 Живая жизнь: О Достоевском и Л. Толстом: Аполлон и Дионис (о Ницше).— М.: Политиздат, 1991.— 336 с.: портр.
ISBN 5-250-01765-7

В Вересаев считал «Живую жизнь» одним из самых дорогих произведений в своем творчестве Первая часть — «О Достоевском и Льве Толстом» — вышла в 1910 году, вторая — «Аполлон и Дионис» (о Ницше) — в 1914 году В то время они вызвали большую полемику.

В чаду реакции, охватившей русское общество, Вересаев решительно выступал против пессимизма, ницшеанства и декадентства, против культа звериного инстинкта в человеке, воспевая веру в светлые начала жизни

В наши дни эта книга (ее вторая часть не публиковалась с 1929 года) несомненно вызовет интерес широкого круга читателей

В $\frac{4702010101-241}{079(02)-91}$ ББК 84Р7

В оформлении использованы произведения художников
Н. Н. ГЕ, В. Г ПЕРОВА

Заведующий редакцией *В Я Грибенко*
Редактор *Н. Ю Качина*
Художник *М. Л. Уранова*
Художественный редактор *О. Н. Зайцева*
Технический редактор *И. А. Золотарева*

ИБ № 9363

Сдано в набор 27 03 91 Подписано в печать 29 08 91 Формат 60×84¹/₁₆ Бумага книжно-журнальная офсетная Гарнитура «Литературная» Печать офсетная Усл печ л 19,53 Уч-изд л 22,09 Тираж 75 тыс экз Заказ № 3487 Цена 4 р 70 к

Политиздат 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл, 7

Типография издательства «Горьковская правда», 603006, Н Новгород, ул Фигнер, 32

ISBN 5-250-01765-7

«ЧЕЛОВЕК ПРОКЛЯТ»
(О Достоевском)

Тут ирония, тут вышла злая ирония судьбы и природы! Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще! Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!

«Кроткая»

I

«ОДНИ ТОЛЬКО ЛЮДИ, А КРУГОМ НИХ МОЛЧАНИЕ»

Туман, слякоть. Из угрюмого, враждебного неба льет дождь, или мокрый снег падает. Ветер воет в темноте. Летом, бывает, светит и солнце,— тогда жаркая духота стоит над землею, пахнет известкою, пылью, особенно летнею вонью города... Вот мир, в котором живут герои Достоевского. Описывает он этот мир удивительно.

«— Любите вы уличное пение? — спрашивает Раскольников.— Я люблю, как поют под шарманку, в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? А сквозь него фонари с газом блистают...»

И так везде у Достоевского. Живою тяжестью давят читателя его туманы, сумраки и моросящие дожди. Мрачная, отъединенная тоска заполняет душу. И вместе с Достоевским начинаешь любить эту тоску какою-то особенною, болезненною любовью.

В душе художника вечная, беспросветная осень. Он как будто с большим только напряжением может представить себе, что есть на свете радостный блеск солнца, синее небо, манящие полусветы ночи. Он мучительно знает, что все это есть, но все это безнадежно далеко. Воспоминания тусклы и безжизненны, как будто он смотрит на них сквозь запотелое от тумана стекло. Только изредка вдруг ярко мелькнет в памяти обрывок образа,— какой-нибудь «лист зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит»,— и сердце сожмется в тоске по далекому и недостижимому.

Прямо удивительно, как неузнаваемо тускнеет волшебник Достоевский, когда ему приходится описывать природу радостную и прекрасную.

Свидригайлов последнюю ночь перед самоубийством проводит в дрянненьком номере на Петербургской стороне. Холодно, сыро, ветер бьет в окно брызгами. Навсегда врезывается в память картина холодного отчаяния одинокой человеческой души среди холодного равнодушия бушующей осенней ночи. И вот Свидригайлову снится сон:

«Ему вообразился прелестный цветущий пейзаж: светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, троицын день. Богатый, роскошный деревенский коттедж, в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего дома; крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставлено грядами роз; светлая, прохладная лестница, устланная роскошным ковром, обставленная редкими цветами в китайских банках» и т. д.

Что это? Да Достоевский ли написал это? Ведь перед нами начало банальнейшего английского романа, сочиненного какою-нибудь мисс или миссис. Вот сейчас по лестнице поднимется благородный Артур и изящно поклонится прелестной Мэри.

Сон Версилова:

«Голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали,— словами не передашь... О, тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные, луга и рощи наполнялись их песнями и веселыми криками. Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей».

Со стеклянными этими описаниями неловко даже ставить рядом описания природы, например, у Толстого или Тургенева. Вот пара строк из небрежного частного письма Толстого: «Гомер только изгажен нашими с немецкого образца переводами. *Пошлое*, но невольное сравнение: дистиллированная вода и *вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже соринками, от которых она еще чище и свежее*». Ведь вся душа вздрагивает от этой «пошлой» пары строк. А что могут шевельнуть в душе те «прелестные пейзажи», «волшебные панорамы» и «ласковые голубые волны»?

Лексикон Достоевского поразительно богат. Но при описании радующейся природы он как будто теряет собственные слова. Либо «волшебные панорамы» и «ласковые волны», либо еще... цитаты!

Легенда о Великом Инквизиторе: «Настает темная, горячая и *«бездыханная севильская ночь»*. Воздух *«лавром и лимоном пахнет»*... Юноша Ипполит в «Идиоте» говорит: «Как только солнце покажется и *«зазвучит»* на небе (кто это сказал в стихах: «на небе солнце зазвучало»? Бессмысленно, но хорошо!),— так мы и спать». И несколько раз он повторяет этот образ: «когда солнце взойдет и «зазвучит» на небе».

Но только вступит Достоевский в область мрака, туманов и дождей, — и чуждый пришелец мгновенно превращается в державного владыку. Каждое слово его звучит здесь властно и самостоятельно; здесь ему не нужны ни «пейзажи» и «панорамы», ни цитаты.

Глядя на радость и ликование природы, самые разнообразные герои Достоевского испытывают странное, самим им непонятное чувство какой-то отъединенности.

Раскольников стоит на Николаевском мосту. «Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Одна беспокойная и неясная мысль занимала теперь Раскольникова исключительно. Ему случалось, может быть, раз сто останавливаться именно на этом самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму, и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. *Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина...* Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению».

Юноша-нигилист Ипполит («Идиот») пишет в своей исповеди:

«Для чего мне ваша природа, ваши восходы и закаты солнца, ваше голубое небо, когда весь этот пир, которому нет конца, начал с того, что одного меня счел за лишнего? Что мне во всей этой красоте, когда я каждую минуту, каждую секунду должен и принужден теперь знать, что вот даже эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня в солнечном луче, и та даже во всем этом пире и хоре участница, место знает свое, любит его и счастлива, а я один выкидыш и только по малодушию моему до сих пор не хотел понять это!»

Князь Мышкин ходит ранним утром по парку, вспоминает чтение Ипполита. «Одно давно забытое воспоминание зашевелилось в нем и вдруг разом выяснилось. Это было в Швейцарии, в первый год его лечения. Он раз зашел в горы, в ясный, солнечный день, и долго ходил с одною мучительною, но никак не воплощавшеюся мыслью. Пред ним было блестящее небо, внизу — озеро, кругом — горизонт, светлый и бесконечный. Он долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось теперь, как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир, что же это за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может пристать. Каждое утро восходит такое же светлое солнце, каждое утро на водопаде радуга; каждая «маленькая мушка во всем этом хоре участница: место знает свое, любит его и счастлива»; каждая-то травка растет и счастлива! И у всего свой

путь, и все знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит; один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш. О, он, конечно, не мог говорить тогда этими словами и высказать свой вопрос; он мучился глухо и немо; но теперь ему казалось, что он все это говорил и тогда».

Далека от человека жизнь природы: «духом немым и глухим» полна для него эта таинственная жизнь. Далеки и животные. Их нет вокруг человека, он не соприкасается душою с их могучею и загадочною, не умом постигаемою силою жизни. Лишь редко, до странности редко является близ героев Достоевского то или другое животное,— и, боже мой, в каком виде! Искалеченное, униженное и забитое, полное того же мрака, которым полна природа.

Дрянной трактирчик на Петербургской стороне. «Пахло пригорелым маслом. Гадко было. Над головой моей тюкал носом о дно своей клетки безголосый соловей, мрачный и задумчивый» («Подросток»).

Собака Азорка в «Униженных и оскорбленных»: «Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Казалось, она целый день лежит где-нибудь мертвая, и, как зайдет солнце, вдруг оживает».

Перезвон в «Братьях Карамазовых» — «мохнатая, довольно большая и паршивая собака... Правый глаз ее был крив, а левое ухо почему-то с разрезом. Она взвизгивала и прыгала, служила, ходила на задних лапах, бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без движения, как мертвая... Коля, выдержав Перезвона определенное время мертвым, наконец-то свистнул ему: собака вскочила и пустилась прыгать от радости, что исполнила свой долг».

Мельком является еще в «Бесах» «скверная, старая маленькая собачонка Земирка», в «Двойнике» — паршивая уличная собачонка. Вот чуть ли и не все животные, которых мы встречаем в чисто художественных произведениях Достоевского.

Правда, есть еще в «Неточке Незвановой» невероятно свирепый и невероятно умный бульдог Фальстаф, есть в «Маленьком герое» столь же свирепый и дикий конь Танкред (который, однако, ухитряется не сбросить с себя взобравшегося на него одиннадцатилетнего мальчика). Но оба животные в этих ранних произведениях Достоевского слишком явно сочинены, слишком художественно мертвы, чтобы брать их в счет. Таких псов и коней можно рисовать, ни разу в жизни не видавши собаки и лошади,— достаточно только прочесть несколько французских романов тридцатых годов.

Высших животных почти нет вокруг героев Достоевского. Зато в невероятном количестве встают перед ними всякого рода низшие животные, гады и пресмыкающиеся, наиболее дисгармоничные, наибольший ужас и отвращение вселяющие человеку. Тарантулы, скорпионы, фаланги и пауки, пауки без числа. Они непрерывно снятся и представляются чуть ли не всем героям Достоевского без исключения. Как холод, мрак и туманы неодушевленной природы, так эти уроды животной жизни ползут в душу человеческую, чтоб оттолкнуть и отъединить ее от мира, в котором свет и жизнь.

И мир мертвеет для души. Вокруг человека — не горячий трепет жизни, а холодная пустота, «безгласие косности».

«Косность! О, природа! Люди на земле одни,— вот беда! «Есть ли в поле жив человек?» — кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? *Все мертво и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание,— вот земля!»* («Кроткая»).

II

«CATAHA SUM ET NIHIL HUMANUM A ME ALIENUM PUTO»

И одиноко,— сами, как пауки,— сидят люди в глухих углах и смотрят на мир.

Мелкие рассказы Достоевского. Основа всех их одна: в мрачной, безлюдной пустыне, именуемой Петербургом, в угрюмой комнате-скорлупе ютится бесконечно одинокий человек и в одиночку живет напряженно-фантастическою, сосредоточенною в себе жизнью.

«Смеркалось, накрапывал дождь. Ордынов сторговал первый встречный угол и через час переехал. Там он как будто заперся в монастырь, как будто отрешился от света. Через два года он одичал совершенно» («Хозяйка»).

«Жизнь моя была угрюмая и до одичалости одинокая. Моя квартира была моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества» («Записки из подполья»).

И так почти в каждом рассказе... Большие романы, с героями, наиболее близкими душе Достоевского. «Замечательно, что Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей, всех чуждался, ни к кому не ходил и у себя принимал тяжело. Впрочем, и от него скоро все отвернулись... Он решительно ушел от всех, как черепаха в свою скорлупу». «Я — человек мрачный, скучный,— говорит Свидригайлов.— Сижу в углу. Иной раз три дня не разговорят».

Подросток пишет: «Нет, мне нельзя жить с людьми! На сорок лет вперёд говорю. Моя идея — угол... Вся цель моей «идеи» — уединение...» Версилов говорит ему: «Я тоже, как и ты, никогда не любил товарищей».

Кириллов в «Бесах» «не склонен встречаться с людьми и мало с людьми говорит». В убогом своем флигельке все ночи до рассвета он ходит, пьет чай и думает. Одиноко и загадочно проходит сквозь жизнь никому не понятный Николай Ставрогин. Одиноко сидит и думает в отцовском доме Иван Карамазов.

Связи с широкою и таинственною жизнью мира в душе человека нет. Нет также в его душе и естественной связи с другими людьми, с человечеством. Труднее всего для этого человека-одиночки вообразить, как можно *из себя* любить людей или даже просто «быть благородным».

«Да что мне до будущего,— восклицает Подросток,— когда я один только раз на свете живу! Что мне за дело о том, что будет через тысячу лет с этим вашим человечеством, *если мне за это — ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига?*»

Человек органически не способен любить людей — это на все лады повторяют разнообразнейшие герои Достоевского.

«По-моему,— говорит Версилов,— человек создан с физическою невозможностью любить своего ближнего. «Любовь к человечеству» надо понимать лишь к тому человечеству, которое ты же сам и создал в душе своей».

Так же высказываются Иван Карамазов, Настасья Филипповна, многие другие. И уже прямо от себя Достоевский в «Дневнике писателя» пишет: «Я объявляю, что любовь к человечеству — даже совсем немыслима, непонятна и *совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой*» (курсив Достоевского).

Раз же нет этой толкающей силы, раз человеку предоставлено свободно проявлять самого себя,— то какая уж тут любовь к человечеству! Нет злодейства и нет пакости, к которой бы не потянуло человека. Мало того, только к злодейству или к пакости он и потянется.

Иван Карамазов утверждает, что «для каждого лица, не верующего ни в бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему религиозному; эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении».

Сдерживать такого человека могут соображения только чисто внешнего свойства — боязнь, например, общественного мнения и т. п. Достоевского чрезвычайно интересует такой вопрос:

«Положим, вы жили на луне, вы там, положим, сделали злодейство, или, главное, стыд, т. е. позор, только очень подлый и... смешной. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?»

Этот вопрос задает Ставрогин Кириллову. Совсем такой же вопрос задает себе герой «Сна смешного человека». В жизни приходится скрывать свою тайную сущность, непрерывно носить маску. Но сладко человеку вдруг сбросить душную маску, сбросить покровы и раскрыться вовсю.

Кладбище. В могилах зеленая вода. Доносятся из-под земли глухие разговоры, «как будто рты закрыты подушками». Это под землею беседуют мертвецы.

«— Господа, я предлагаю ничего не стыдиться!

— Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! — послышались многие голоса. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.

— Ах, как я хочу ничего не стыдиться! — с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.

— На земле жить и не лгать невозможно,— сказал барон.— Ну, а здесь мы для смеху будем не лгать. Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Все это там, вверху, было связано гнилыми веревками. Долой веревки и проживем в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся!

— Обнажимся, обнажимся! — закричали во все голоса» («Бобок»).

Но и ношение маски дает своеобразное наслаждение. Выбрать только маску с выражением поблагороднее и повозвышеннее. Люди с уважением смотрят и не подозревают, что под маскою смеется над ними и дергается бесстыдное дьявольское лицо.

Князь-отец в «Униженных и оскорбленных» рассказывает про одну красавицу графиню. Она была примерно добродетельна, пользовалась глубоким уважением за свою безупречную чистоту, к падшим относилась с жестокостью беспощадной. «И что же? Не было развратницы развратнее этой женщины, и я имел счастие заслужить ее доверенность. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться. Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении — была его таинственность и наглость обмана. Эта насмешка над всем, о чем графиня проповедовала в обществе как о высоком и ненарушимом, и, наконец, этот внутренний, дьявольский хохот и сознательное попирание всего, чего нельзя попирать,— вот в этом-то, главное, и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо-очарователен».

Когда с ближним случается несчастие, то в душе человека закипает хищная радость,— это уже прямо от своего лица Достоевский настойчиво повторяет чуть не в каждом романе.

«Странное внутреннее ощущение довольства всегда замечается даже в самых близких людях при внезапном несчастии с их ближним; несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия» («Преступление и наказание»). «Вообще в каждом несчастии ближнего есть всегда нечто веселящее посторонний глаз,— и даже кто бы вы ни были» («Бесы»). «Я был потрясен даже до того, что обыкновенное человеческое чувство некоторого удовольствия при чужом несчастии, т. е. когда кто сломает ногу, потеряет честь, лишится любимого существа и пр.— даже обыкновенное это чувство подлого удовлетворения бесследно уступило во мне горю» («Подросток»).

Поистине, человек — это прирожденный дьявол. «Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto»,— заявляет черт Ивану Карамазову. Я — сатана, и ничто человеческое мне не чуждо. Говорит он это по поводу полученного им ревматизма. Но не только подверженность ревматизму,— в человеке вообще нет ничего, что было бы чуждо дьяволу. «Я думаю,— говорит Иван,— что, если дьявол не существует, и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию».

В человеке живет инстинктивная, непреодолимая ненависть и отвращение к гармонии, его тянет к разрушению, к хаосу.

«Как я донес букет, не понимаю,— сказал Версилов.— Мне раза три дорогой хотелось бросить его на снег и растоптать ногой... Ужасно хотелось. Пожалей меня, Соня, и мою бедную голову. А хотелось потому, что слишком красив. Что красивее цветка на свете из предметов? Я его несу, а тут снег и мороз. Я, впрочем, не про то: просто хотелось измять его, потому что хорош».

В душе человеческой лежит дьявол. Великое счастье для жизни, что его удерживает в душевных глубинах тяжелая крышка, которой название — бог.

Федор Павлович Карамазов либеральничает:

«Взять бы всю эту мистику (монастыри), да разом по всей русской земле и упразднить... Чтоб истина скорее воссияла».

Иван возражает:

«Да ведь коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала ограбят, а потом... упразднят».

Если сбросить крышку, то в жизни произойдет нечто ужасающее. Настанет всеобщее глубокое разъединение, вражда и ненависть друг к другу, бесцельное стремление все разрушать и уничтожать. Случится то, что грезится Раскольникову на каторге:

«Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в похо-

де, вдруг начинали сами терзать себя, расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться,— но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса».

III

НЕ ЗАБЫВАЮЩИЕ ПРО СМЕРТЬ

В «Дневнике писателя» Достоевский приводит сочиненное им письмо одного самоубийцы,— «разумеется, материалиста» («Приговор»).

«Я не могу быть счастлив,— пишет самоубийца,— даже и при самом высшем и *непосредственном* счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество — обратимся в ничто, в прежний хаос. *А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья* просто потому, что не буду *и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля*. Это — чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его».

Какие логические доводы можно привести против этого рассуждения? Никаких. Рассуждение вполне правильно. Человек не может не знать, что он умрет,— не завтра, так через сорок лет. Что же это за странная душевная тупость — думать о каком-то счастье, суетливо устраивать мимолетную жизнь, стремиться, бороться, чего-то желать и ждать. Для чего?. Два только есть логически разумных выхода — либо убить себя, либо последовать примеру пирующих во время чумы: отдаться мгновенным наслаждениям, затуманить мысль о неотвратимом будущем и самозабвенно упиваться

ужасом той мертвой пустоты,
Которую в моем дому встречаю,
И новостью сих бешеных веселий,
И благодатным ядом этой чаши.

Однако люди живут, творят жизнь. И проповедникам тлена стоит больших усилий заставить их очнуться на миг и вспомнить,

что существует смерть, все делающая ничтожным и ненужным. В этой странной слепоте всего живущего по отношению к смерти заключается величайшее чудо жизни.

Прометей у Эсхила говорит:

Я смертным дал забвенье смерти.

И хор бессмертных Океанид в изумлении спрашивает:

Но как могли про смерть они забыть?

Этого бессмертным не понять. Не понять, что великая сила жизни делает живое существо *неспособным* внутренно чуять смерть. Только теоретически оно способно представить себе неизбежность смерти, чует же ее душою разве только в редкие отдельные мгновения. «Никто,— говорит Шопенгауэр,— не имеет действительного, живого убеждения в неизбежности своей смерти, ибо иначе не было бы большого различия между его настроением и настроением человека, приговоренного к смертной казни. Напротив, каждый, хотя познает такую необходимость абстрактно и теоретически, но отлагает ее в сторону, как другие теоретические истины, которые, однако, на практике неприложимы,— нисколько не воспринимая их в свое живое сознание».

Бессмертным этого не понять. Не понять этого и *слишком* смертным,— тем, кто носит в духе своем смерть и разложение. Не понимают и герои Достоевского.

Все они полны смутного, мятущегося ужаса перед уничтожением. Одно напоминание о смерти заставляет их содрогаться.

«В сознании о смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для Раскольникова было что-то тяжелое и мистически-ужасное с самого детства». «Боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней»,— сознается Свидригайлов. «Ах, как это страшно! Думаешь ли ты когда-нибудь об этом мраке? Ах, как я боюсь смерти!» (Лиза, сестра Подростка). «Я жизнь люблю, я за жизнь мою ужасно боюсь, я ужасно в этом малодушна!» (Катерина Николаевна в «Подростке»). «Я там все храбрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру, очень скоро умру, но я боюсь, боюсь умирать!» (Лиза в «Бесах»).

Страх смерти — это червь, непрерывно точащий душу человека. Кириллов, идя против бога, «хочет лишить себя жизни, потому что *не хочет страха смерти»*. «Вся свобода,— учит он,— будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить... Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог».

Но как при таком душевном состоянии возможна жизнь? Достоевский решительно отвечает: невозможна. Как нет *внутри* человека сил, способных поднять его хоть немного выше дьявола, — так нет внутри его и сил, дающих возможность смотреть без непрерывного ужаса в лицо неизбежной смерти. Единственная воз-

можность жизни, это — полное уничтожение смерти, т. е. личное бессмертие. Если же нет людям бессмертия, то жизнь их превращается в одно сплошное, сосредоточенное ожидание смертной казни. «Это — чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его»,— пишет самоубийца в «Приговоре».

«Я представляю себе, мой милый,— начал Версилов с задумчивою улыбкою,— что бой уже кончился и борьба улеглась Настало затишье,— и люди остались *одни,* как желали: великая прежняя идея оставила их, люди разом почувствовали великое сиротство... Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к Тому, Который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в такой мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. «Пусть завтра последний день мой,— думал бы каждый, смотря на заходящее солнце,— но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их»... О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть...»

IV

«ЕСЛИ БОГА НЕТ, ТО КАКОЙ ЖЕ Я ПОСЛЕ ЭТОГО КАПИТАН?»

«А что, когда бога нет? — говорит Дмитрий Карамазов.— Тогда, если его нет, то человек — шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без бога-то? Вопрос! Я все про это... Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без бога. Ну, это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу».

Мы видели: без бога не только невозможно любить человечество,— без бога жизнь вообще совершенно невозможна. В записных книжках Достоевского, среди материалов к роману «Бесы», есть рассуждение, которое Достоевский собирался вложить в уста Ставрогину:

«Прежде всего нужно предрешить, чтобы успокоиться, вопрос о том: возможно ли серьезно и вправду веровать? Если же невозможно, то вовсе не так неизвинительно, если кто потребует, что *лучше всего всех сжечь. Оба требования совершенно одинаково человеколюбивы (Медленное страдание и смерть и скорое страдание и смерть)».*

Человек беден безмерно. Это одинокий беспомощный калека с перебитыми ногами, и бог ему необходим, как костыль. Иначе он сейчас же свалится. Человек лишен всякого живого чувства, свободно идущего изнутри. И не только лишен,— он даже не в состоянии представить себе возможности такого чувства. Ну, а мать, например,— способна ли хоть она-то любить своего ребенка «без санкций»? Право, кажется не удивишься, если где-нибудь найдешь у Достоевского недоумение: «как это мать может любить ребенка своего без бога? Это сморчок сопливый может так утверждать, а я понять не могу».

Се — человеки могучие, слава сынов земнородных.
Были могучи они, с могучими в битвы вступали.

Эти Гекторы, Диомеды и Ахиллесы боролись и умирали за то, что считали благом целого, при идее такого убогого бессмертия, которое было хуже всякой смерти. И позднейшие греки, создавшие величайшую в мире культуру, были не то чтобы «добродетельны без бога», а гораздо больше: они были *добродетельнее* своих богов,— это отмечают все исследователи греческой культуры. Еще в большей мере приложимо это к древним римлянам. Юпитер ли вдохновлял Гракхов в их борьбе за народ? Что уж говорить о подвигах и жертвах, которыми полна жизнь за последние века! Без санкции люди боролись и гибли, борются и гибнут.

Все это как будто творится в каком-то совсем другом мире — не в том, в котором Достоевский. В его же мире, если нет человеку бессмертия, то есть только взаимная ненависть, злоба, одиночество и мрак. «Самоубийство,— говорит Достоевский,— при потере идеи о бессмертии становится совершенно и неизбежно даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над скотами» (так и сказано!).

Эта слепота Достоевского на все живое слишком ужасна и трагична, чтобы можно было смеяться. И, однако, комично последовательной иллюстрацией к его мысли о невозможности для человека жить без санкции является событие, о котором рассказывает Петр Верховенский в «Бесах».

«— В пятницу вечером я с офицерами пил. Об атеизме говорили и уж, разумеется, бога раскассировали. Рады, визжат. Один седой бурбон-капитан сидел-сидел, все молчал, вдруг становится среди комнаты, и, знаете, громко так, как бы сам с собой: «Если бога нет, то какой же я после этого капитан?» Взял фуражку, развел руками и вышел.

— Довольно цельную мысль выразил,— зевнул Ставрогин.

— Да? Я не понял; вас хотел спросить».

Мы, может, тоже бы не поняли. Но, подготовленные Достоевским, мы понимаем,— и понимаем, что это действительно весьма даже цельная мысль.

V

«СМЕЛЕЙ, ЧЕЛОВЕК, И БУДЬ ГОРД!»

В сумеречной глубине души человеческой лежит дьявол. Ему нет воли. Его держит заключенным в низах души тяжелая крышка — бог. Дьявол задыхается в глубине, рвется на волю, просит жизни. И все очевиднее становится для человека, что это душа его просит воли, что рвущийся из-под крышки дьявол — это и есть он сам.

Что же делать? «Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!» Нужно только дерзнуть, нужно только сбросить крышку — и будет свобода. Встанет придавленный дьявол, разомнется и поведет человека. Наступит цельная жизнь и яркое счастье,— пускай страшная жизнь, дьявольское счастье, но жизнь и счастье.

Человек из подполья пишет: «С чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно-выгодного хотения? Человеку надо одного только *самостоятельного* хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила, к чему бы ни привела».

«Если нет бога,— говорит Кириллов,— то вся воля — моя. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что своевольничал с краю, как школьник. Неужели никто, кончив бога, не осмелился заявить своеволие в самом полном пункте? Это так, как бедный получил наследство и испугался, и не смеет подойти к мешку, почитая себя малосильным владеть».

И вот люди начинают заявлять своеволие, начинают проявлять свое самостоятельное хотение.

Самостоятельное хотение, раз сброшена с души упомянутая крышка,— это, конечно, что-то глубоко отъединенное от всего в мире, идущее исключительно в собственное *я* человека. Раскольников говорит: «Трудолюбивый народ социалисты и торговый; «общим счастьем» занимаются. Нет, мне жизнь однажды дается и никогда ее больше не будет; я не хочу дожидаться «всеобщего счастья». Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить». В чем же жизнь? «Свобода и власть, главное — власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель!.. Кто крепок и силен умом и духом, тот над людьми и властелин. Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь!»

Чтобы доказать себе, что он «смеет», Раскольников убивает старуху процентщицу. «Я не человека убил, я принцип убил... Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; *для себя убил, для себя одного*... Мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать,

вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая, или право имею?»

Оказалось — тварь дрожащая. Проявить «самостоятельное хотение» до конца Раскольников не посмел. Сам идет на раскрытие своего преступления, по-ребячески задирает Заметова и Порфирия, раскидывает на себя сети и беспомощно запутывается в них. С презрением, с отвращением к себе за свою слабость он идет каяться, доносит на себя, отправляется на каторгу.

Раскаяния никакого Раскольников не испытывает, и вовсе не мучения совести заставляют его сознаться в преступлении,— это великолепно показал Мережковский. Перечитываешь «Преступление и наказание» — и недоумеваешь: как могли раньше, читая одно, понимать совсем другое, как могли видеть в романе истасканную «идею», что преступление будит в человеке совесть и в муках совести несет преступнику высшее наказание.

«Я сейчас иду предавать себя. *Но я не знаю, для чего я иду предавать себя,*— говорит Раскольников.— Преступление? Какое преступление? — вскричал он в каком-то внезапном бешенстве.— Не думаю я о нем, и смывать не думаю! Только теперь вижу ясно всю нелепость моего малодушия, теперь, как уж решился идти на этот ненужный стыд! Просто от низости и бездарности моей решаюсь!»

И с усмешкою дьявола он думает: «А любопытно, неужели в эти будущие пятнадцать—двадцать лет так уже смирится душа моя, что с благоговением буду хныкать пред людьми, называя себя ко всякому слову разбойником?.. Каким же процессом может это произойти? И зачем, зачем же жить после этого?»

Уже будучи на каторге, «он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого *промаха*... И хотя бы судьба послала ему раскаяние — жгучее раскаяние, разбивающее сердце, от ужасных мук которого мерещится петля и омут. О, он бы обрадовался ему! Муки и слезы — ведь это тоже жизнь. *Но он не раскаивался в своем преступлении*... Вот в чем одном признавал он свое преступление: *только в том, что не вынес его и сделал явку с повинной»*.

В конце романа Достоевский сообщает, что в Раскольникове произошел какой-то переворот, что он возродился к добру. «Это могло бы составить тему нового рассказа, но теперешний рассказ наш окончен».

С «самостоятельным хотением» вступает в жизнь и Подросток. На груди у него документ, дающий ему шантажную власть над гордою красавицею, а в голове — «идея». Идея эта — уединение и могущество. «Мне нужно то, что приобретается могуществом и

чего никак нельзя приобрести без могущества, это — уединенное и спокойное сознание силы! Вот самое полное определение свободы, над которым так бьется мир! Свобода. Я начертил, наконец, это великое слово... Да, уединенное сознание силы — обаятельно и прекрасно»...

«Зачем лезть к людям, которые вас не хотят? Не лучше ли все порвать и уйти к себе? К себе, одному себе! Вот в чем вся моя «идея».

Действительность оказывается более сложною и менее гнусною, чем предрешил Подросток. В падениях своих и унижениях он незаметно теряет идею. Для умудренного опытом юноши наступает «новая жизнь». Но опять — «в записки мои все это войти уже не может, потому что это — уж совсем другое».

Ставрогин — у него «идеи» нет. Его даже раздражает, когда все вокруг навязывают ему какие-то идеи. Он «не знает различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою шуткой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества». Он «в обоих полюсах нашел одинаковость наслаждения», стер все «черты» и как будто живет вовсю. Но одинаково во всем перед ним открывается темная, мертвая пустота, и он убивает себя. В предсмертном письме Ставрогин пишет: «Я могу пожелать сделать доброе лицо и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого, и тоже чувствую удовольствие. Но и то и другое чувство всегда слишком мелко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком несильны; руководить не могут».

Иван Карамазов учит: «Так как бога и бессмертия нет, то новому человеку позволительно стать человекобогом, даже хотя бы одному в целом мире, и с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится... Все дозволено». Мысли свои Иван сообщает лакею Смердякову, Смердяков убивает отца-Карамазова при молчаливом невмешательстве Ивана. Иван идет в суд доносить на себя. И черт спрашивает его:

«Для чего же ты туда потащишься, если жертва твоя ни к чему не послужит? *А потому, что ты сам не знаешь, для чего идешь! О, ты много бы дал, чтобы узнать самому, для чего идешь!..* Ты всю ночь будешь сидеть и решать: идти или нет? Но ты все-таки пойдешь, и знаешь, что пойдешь, сам знаешь, что как бы ты не решался, а решение уже не от тебя зависит. Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь — это уж сам угадай, вот тебе загадка!»

Какое-то глубокое, неслучайное бессилие разъедает у Достоевского всех людей, дерзающих проявить самостоятельное свое хотение. Как в отчиме Неточки Незвановой, в них все время происходит «отчаянная, лихорадочная борьба судорожно-напряженной воли и внутреннего бессилия».

«Нянька будет моя!» — думает Раскольников про Соню Мармеладову. Ставрогин говорит Дарье Павловне: «Мне кажется, что вы интересуетесь мною, как иные богомольные старушонки, шатающиеся по похоронам, предпочитают иные трупики попригляднее перед другими». Лиза говорит ему же: «Не хочу я быть вашею сердобольною сестрою, хотя вы всякого безногого и безрукого стоите». Версилов жене: «Соня, я хоть и исчезну теперь опять, но я очень скоро возвращусь, потому что, кажется, забоюсь. Забоюсь,— так кто же будет лечить меня от испуга, где же взять ангела, как Соню?» Подросток пишет про себя: «Валялась на постели какая-то соломинка, а не человек,— и не по болезни только!» Иван Карамазов жалуется Алеше на черта: «Он меня трусом назвал! «Не таким орлам воспарять над землей!» Это он прибавил!»

Один только из всех героев Достоевского находит в себе достаточно силы, чтобы бесповоротно переступить черту и заявить своеволие до конца. Это — Кириллов в «Бесах». И как же чудовищно жалко это торжество человеческого своеволия, каким ужасным поражением выглядит победа!

«Вся свобода,— учит Кириллов,— будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить. *Вот всему цель.*

— Цель? Да тогда никто, может, и не захочет жить?

— Никто,— произнес он решительно.

Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман. Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Тот — бог. Сознать, что нет бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал,— есть нелепость. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Имя его будет человекобог... Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас бог станет.

— Не успеет, может быть,— заметил я.

— Это все равно,— ответил Кириллов тихо, с покойною гордостью, чуть не презрением».

Как «все равно»? Дело вот в чем: «Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо». «В этой идее для Кириллова как будто заключалась чуть не победа».

И вот происходит торжественное вступление человека в царство свободы, светлое преображение человека в бога:

«В углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов и стоял ужасно странно — неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, плотно прижавшись затылком к стене, в самом углу,

казалось, желая весь стушеваться и спрятаться. Петр Степанович остановился, пораженный ужасом. Его главное поразило то, что фигура, несмотря на крик и на бешеный наскок его, даже не шевельнулась ни одним своим членом,— точно восковая. Бледность лица ее была неестественная, черные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то точку в пространство. Петр Степанович провел свечой сверху вниз и опять вверх, освещая со всех точек и разглядывая это лицо. Он вдруг заметил, что Кириллов хоть и смотрит куда-то перед собой, но искоса его видит и даже, может быть, наблюдает. Тут пришла ему мысль поднести огонь прямо к лицу «этого мерзавца», поджечь и посмотреть, что тот сделает. Вдруг ему почудилось, что подбородок Кириллова шевельнулся и на губах как бы скользнула насмешливая улыбка,— точно тот угадал его мысль. Он задрожал и, не помня себя, крепко схватил Кириллова за плечо.

Затем произошло нечто безобразное и быстрое. Едва он дотронулся до Кириллова, как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку; подсвечник полетел со звоном на пол, и свеча потухла. В то же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце своей левой руки. Он закричал и вне себя три раза изо всей силы ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего ему палец Кириллова. Наконец, палец он вырвал и, сломя голову, бросился бежать из дому, отыскивая в темноте дорогу. Вослед ему из комнаты летели страшные крики:

– Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас!..

Раз десять. Но он все бежал и уже выбежал было в сени, как вдруг послышался громкий выстрел».

Кириллов стал «богом»... Чудовищные призраки пляшут вокруг и хохочут и приветствуют возвращение человека в недра перво-зданного хаоса.

VI

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КВАДРАТНОГО КОРНЯ

В чем же дело? Почему неизбежно подкашиваются бессилием попытки любимейших героев Достоевского зажить свободною, цельною жизнью? Почему никому не удается испытать светлое торжество «самостоятельного хотения»?

Да потому что на живое самостоятельное хотение ни у кого из них мы не видим даже намека. Кто из упомянутых героев действительно цельно, широко и свободно проявляет себя? Никто. Никто не живет. Каждый превратил свою живую душу в какую-то лабораторию, сосредоточенно ощупывает свои хотения, вымеривает их, сортирует, уродует, непрерывно ставит над ними самые за-

мысловатые опыты,— и понятно, что непосредственная жизнь отлетает от истерзанных хотений.

Чуткий, благородный, самоотверженный Раскольников совершает бессмысленнейшее, никому не нужное убийство единственно для опыта над собою: посмеет ли он «переступить черту»?

«Неужели ты думаешь,— говорит он Соне,— что я, как дурак, пошел очертя голову? *Я пошел, как умник, и это-то меня и сгубило!* И неужели ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать: вошь ли человек? — то, стало быть, уж не вошь человек *для меня,* а вошь для того, кому этого и в голову не заходит и кто прямо без вопросов идет... Разве так идут убивать, как я тогда шел? Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя навеки!»

Иван Карамазов после последнего своего свидания со Смердяковым решает идти в суд заявить на себя, то есть возвратиться по сю сторону «черты» На улице он спотыкается на замерзающего в снегу мужичонку,— час-другой назад сам же Иван ни за что, ни про что свалил его толчком в снег. Иван тащит мужичонку, вызывает людей, щедрою рукою сыплет деньги, чтобы спасти его. «Иван Федорович остался очень доволен.— Если бы не было взято так твердо решение мое на завтра,— подумал он вдруг с наслаждением,— то *не остановился бы я на целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо его и только плюнул бы на то, что он замерзнет...»*

Всего замечательнее, что ведь и действительно в таком случае не остановился бы! И не потому не остановился бы, что ему не было бы жалко мужичонку,— нет! В качестве «переступившего черту» он прямо счел бы себя *не в праве* остановиться!

Ставрогин — это еще более форменный экспериментатор, вернее — фанатический фетишист «черты». Он только и делает, что упражняется в переступании черты и ищет для себя «бремени». Для этого он женится на слабоумной девице Лебядкиной, публично сносит пощечину Шатова, объявляет о своем браке с Лебядкиной, не мешает ее убийству. Никакой цели у Ставрогина нет, которая бы освящала его упорное шагание через черту. Черта сама по себе становится для него какой-то противоестественною, самодовлеющею целью. «Я пробовал везде мою силу,— пишет он в предсмертном письме.— *На пробах для себя и для показу,* как и прежде во всю мою жизнь, она оказывалась беспредельною. Но к чему приложить эту силу,— вот чего никогда не видал, не вижу и теперь... Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы: *но я не люблю и не хотел разврата»...*

Кириллов — детски прекрасная, благородная душа, ясно и чисто звучащая на все светлое в жизни. Но его, как и всех других,

«съела идея». Человек обязан заявить своеволие, все на свете — «все равно», и «все хорошо». «Кто с голоду умрет, кто обидит и обесчестит девочку,— хорошо. И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо, и кто не размозжит, и то хорошо. Все хорошо».

И Кириллов заставлял себя спокойно смотреть на всякую гнусность, пишет под диктовку Верховенского предсмертное письмо, в котором берет на себя подлое убийство Шатова. В восторге вопит:

«Кому объявляю? Всему миру? Браво! *И чтобы не надо раскаяния. Не хочу, чтобы раскаиваться!*»

Можно ли больше коверкать, ломать свою душу, чем делают эти люди, и все, им подобные! Ведь здесь такой надрыв, такой надрыв, что страшнее становится за человека, чем от самого зверского злодейства!

Происходит что-то совершенно непостижимое. Человек стоит перед «чертою». Кто-то запретил ему переступать черту. Человек свергнул того, кто запрещает, и стер черту. Казалось бы, перед человеком свободно открылся мир во всем разнообразии его возможностей Человек может идти, *куда хочет*. Но не так для героев Достоевского. Переступили черту — и стоят. Им за чертою-то, может быть, делать нечего. Однако они стоят, смотрят назад и не отрывают глаз от линии бывшей черты.

Дьявол толкнул их на «самостоятельное хотение», на желание переступить черту. Но свободное хотение это они спешат немедленно превратить в «идею», более того - в своеобразный *долг*. И начинается какое-то неслыханное, противоестественное, бесцельное подвижничество — подвижничество во имя дьявола. Сознательно закрываются глаза на живую жизнь вокруг, истязается и кастрируется душа. Огонь самых пламенных стремлений, трепет глубочайших дум, нечеловеческое напряжение воли — все самоотверженно несут эти подвижники на свою «черту». Весь мир, вся жизнь для них -- в этой узенькой черте.

Подвижничество всегда нравственно красиво. Вот почему таким глубоким благородством дышат и эти дьяволовы подвижники. Но зло, как цель, совершенно несовместимо с подвижничеством. Вот почему подвижники эти так вопиюще неестественны и фантастичны. В жизни они совершенно невероятны, в действительности никогда не было и не могло быть ни Раскольникова, ни Кириллова, ни Ивана Карамазова. Был только один-единственный такой подвижник -- сам Достоевский, и то он мог быть им только потому, что подвижничество свое проделывал в духе, а не в жизни.

«Рассудок, господа,— пишет подпольный человек,— есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок, а хотение есть проявление всей жизни, т. е. всей человеческой жизни,

и с рассудком, и со всеми почесываниями. И хоть жизнь наша, в этом проявлении, выходит зачастую дрянцо, *но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня*... Рассудок — только какая-нибудь одна двадцатая доля всей моей способности жить. Натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет... Мы — мертворожденные, да и рождаемся-то, давно уж, не от живых отцов, и это нам все более нравится. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи».

Есть у Льва Толстого один образ человека, «переступившего черту». Это — Долохов в «Войне и мире». Никаких над ним нет «норм», кроме «самостоятельного хотения». «От него самого происходит суд его и власть его»,— как говорит пророк Аввакум про народ халдеев. Долохов зверски жесток и женственно-нежен, лихой смельчак и подлый шулер. Во всех отношениях он неизмеримо ниже Раскольникова или Ивана Карамазова. Но в нем одно есть, чего нет в них — живая жизнь. И прямо эстетически отдыхаешь душою, глядя, как с наглою улыбкою в выпуклых глазах, он шагает через «черту», даже не видя ее, мимо всех этих скорбных, немощных жизнью подвижников, застывших над чертою в сосредоточенном извлечении из нее квадратного корня.

VII

БИФШТЕКС НА ЖЕСТЯНОМ БЛЮДЦЕ

Есть у Достоевского другие герои: в извлечении квадратного корня они неповинны, теорией «черты» нисколько не интересуются, хотений «нормальных» и «добродетельных» не признают, а просто живут, проявляя себя и свое «самостоятельное хотение». Характерен среди них Свидригайлов. И чрезвычайно замечательно загадочное, очень трудно понимаемое отношение к нему Раскольникова.

Никаких «норм» Свидригайлов над собою не знает. С вызывающим и почти простодушным цинизмом он следует только своему «самостоятельному хотению». Нет мерзости и злодейства, перед которыми бы он остановился. Он изнасиловал малолетнюю девочку, довел до самоубийства своего дворового человека. Конечно, не смигнув, подслушивает за дверями, конечно, развратник и сладострастник. И решительно ничего не стыдится.

«— Вы, кажется, игрок?

— Ну, какой я игрок. Шулер — не игрок.

— А вы были шулером?

— Да, был и шулером.

— Что же, вас бивали?

— Случалось...»

Но этот же Свидригайлов берет на себя устройство детей умершей Мармеладовой, хлопочет за них, помещает в сиротские заведения, собирается вытащить из омута проститутку Соню Мармеладову.

«— С какими же целями вы так разблаготворились? — спросил Раскольников.

— Э-эх! Человек недоверчивый! — засмеялся Свидригайлов.— Ведь я сказал, что эти деньги у меня лишние. Ну, а просто, по человечеству, не допускаете, что ль?»

После этого-то поступка Свидригайлова в отношении к нему Раскольникова и появляется та загадочность, о которой я говорил.

Дела Раскольникова уже очень плохи, он близок к тому, чтоб идти и донести на себя.

«В последнее время Раскольников, хоть и всегда почти был один, никак не мог почувствовать, что он один. Он сознавал как будто чье-то близкое и тревожное присутствие, не то, чтобы страшное, а как-то уж очень досаждающее... Было что-то требующее немедленного разрешения, но чего ни осмыслить, ни словами нельзя было передать. Все в какой-то клубок сматывалось».

Раскольников мечется в своей каморке. Морщась от стыда, он вспоминает о последней встрече с Соней, о своем ощущении, что в ней теперь вся его надежда и весь исход. «Ослабел, значит,— мгновенно и радикально! Разом! И ведь согласился же он тогда с Соней, сердцем согласился, что так ему одному с этаким делом на душе не прожить! *А Свидригайлов?..* Свидригайлов загадка... *Свидригайлов, может быть, тоже целый исход».*

Сам Свидригайлов держится так, как будто он действительно знает какой-то исход. Случайно встретившись с Раскольниковым на лестнице, он говорит:

«Да что вы, Родион Романыч, такой сам не свой? Вы ободритесь. Вот дайте поговорим... Эх, Родион Романыч,— прибавил он вдруг,— *всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху-с... Прежде всего!»*

Непонятные слова эти глубоко западают в душу Раскольникова. Он говорит Разумихину: «Вчера мне один человек сказал, что надо воздуху человеку, воздуху, воздуху! Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, что он под этим разумеет».

Происходит последняя беседа Раскольникова с Порфирием. Порфирий дает ему срок денек-другой и советует добровольно пойти и заявить на себя.

Расставшись с Порфирием, Раскольников спешит к Свидригайлову. «Чего он мог надеяться от этого человека, он и сам

не знал. Но в этом человеке таилась какая-то власть над ним... Странное дело, никто бы, может быть, не поверил этому, но о своей теперешней, немедленной судьбе он как-то слабо, рассеянно заботился. *Его мучило что-то другое, гораздо более важное, чрезвычайное,— о нем же самом и ни о ком другом, но что-то другое, что-то главное...»*

«И он спешил к Свидригайлову; *уж не ожидал ли он чего-нибудь от него нового, указаний, выхода?* И за соломинку ведь хватаются! Может быть, это была только усталость, отчаяние; может быть, надо было не Свидригайлова, а кого-то другого, а Свидригайлов так тут подвернулся. Соня? Но Соня была ему страшна. Соня представляла собою неумолимый приговор, решение без перемены. *Тут — или ее дорога, или его.* Нет, не лучше ли испытать Свидригайлова: что он такое? И он не мог не сознаться внутри, что действительно тот на что-то ему давно уже как бы нужен.

Ну, однако ж, что может быть между ними общего? Даже и злодейство не могло бы быть у них одинаково. Этот человек очень к тому же был неприятен, очевидно, чрезвычайно развратен, хитер, может быть, очень зол. *Правда, он хлопотал за детей Катерины Ивановны;* но кто знает, для чего и что это означает?»

Встреча происходит — и почему-то совершенно разочаровывает Раскольникова. «Ему сделалось и тяжело, и душно, и как-то неловко, что он пришел сюда. *В Свидригайлове он убедился, как в самом пустейшем и ничтожнейшем злодее в мире...»* «И я мог хоть мгновение ожидать чего-нибудь от этого грубого злодея, от этого сладострастного развратника и подлеца!»

А чего же он ждал от Свидригайлова?

От Сони Раскольников ушел потому, что там была «или ее дорога, или его». Ее дорога — возвращение по сю сторону черты, к добру. Его дорога — пребывание за чертою, скорбное подвижничество во имя дьявола. Какой же дороги он ждал от Свидригайлова?

Во время этой последней их беседы, когда Свидригайлов, хохоча над Раскольниковым, с задирающим цинизмом выкладывает перед ним всю свою душевную грязь, Раскольников снова вспоминает о детях Мармеладовой.

«— Вы однако ж пристроили детей Катерины Ивановны. Впрочем... впрочем, вы имели на это свои причины... я теперь все понимаю».

Неужели хлопоты Свидригайлова о детях Катерины Ивановны внушили было Раскольникову предположение, что Свидригайлов каким-то образом сумел не переступить только, а действительно стереть «черту»? Что он в себе — *один,* что вокруг него тот вольный

воздух, воздух, воздух, которого нет в душной психологической лаборатории Раскольникова?

Однажды, много раньше, в жизни самого Раскольникова было мгновение, когда ему вдруг почудился вокруг этот вольный воздух. Он доставил раздавленного каретою Мармеладова на квартиру и отдал его жене свои последние двадцать рублей.

«Раскольников сходил по лестнице тихо, не торопясь, весь в лихорадке, полный одного *нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни.* Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение».

На лестнице он беседует с полицейским приставом, который одно время подозревал его в убийстве старухи.

«— А как вы однако ж кровью замочились,— заметил пристав, разглядев при свете фонаря несколько свежих пятен на жилете Раскольникова.

— Да, замочился... *Я весь в крови!* — проговорил с каким-то особенным видом Раскольников, затем улыбнулся, кивнул головой и пошел вниз по лестнице».

Он «весь в крови». В крови старухи, которую убил, и в крови Мармеладова, которого спасал.

Раскольников останавливается на мосту,— несколько часов назад он с этого моста хотел броситься в воду.

«— Довольно! — произнес он решительно и торжественно.— Прочь миражи, прочь напускные страхи! Есть жизнь! Разве я сейчас не жил?»

Но вполне очевидно, что жизнь он видит вовсе не в простом возвращении к «добру». От убитой старухи он не думает отрекаться.

«Царство ей небесное и,— довольно, матушка, пора на покой! Царство рассудка и света теперь! И... и воли, и силы... *И посмотрим теперь! Померяемся теперь!* — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее».

«Что же, однако, случилось такого особенного, что так перевернуло его? — спрашивает Достоевский.— Да он и сам не знал; ему, как хватавшемуся за соломинку, вдруг показалось, что и ему «можно жить, что есть еще жизнь». Может быть, он слишком поспешил с заключением, но он об этом не думал».

Так вот: не ожидал ли он теперь найти в Свидригайлове эту «полную жизнь», это умение нести на себе две крови, умение вместить в своей душе благодарный лепет Полечки Мармеладовой и вопль насилуемой племянницы г-жи Ресслих? Может быть, в глубине души самого Достоевского и жила безумная мысль, что вообще это каким-то образом возможно совместить. Но только

полною растерянностью и отчаянием Раскольникова можно объяснить, что он такого рода ожидания питал по отношению к Свидригайлову.

Свидригайлов, конечно, разочаровывает Раскольникова.

Однако Раскольников не замечает, что на его безмолвный вопрос Свидригайлов дает ему ужасающий, но совершенно точный ответ.

«— Ведь вы пришли ко мне теперь за чем-нибудь новеньким? Ведь так? Ведь так? — настаивал Свидригайлов с плутоватою улыбкою.— Ну, представьте же себе после этого, *что я сам-то, еще ехав сюда, на вас же рассчитывал, что вы мне тоже скажете чего-нибудь новенького, и что вот от вас же удастся мне чем-нибудь позаимствоваться! Вот какие мы богачи!*

— Чем это позаимствоваться?

— Да что вам сказать? Разве я знаю, чем? Видите, в каком трактиришке все время просиживаю, и это мне всласть, т. е. не то чтобы всласть, а так, надо же где-нибудь сесть... Ну, был бы я хоть обжора, клубный гастроном, а то ведь вот что могу есть! (Он ткнул пальцем в угол, где на маленьком столике, на жестяном блюдце, стояли остатки ужасного бифштекса с картофелем.)»

Свидригайлов видит Раскольникова насквозь. Видит, что в свое дьяволово подвижничество он только спасается от невыносимости душевных противоречий, что подвижничество Раскольникова — не более, как «ужасный бифштекс с картофелем». Но такой у него самого в душе хаос, что ему не до гастрономии. Он рад бы удовольствоваться хотя бы даже раскольниковским «бифштексом», и бифштекс этот был бы ему «всласть,— то есть, не то чтобы всласть, а так»,— надо же что-нибудь есть, чтоб не умереть... «Вот какие мы богачи!» «Идея» Раскольникова, мученически-упорное извлечение им квадратного корня — это все-таки дает хоть призрак жизни, дает силу не чувствовать смертной боли разрывающейся на куски души.

И, злобно смеясь, Свидригайлов вскрывает перед Раскольниковым всю чепуху противоречий, которой Раскольников старается не замечать.

«Но, однако, что же это такое? Объясните, ради бога, голубчик! Вы вот все охаете да охаете! Шиллер-то в вас смущается поминутно. А теперь вот и у дверей не подслушивай... Если вы убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить, чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку... Понимаю, какие у вас вопросы в ходу: нравственные, что ли? Вопросы гражданина и человека? А вы их побоку; зачем они вам теперь-то? Хе-хе! Затем, что все еще и гражданин, и человек? А коли так, и соваться не надо было; нечего не за свое дело браться».

VIII

«ВОТ КАКИЕ МЫ БОГАЧИ»

В последнюю ночь перед самоубийством Свидригайлов в полубреду вспоминает про Раскольникова.

«А шельма, однако ж, этот Раскольников! Много на себе перетащил. Большою шельмой может быть со временем, когда вздор повыскочит, а теперь слишком уж жить ему хочется. Насчет этого пункта этот народ — подлецы».

Самому Свидригайлову *слишком* жить не хочется. Отдав душу свою на растерзание «самостоятельным хотениям», он с наружным спокойствием и с холодным отчаянием в душе идет к самоубийству.

Раскольников убедился в нем, как в грубом злодее, сладострастном развратнике и подлеце. Но Достоевский замечает, что заключение Раскольникова было неправильно. И, действительно, Свидригайлов гораздо «оригинальнее», чем думает Раскольников. «Оригинальность» эта ярко вскрывается в чудовищной сцене последнего его свидания с Дунею.

Свидригайлов заманил Дуню в свою пустую квартиру. Пытается заставить отдаться ему угрозою, что донесет на ее брата... Когда это не действует, прямо идет на насилие. Дуня выхватывает револьвер.

«— Ага! Так вот как! — вскричал он в удивлении, но злобно усмехаясь.— Ну, это совершенно изменяет ход дела. *Вы мне чрезвычайно облегчаете дело сами,* Авдотья Романовна!»

Он идет на нее. Циничными, намеренно пошлыми словами напоминает про то, что было между ними.

«— Видно, забыли, как в жару пропаганды уже склонялись и млели... Я по глазкам видел; помните, вечером-то, при луне-то, соловей-то еще свистал?

Он усмехнулся.

— Знаю, что выстрелишь, зверок хорошенький. Ну, и стреляй!»

Дуня стреляет. Пуля слегка задевает голову Свидригайлова. Но он,— этот «грубый злодей, сладострастный развратник и подлец»,— он не бросается на Дуню.

«— Ну, что ж, промах! *Стреляйте еще, я жду,*— тихо проговорил Свидригайлов, все еще усмехаясь, но как-то мрачно.— Этак я вас схватить успею, прежде чем вы взведете курок!»

Дуня стреляет вторично. Осечка.

«— Зарядили неаккуратно. Ничего! У вас там еще есть капсюль. Поправьте, я подожду.

Он стоял перед нею в двух шагах, ждал и смотрел на нее с дикою решимостью, воспаленно-страстным, тяжелым взглядом. Дуня поняла, что он скорее умрет, чем отпустит ее».

Что это происходит? Словно в бредовом кошмаре, мы видим, как человек раздваивается на наших глазах, мучительно распадается на два существа; существа эти схватываются, душат друг друга, и одно из них покупает у другого право на злодейство ценою почти неминуемой смертной опасности.

Дуня бросает револьвер.

«— Так не любишь? — тихо спросил Свидригайлов.— И... не можешь? Никогда? — с отчаянием прошептал он».

Мгновение «ужасной, немой борьбы». Свидригайлов отходит к окну, не глядя, кладет на стол ключ от выхода.

«— Берите, уходите скорей!.. Скорей!»

«В этом «скорей» прозвучала страшная нота. Дуня бросилась к дверям.

Странная улыбка искривила лицо Свидригайлова, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния»

Да, Свидригайлов вправе был смеяться над Раскольниковым, видевшим в нем какой-то «исход». Это он-то исход! В душе корчатся и бьются два живых, равновластных хозяина, ничем между собою не связанных. Каждому из них тесно, и ни один не может развернуться, потому что другой мешает. Сам не в силах жить, и не дает жить другому.

«Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь,— в ужасе говорит Версилов.— Точно подле вас стоит ваш двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превеселую вещь, и вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь, бог знает, зачем, т. е. как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил, хотите».

«Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут,— говорит Дмитрий Карамазов. Перенести я не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит! Нет, широк человек, слишком даже широк! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она сидит для огромного большинства людей».

Дело, оказывается, много сложнее, чем казалось раньше. Суть не в том, что какая-то воображаемая черта мешает «самостоятельному хотению» единой человеческой души. Суть в том, что черта эта вовсе не воображаемая. Она глубоким разрезом рассекает надвое саму душу человека, а с нею вместе и «самостоятельное хотение».

Старец Зосима говорит Ивану Карамазову:

«Если вопрос для вас не может решиться в положительную сторону, то никогда не решится и в отрицательную, сами знаете: это свойство вашего сердца».

То же говорит и Раскольников Дуне, приравнивая ее себе:

«И дойдешь до такой черты, что не перешагнешь ее,— несчастна будешь, а перешагнешь,— может, еще несчастнее будешь».

Быть самим собою, свободно проявлять самостоятельное свое хотение — это для Достоевского самая желанная, но и самая невозможная, самая неосуществимая мечта. Горит костер, на костре глыба льда. Скажи этой смеси: «будь сама собою!» Огонь растопит лед, растаявший лед потушит огонь, не будет ни огня, ни льда, а будет зловонная, чадящая слякоть. Будет Свидригайлов, Версилов, Дмитрий Карамазов.

«Ну, попробуйте,— пишет подпольный человек,— ну, дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы... Да уверяю же вас: мы тотчас же попросимся обратно в опеку!»

В опеку ли зла, как дьяволовы подвижники, в опеку ли добра, как Алеша Карамазов,— это безразлично. Только бы прочь от свободы, только бы поскорее связать разваливающуюся душу каким бы то ни было долгом.

«Ничего и никогда не было для человека невыносимее свободы! — говорит Великий Инквизитор.— Они — бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие... Чем виноваты слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров?

Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!..» Как жалко, как надсадно звучит теперь этот буйный призыв! Он превращается в скорбный вопль Кириллова:

«Я только бог поневоле, и я несчастен, ибо *я обязан* заявить своеволие. Все несчастны потому, что все боятся заявлять своеволие.. Я ужасно несчастен, ибо я ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека... Но я заявляю своеволие. Только это одно спасет всех людей».

Но уже нет веры ни в осуществимость своеволия, ни в его спасительность. Боец бьется не за победу, а только за то, чтобы погибнуть со знаменем в руке.

Как будто гигантский молот непрерывно бьет перед нами по жизни и дробит ее на все более мелкие куски. Не только люди одиноки в мире. Не только человек одинок среди людей. Сама душа человека разбита в куски, и каждый кусок одинок. Жизнь — это хаотическая груда разъединенных, ничем между собой не связанных обломков.

IX

ЛЮБОВЬ — СТРАДАНИЕ

Из темных углов, из «смрадных переулков» приходят женщины — грозные и несчастные, с издерганными душами, обольстительные, как горячие сновидения юноши. Страстно, как в сновидении, тянутся к ним издерга́нные мужчины. И начинаются болезненные, кошмарные конвульсии, которые у Достоевского называются любовью.

Глубокое отъединение, глубокая вражда лежит между мужчиною и женщиною. В душах — любовь к мучительству и мученичеству, жажда власти и жажда унижения,— все, кроме способности к слиянному общению с жизнью. Душа как будто заклята злым колдуном. Горячо и нежно загораются в ней светлые огоньки любви, но наружу они вырываются лишь темными взрывами исступленной ненависти. Высшее счастье любви — это мучить и терзать любимое существо.

«Любовь,— пишет подпольный человек,— любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать».

В «Униженных и оскорбленных» Наташа «инстинктивно чувствовала, что будет госпожой князя, владычицей, что он будет даже жертвой ее. Она предвкушала наслаждение любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому-то, может быть, и поспешила отдаться ему в жертву первая».

Если у Достоевского мужчина ненавидит женщину или женщина мужчину, то читатель должен заключить, что они любят. И чем жесточе ненависть, тем это несомненнее.

«— Но какая же ненависть! Какая ненависть! — восклицает Подросток про Версилова.— И за что, за что? К женщине! Что она ему такое сделала?

— «Не-на-висть!» — с яростной насмешкой передразнила меня Татьяна Павловна».

Ненависть — любовь, любовь — ненависть...

«Неужели он до такой степени ее любит? — думает Подросток.— Или до такой степени ее ненавидит? Я не знаю, а знает ли он сам-то?»

Князь Мышкин говорит Рогожину: «Твою любовь от злости не отличишь». И Маврикий Николаевич говорит Ставрогину про Лизу: «Из-под беспрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает самая искренняя безмерная любовь и — безумие! Напротив, из-за любви, которую она ко мне чувствует, тоже искренно, каждое мгновение сверкает ненависть — самая великая!»

В «Египетских ночах» Пушкина Клеопатра вызывает желающих купить ее любовь ценою казни на следующее утро. Достоевский по этому поводу вспоминает о «сладострастии насекомых, сладострастии пауковой самки, съедающей своего самца». О «сладострастии насекомых» нередко вспоминает он и по поводу любви собственных своих героев.

Если припустить к куриной семье новую курицу, петух немедленно берет ее под свое покровительство. Он заботливо подзывает ее к пище, не дает обижать другим курам. Если она убежит, он отыскивает ее и ведет назад, и нежно что-то говорит ей на их языке: «ко-о!.. ко-о!..» Удивительно и трогательно, до чего доходит эта заботливость. На ночь петух сажает новую свою подругу на самый край нашести, сам садится рядом и таким образом заслоняет ее от клевков старых кур. Когда курице приходит время нестись, петух ведет ее к кошелке, где несутся куры, впрыгивает в кошелку, садится, опять выходит, обхаживает курицу, все время «ко-о! ко-о!» и водворяет ее в кошелку.

Но в низах животной жизни любовь часто уродлива и страшна. У жаб и лягушек самка вываливается из жестоко-страстных объятий самца с продырявленною грудною клеткою, с поврежденными внутренностями, нередко мертвою. Паук подползает к самке с ласками, а она бросается на него и пожирает; или подпустит к себе, отдастся его объятиям, а потом схватит и сожрет.

Жабы и паучихи навряд ли, конечно, испытывают при этом какое-нибудь особенное сладострастие. Тут просто тупость жизнеощущения, неспособность выйти за пределы собственного существа. Но если инстинкты этих уродов животной жизни сидят в человеке, если чудовищные противоречия этой любви освещены сознанием, то получается то едкое, опьяняющее сладострастие, которым живет любовь Достоевского.

Страсть сливается уже не с тупым равнодушием к мукам и гибели любимого существа, а с ненавистью к любимому, с *желанием* его мук и гибели.

«Я вас истреблю!» — говорит Версилов Катерине Николаевне. Князь Мышкин, только что познакомившись с Рогожиным, из одного лишь общего впечатления от него выносит уверенность, что если он женится на любимой женщине, то через неделю зарежет ее.

Чем несоединимее люди, чем глубже разъединение, чем чудовищнее противоречия, тем как раз страсть ярче и острее. Свидригайлов рассказывает Раскольникову про свою невесту:

«— Мне пятьдесят, а ей и шестнадцати нет... Ведь заманчиво, а? Ведь заманчиво, ха-ха!.. Посадил я ее вчера на колени, да, должно быть, уж очень бесцеремонно,— вся вспыхнула и слезинки брызнули, сама вся горит. Вдруг бросается мне на шею, целует

и клянется, что она будет мне верною и доброю женою, что всем, всем пожертвует, а за все это желает иметь от меня только «одно мое уважение». Согласитесь сами, что выслушать подобное признание наедине от такого шестнадцатилетнего ангельчика, в тюлевом платьице, с краскою девичьего стыда и со слезинками энтузиазма в глазах,— согласитесь сами, оно довольно заманчиво! Ведь заманчиво? Ведь стоит чего-нибудь, а? Ну, ведь стоит? Ну... ну, слушайте... ну, поедемте к моей невесте...

— Одним словом, в вас эта чудовищная разница лет и развитий и возбуждает сладострастие! И неужели вы в самом деле так женитесь?

— А что ж? Непременно».

Шатов в исступлении кричит Ставрогину:

«Знаете ли, почему вы женились тогда так позорно и подло? Именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности. Вы женились по страсти к мучительству, по *сладострастию нравственному*. Вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен: «Ставрогин — и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка!»

Федор Павлович Карамазов умеет находить прелесть в любой «мовешке и вьельфильке». Нашел он прелесть и в нищей идиотке Лизавете Смердящей.

Любовь упомянутых низших животных, при всей их дисгармоничности, все-таки дает впечатление силы и какой-то дикой мощи. Глядя на кипящую любовь героев Достоевского, невольно тоже ждешь: вот палящим огнем вспыхнет их сладострастие — зверино-жестокое, страшное, но цельное и самозабвенное, где отпадают все нравственные мерки, где страсть освещает само зверство. Но нет этого. Дух как будто совсем оторван от тела. Тело холодно, немощно и равнодушно, а горит один дух. В духе происходит кипение страсти, в духе переживаются острейшие моменты сладострастия.

Подросток «терпеть не может женщин». Осуществляя в фантазии свою идею о власти над людьми посредством денег, он мечтает.

«Не я буду гоняться за женщинами, а они набегут, как вода, предлагая мне все, что может предложить женщина. Я буду ласков с ними и, может быть, дам им денег, *но сам от них ничего не возьму*. Они уйдут ни с чем, уверяю вас,— только разве с подарками. Я только вдвое стану для них любопытнее.

..с меня довольно
сего сознанья».

Дмитрий Карамазов предлагает Катерине Ивановне нужные ей деньги под условием, чтобы она «секретно» пришла к нему на квар-

тиру. Для нее это единственное средство спасти отца, и надменная красавица приходит.

«Вдруг за сердце, слышу, укусила фаланга, злое-то насекомое, понимаешь? Обмерил я ее глазом. От меня, клопа и подлеца, она в с я зависит, вся, вся кругом, и с душой, и с телом. Очерчена. Эта мысль, мысль фаланги, до такой степени захватила мне сердце, что оно чуть не истекло от одного томления... Взглянул я на девицу, и захотелось мне подлейшую, поросячью, купеческую штучку выкинуть: поглядеть это на нее с насмешкой и тут же огорошить ее с интонацией, с какою только купчик умеет сказать:

«Это четыре-то тысячи на такое легкомыслие кидать! Да я пошутил-с, что вы это? Сотенки две я, пожалуй, с моим даже удовольствием».

Конечно, Катерина Ивановна в таком случае ушла бы. Но какой же бы за это сладострастный миг был пережит *в душе!* Что в сравнении с ним сладость насильственного телесного обладания красавицею!

Усилием воли Дмитрий побеждает порыв своего «нравственного сладострастия» и благородно отдает Катерине Ивановне деньги, ничего от нее не требуя. Пораженная Катерина Ивановна кланяется в ноги и уходит.

Сам Дмитрий в восторге от своего поступка. Но что вызвало этот поступок? Только ли «искра божия», вспыхнувшая в разнузданном хаме? Или, рядом с нею, тут было все то же утонченное нравственное сладострастие, которого здоровой крови даже не понять: «Вся от меня зависит, вся, вся кругом, и с душой, и с телом. Очерчена». А он, как Подросток в своих сладострастных мечтах: «они набегут, как вода, предлагая мне все, что может предложить женщина. Но я от них ничего не возьму. С меня довольно сего сознания».

И Катерина Ивановна, по-видимому, поняла, какие тайные наслаждения дала она пережить Дмитрию своим посещением. «И самая первая встреча их осталась у ней на сердце, *как оскорбление»,*— сообщает Иван. И сам Дмитрий впоследствии говорит про Катерину Ивановну:

«Благороднейшая душа, но меня ненавидевшая давно уже, о, давно, давно... и заслуженно, заслуженно ненавидевшая!.. Давно, с самого первого раза, с самого того, у меня на квартире еще там...»

Конечно, ненависть эта нисколько не мешает Катерине Ивановне любить Дмитрия. Но иначе она и не была бы женщиною Достоевского. Даже если бы Дмитрий опозорил ее на своей квартире, и это бы не помешало ей любить его. Другая Катерина в повести «Хозяйка» говорит:

«То мне горько и рвет мне сердце, что я рабыня его опозоренная, что позор и стыд мой самой, бесстыдной, мне, люб, что любо

жадному сердцу и вспоминать свое горе, словно радость и счастье,— в том мое горе, что нет силы в нем и нет гнева за обиду свою».

Раздражающая отъединенность духа от тела, хилость связи между ними делает героев Достоевского совершенно неспособными к яркой, цельной страсти. Что произошло между Ставрогиным и Лизою в Скворешниках в ночь пожара? У нее утром — «неплотно застегнутая грудь», видно, что она раздевалась. Но случилось что-то загадочное, Ставрогин сконфужен, и странен их разговор. Шут-Верховенский говорит:

«Представьте, я ведь тотчас же, как вы вошли ко мне, по лицу догадался, что у вас «несчастье»! Даже, может быть, полная неудача, а? Ну, бьюсь об заклад, что вы всю ночь просидели в зале рядышком на стульях и о каком-нибудь высочайшем благородстве проспорили все драгоценное время!»

И, однако, если что, то лишь «нравственное сладострастие» и мучительство способно «горячим угольком» зажечь кровь. А нет этого горячего уголька — кровь холодна, тело спит, как мертвое. Любовь возможна, но любовь — бестелесная, та, которую наши хлысты-богомолы называют «сухою любовью». Либо жестокое сладострастие, либо сухая любовь.

Раскольников любит Соню Мармеладову. Но как-то странно даже представить себе, что это любовь мужчины к женщине. Становишься как будто двенадцатилетнею девочкою и начинаешь думать, что вся суть любви только в том, что мужчина и женщина *скажут* друг другу: «я люблю тебя». Даже подозрения нет о той светлой силе, которая ведет любящих к телесному слиянию друг с другом и через это телесное слияние таинственно углубляет и уярчает слияние душевное.

Князь Мышкин любит Настасью Филипповну, любит Аглаю, собирается жениться то на той, то на другой. И однако...

«Я ведь... Вы, может быть, не знаете, я ведь, по прирожденной болезни моей, даже совсем женщин не знаю».

И он бросается от одной к другой.

«— Я как только, просто женюсь, да и что в том, что женюсь... Аглая Ивановна поймет...

— Нет, князь, не поймет,— возражает Евгений Павлович,— Аглая Ивановна любила, как женщина, как человек, а не как... отвлеченный дух».

Но вот Рогожин. Казалось бы, уж его-то страсть к Настасье Филипповне — чисто звериная. Тяжелая, плотская, безудержная. Даже ответной любви ему не надо, он готов купить ее за деньги. Страсть стихийно грозная и страшная. С самого начала все чувствуют, что она пахнет кровью. Однако пахнет она только кровью. Каждую минуту Рогожин может забыться *духом* и зарезать

Настасью Филипповну; но никогда он не забудется *телом* и не овладеет ею. В этом отношении и сама Настасья Филипповна нисколько не боится его, спокойно оставляет у себя ночевать. На вид плотски-звериная страсть Рогожина в действительности упадочна, бесплотна. И в страшную последнюю ночь, когда Настасья Филипповна осталась ночевать у Рогожина, удары ножа в теплое, полуобнаженное тело, по-видимому, с избытком заменили ему объятия и ласки.

Да и сама вакханка Настасья Филипповна, другая вакханка, Грушенька,— полно, вправду ли они женщины? Не обольстительные ли это призраки, лишенные плоти и крови? Опьяненно крутясь в вихре поднятых ими страстей, исступленно упиваясь своими и чужими муками, они испуганно ускользают из устремленных объятий, и жадные руки хватают только воздух. Способны ли они опьяниться страстью, хоть на миг забыться в цельном, самозабвенном экстазе? В горячих объятиях Дмитрия, сама как будто опьяненная, Грушенька все же шепчет ему: «подожди, потом...» И если бы в эту ночь Дмитрия не арестовали, конечно, назавтра призрак Грушенька опять начала бы с ним свою дразнящую, мучительную игру. И иначе не могло бы быть. Тут мы подходим к самому страшному и темному, что есть в страшной и темной любви людей Достоевского.

Что бы действительно было, если бы на Дмитрия не пало подозрение в отцеубийстве и он соединился бы с Грушенькой? Что бы было?.. Не надо и ответа. От одного лишь вопроса оргийно мятущееся грозное море превращается в плоское, отвратительное болото.

Подпольный человек пишет: «В мечтах своих подпольных я иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненавистью и кончал нравственным покорением, *а потом уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом»*.

И правда. Ну, что, например, делать потом Дмитрию Карамазову с Грушенькой, Ставрогину — с Лизой, Рогожину — с Настасьей Филипповной? Если не откроется выхода в безумие, в самоубийство или убийство, то остается только один выход — пошлость. Рогожин зарезал Настасью Филипповну. А если бы они соединились? Через пять лет она — противная, истеричная баба, без красоты, освещавшей ее изломанность. Он... Да нет, он все равно бы раньше ее зарезал, а женился бы на другой. Женился бы и — как предсказывает князь Мышкин — «засел бы молча один в этом доме с женой, послушною и бессловесною, с редким и строгим словом, только деньги молча и сумрачно наживая... да на мешках своих с голоду бы и помер».

«Друг мой,— сказал Версилов грустно,— я часто говорил Софье Андреевне в начале соединения нашего, впрочем, и в начале, и в середине, и в конце: «Милая, я тебя мучаю и замучаю, и мне не жалко, пока ты передо мною, а ведь умри ты, и я знаю, что уморю себя казнью».

Лиза говорит Ставрогину: «Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь».

И с обычною своею безбоязненностью перед настоящим словом рисует Дмитрий Карамазов будущую свою жизнь с Грушенькою:

«Драться будем!»

Нет, лучше назад, к прежним страданиям и мукам! Может быть, их было слишком мало. Еще увеличить их, еще углубить,— не явится ли хоть тогда возможность жизни?

«Надо как-нибудь выстрадать вновь наше будущее счастье,— говорит Наташа Ихменева,— *купить его какими-нибудь новыми муками. Страданием все очищается*».

X

НЕДОСТОЙНЫЕ ЖИЗНИ

Задавленный безумным страхом смерти, Кириллов учит: «Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек».

Герои Достоевского не «новые люди». Мы видели, мысль о смерти пробуждает в них тяжелый, мистический ужас; они не могут без содрогания думать «об этом мраке». Если нет личного бессмертия, то жизнь человека превращается в непрерывное, сосредоточенное ожидание смертной казни.

У осужденного на смерть своя психология. В душе его судорожно горит жадная, все принимающая любовь к жизни. Обычные оценки чужды его настроению. Муха, бьющаяся о пыльное стекло тюремной камеры, заплесневелые стены, клочок дождливого неба — все вдруг начинает светиться не замечавшеюся раньше красотою и значительностью. Замена смерти вечною, самою ужасною каторгою представляется неоценимым блаженством.

«Где это,— подумал Раскольников,— где это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря,— и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь тысячу лет, вечность,— то лучше так жить, чем сейчас умирать. Только бы жить, жить и жить! Как бы ни

жить,— только жить!.. Экая правда! Господи, какая правда! Подлец человек!.. И подлец тот, кто его за это подлецом называет! — прибавил он через минуту».

«Кажется, столько во мне этой силы теперь,— говорит Дмитрий Карамазов,— что я все поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь,— но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть».

Это судорожное цепляние за жизнь жизненно-бессильных душ очень легко смешать со здоровою силою несокрушимого жизненного инстинкта. В такую ошибку впадет Алеша Карамазов в беседе своей с братом Иваном.

«Не веруй я в жизнь,— говорит Иван,— разуверься я в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования,— а я все-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю! *Впрочем, к тридцати годам наверно брошу кубок, хоть и не допью его всего, и отойду... не знаю куда*... Но до тридцати моих лет, знаю это твердо, все победит моя молодость,— всякое разочарование, всякое отвращение к жизни... Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь».

«— Нутром и чревом хочется любить,— прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется,— воскликнул Алеша.— Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.

— Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?

— Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно, чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится».

Алеша заключает, что для Ивана половина дела его уже сделана. Но он глубоко заблуждается, дело жизни для Ивана и не начиналось,— вернее, давно уже кончилось. Свою «жажду жизни, несмотря ни на что», Иван сам готов признать *«неприличною»*. Жить дольше тридцати лет он не хочет: «до семидесяти подло, лучше до тридцати: *можно сохранить «оттенок благородства», себя надувая»*.

Цельный, самим собою сильный инстинкт жизни говорить так не может. Ему нет нужды «надувать себя», он верит в свои силы, не рассчитывает их на определенный срок. Прежде же и главнее всего — для него вполне несомненна святая законность своего существования. Жизненный же инстинкт, который *сам стыдится себя,* который сам спешит признать себя «подлым» и «неприличным»,— это не жизненный инстинкт, а только жалкий его обры-

вок. Он не способен осиять душу жизнью,— способен только ярко осветить ее умирание.

Отношение к жизни Ивана Карамазова характерно вообще для героев Достоевского. Подпольный человек пишет: «Дольше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно. Только дураки и негодяи живут дольше сорока лет».

Жадно цепляясь за жизнь, человек все время чувствует в глубине души, что жить он не только не способен, а просто *не достоин*.

«Я живуч, как дворовая собака,— говорит Версилов.— Я дожил почти до пятидесяти лет и до сих пор не ведаю, хорошо это, что я дожил, или дурно. Конечно, я люблю жить, и это прямо выходит из дела; *но любить жизнь такому, как я,— подло*... И неужели земля только для таких, как мы, стоит? Всего вернее, что да; но идея эта уж слишком безотрадна...»

«Жизнь люблю, слишком уж жизнь полюбил, так слишком, что и мерзко,— сознается Дмитрий Карамазов.— Червь, ненужный червь проползет по земле, и его не будет...— Смотрит он на дерево.— Вот ракита. Веревку сейчас можно свить и — не бременить уже более землю, не бесчестить низким своим присутствием».

И Ставрогин в предсмертном своем письме пишет: «Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли, как подлое насекомое».

Как змеи, сплетаются в клубок самые не согласные, самые чуждые друг другу настроения: страх смерти и чувство неспособности к жизни, неистовая любовь к жизни и сознание себя недостойным ее. Ко всему этому еще одно: странный какой-то инстинкт неудержимо влечет человека к самоуничтожению. Страшная смерть полна властного очарования, человек безвольно тянется к ней, как кролик, говорят, тянется в разверстую пасть удава.

«Я думаю,— пишет Достоевский,— что много самоубийств совершилось потому только, что револьвер уже был взят в руки».

«Если бы у меня был револьвер,— говорит Подросток,— я бы прятал его куда-нибудь под замок. Знаете, ей-богу, соблазнительно! Если торчит вот это перед глазами,— право, есть минуты, что и соблазнит».

И вот то и дело приходят неожиданные вести: «Свидригайлов застрелился!», «Ставрогин повесился!», «Крафт застрелился!», «Смердяков повесился!» Дух беспощадного самоистребления носится над этим миром неудержимо разваливающейся жизни. Романы Достоевского кишат самоубийствами, словно самоубийство — это нечто самое обыденное, естественное и необходимое в жизни людей.

Как будто перед нами — чуть только начинающий организовываться темный хаос. Робко вспыхивают в нем светящиеся огоньки жизни. Но они настолько бессильны, настолько не уверены в себе,

что маленького толчка довольно — и свет гаснет, и жизнь распадается.

Есть в семействе иглокожих странные существа, называемые голотуриями. Если тронуть голотурию, схватить ее рукою, она судорожно сокращается и распадается на куски. Вследствие этого до сих пор никто никогда не видел целого экземпляра голотурии.

Наблюдая человека как его рисует Достоевский, то и дело приходится вспоминать самые уродливые, самые дисгармонические явления в мире животных — те уклонения, ошибки и неудачные «пробы», которые делает природа в трудной своей работе по гармонизации жизни.

Человек — вместилище всех самых болезненных уклонений жизненного инстинкта. Ближе, чем всякому другому существу, ему знаком, как выражается Достоевский, «роковой круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения». Как в биологической, так и в моральной области, человек неудержимо тянется ко всему, что уродует, ломает и разрушает его жизнь. Это явление Ницше справедливо считает характернейшим признаком упадничества. С ужасом человек чувствует над собой власть страшной силы, но противиться ей нет ни воли, ни даже желания. Так тянется к сжигающему огню ночная бабочка. Мелькнул огонек,— и бабочка устремляется к нему, бьется о раскаленное стекло лампы, обжигается падает и опять взлетает, и бьется опять.

«У Раскольникова засверкали глаза; он ужасно побледнел, верхняя губа его дрогнула и запрыгала. Он склонился к Заметову как можно ближе и стал шевелить губами, ничего не произнося; так длилось с полминуты; *он знал, что делал, но не мог сдержать себя.* Страшное слово так и прыгало на его губах: вот-вот сорвется; вот-вот только спустить его, вот-вот только выговорить!

— А что, если это я старуху и Лизавету убил? — проговорил он и вдруг — опомнился...

Он вышел, весь дрожа от какого-то дикого, истерического ощущения, в котором, между тем, *была часть нестерпимого наслаждения*».

С тем же наслаждением Раскольников дергает звонок в квартире, где убил старуху, жадно прислушивается к жестяным звукам, возбуждая подозрение столяров. С тем же наслаждением тянется в цепкие лапы сладострастного хихикающего Порфирия.

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане.
Средь диких волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья .

Но для разных людей наслаждения эти очень различны.

В «Войне и мире» Долохов с Петею Ростовым, переодетые французскими офицерами, проникают во французский лагерь. Они сидят с французами у костра, расспрашивают их. У французов рождается подозрение.

«Офицер, не спуская глаз, смотрел на Долохова и переспросил его еще раз, какого он был полка. Долохов не отвечал, как будто не слыхал вопроса, и, закуривая трубку, спрашивал офицеров о том, в какой степени безопасна дорога от казаков.

— Ну, теперь он уедет,— всякую минуту думал Петя, стоя перед костром и слушая его разговор.

Но Долохов начал опять прекратившийся разговор и прямо стал расспрашивать, сколько у них людей в батальоне, сколько батальонов.

.Французский офицер, которого не видно было (он лежал, укутавшись шинелью), приподнялся и прошептал что-то товарищу. Долохов встал и кликнул солдата с лошадьми.

— Bonjour, messieurs,— сказал Долохов.

Офицеры что-то шепотом говорили между собой. Долохов долго садился на лошадь, которая не стояла, потом шагом поехал из ворот».

Несомненно, глядя в лицо грозящей гибели, Долохов испытывает огромное наслаждение.

Но представим себе, что вместо Пети рядом с Долоховым сидит у костра... Раскольников. Он бледнеет, губы его дергаются; страшное слово так и прыгает на губах. «Он знает, что делает, но не может сдержать себя». Его охватывает дрожь от какого-то дикого, истерического ощущения, и страшное слово срывается с губ:

— А что, messieurs, если мы не французские офицеры, а русские лазутчики?

Конечно, и Раскольников испытал бы при этом неизъяснимое наслаждение. Сумел ли бы, однако, Толстой выразить всю силу презрения и гадливого отвращения, которое охватило бы Долохова при виде наслаждения Раскольникова! Обоим им — и Долохову и Раскольникову — понятна привлекательность ужаса и «грозящей гибели». Но для Долохова наслаждением является преодоление ужаса, *торжество воли,* для Раскольникова же — безоглядное растворение себя в ужасе, *исчезновение воли.* «Грозящая гибель» для Долохова — могучий враг, с которым весело схватиться, для Раскольникова — любовница-вампир; в ее объятия безвольно тянется человек, замирая от ужаса.

Характерно вообще для героев Достоевского это полное исчезновение воли перед лицом саморазрушительных инстинктов души.

«Странно,— пишет Подросток,— во мне всегда была такая черта: коли уж мне сделали зло, восполнили его окончательно,

оскорбили до последних пределов, то всегда тут же являлось у меня *неутолимое желание подчиниться оскорблению и даже пойти вперед желаниям обидчика.*

— На-те, вы унизили меня, так я еще пуще сам унижусь, вот смотрите, любуйтесь!»

Подпольный человек навязывается на обед к компании, провожающей своего товарища Зверкова. Ему весьма ясно дают понять, что он никому на обеде не желателен. «Я бесился, потому что наверное знал, что поеду, что нарочно поеду; и чем бестактнее, чем неприличнее мне будет ехать, тем скорее и поеду». Едет. На обеде его третируют, он глупо и нагло всех задирает. От него отворачиваются, усаживаются веселой компанией в уголке, а он в течение трех часов с вызывающим видом гуляет вдоль стены кабинета. «Порой с глубочайшей, с ядовитой болью вонзалась в мое сердце мысль, что пройдет двадцать лет, сорок лет, а я все-таки, хоть и через сорок лет, с отвращением и унижением вспомню об этих грязнейших, смешнейших и ужаснейших минутах из всей моей жизни. Бессовестнее и добровольнее унижать себя самому было уже невозможно». Но он еще и еще унижает себя. Все едут «туда». Он выклянчивает у них же денег и увязывается следом. У него созревает решение дать Зверкову пощечину. *«С ужасом* я ощущал, что это ведь уже непременно сейчас, теперь случится, и уж никакими силами остановить нельзя».

Раскольникову до убийства еще снится кроваво-кошмарный сон.

«Да что же это я! — воскликнул он в глубоком изумлении.— Ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего же я до сих пор себя мучил? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко... Ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило.

Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!»

Но на улице он случайно слышит, что завтра, в семь часов вечера, старуха будет в квартире одна. Раскольникова охватывает *ужас.*

«Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не мог рассуждать, но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно».

И когда убийство было совершено, у Раскольникова осталось впечатление, «как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неизвестною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать».

XI

«ЖИТЬ, ЧТОБ ТОЛЬКО ПРОХОДИТЬ МИМО»

«Раскольников бродил без цели. Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего; но от нее веяло чем-то постоянным, вечным, предчувствовались безысходные годы этой холодной мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вечность «на аршине пространства».

«Спасите меня! — истерически кричит подросток Лиза Алеше Карамазову.— Я убью себя, потому что мне все гадко! Я не хочу жить, потому что мне все гадко! Мне все гадко, все гадко!»

Версилов спрашивает Катерину Николаевну:

«— Вы, говорят, опять полюбили общество, свет?

— Не общество. Я знаю, что в нашем обществе такой же беспорядок, как и везде; но снаружи формы еще красивы, так что *если жить, чтобы только проходить мимо,* то уж лучше тут, чем где-нибудь».

Нет жизни кругом, нет жизни внутри. Все окрашено в жутко тусклый, мертвенный цвет. И страшно не только то, что это так. Еще страшнее, что человек даже представить себе не в силах — как же может быть иначе? Чем способен человек жить на земле? Какая мыслима жизнь? Какое возможно счастье?

Все герои Достоевского могли бы повторить про себя то, что говорит скрипач Ефимов, отчим Неточки Незвановой:

«Я сам не знаю, чего хочу. Вот, спросите, сударь: «Егорка! Чего ты хочешь? Все могу тебе дать»,— а я, сударь, ведь ни слова вам в ответ не скажу, затем, что сам не знаю, чего хочу».

Остается жить, чтобы «только проходить мимо». Один миг радости, один просто красивый миг,— и за него можно отдать всю эту нудную, темную и бессмысленную жизнь.

«Я за две секунды радости отдал бы квадриллион квадриллионов»,— заявляет на суде Иван Карамазов.

После ночи со Ставрогиным Лизавета Николаевна с насмешкой говорит ему:

«Куда нам ехать вместе сегодня же? Куда-нибудь опять «воскресать»? Нет, уж довольно проб... Да и неспособна я. Если ехать, то в Москву, и там делать визиты и самим принимать,— вот мой идеал, вы знаете... Началось с красивого мгновения, которого я не вынесла. А так как я и без того давно знала, что *меня всего на один миг только и хватит, то взяла и решилась... Я разочла мою жизнь на один только час и спокойна»...*

Надеяться в будущем тоже не на что: нет в жизни таких сил, которые могли бы воскресить человека.

«Тогда я еще надеялся на воскресение,— говорит писатель, от лица которого ведется рассказ в «Униженных и оскорбленных».— Хотя бы в сумасшедший дом поступить, что ли,— решил я наконец,— чтобы повернулся как-нибудь мозг в голове и расположился по-новому, а потом опять вылечиться. Была же жажда жизни и вера в нее!»

Но если бы и были силы, способные возродить человека, если бы мог он переделать себя, то и тут вопрос: во что возродиться, во что себя переделать?

Подпольный человек пишет: «Наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения; оттого, что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаешься другим человеком; что если бы даже и оставалось еще время и вера, чтобы переделаться во что-нибудь другое, то, наверно, сам не захотел бы переделываться, а захотел бы, так и тут бы ничего не сделал, *потому что, на самом деле, и переделываться-то, может быть, не во что»*.

Кириллов — тот нашел, во что нужно переделываться: переродиться физически и стать человеком. Но когда мы вглядимся ближе в его человекобога, мы увидим, что это уже полный мертвец, в котором не осталось ни капли жизни.

«Будет новый человек, счастливый и гордый. *Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек».* Может быть, в таком случае все убьют себя, но — «это все равно. Обман убьют». Придет этот новый человек и научит, что все хороши и все хорошо. Кто с голоду умрет, кто обесчестит девочку, кто размозжит голову за ребенка и кто не размозжит,— все хорошо.

Победа над смертью путем полного отсечения воли в жизни; победа над ужасами жизни путем мертвенно безразличного отношения к ней; презрение к жизни, презрение к смерти — вот этот чудовищный идеал, выросший на почве безнадежного отчаяния и глубочайшего неверия в природу человека. Сквозь гордо вызывающие мечты о его венце человечества у Кириллова вдруг прорывается отчаянное признание: «Бог необходим, а потому должен быть. Но я знаю, что его нет и не может быть. Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых?»

Кирилловского человекобога очень часто и охотно приравнивают к сверхчеловеку Ницше. Уж общим местом стало указание, что в Кириллове Достоевский как бы предвосхитил учение Ницше о сверхчеловеке. Это большое недоразумение. Оно основано на чисто внешнем сходстве понятий «человекобог» и «сверхчеловек». Содержание же понятий совершенно различно. Солнечно-светлый сверхчеловек горит волею к жизни, полон великой творческой жажды; самую смерть он побеждает силою неодолимой своей

жизненности. Что у него общего с тем могильным камнем над жизнью, холодным и неподвижным, имя которому — человекобог?

Тускла, мертвенна и пуста земная жизнь. Трудно даже представить себе, чем можно ее заполнить. Но есть зато жизнь *там,* есть бессмертие.

Однако что же такое бессмертие *само по себе?* Ведь, в сущности, это не более, как форма. Для формы нужно еще содержание.

«Свидригайлов сидел в задумчивости.

— А что, если в будущей жизни одни пауки или что-нибудь в этом роде? — сказал он вдруг.— Нам вот все представляется вечность, как что-то огромное-огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность... Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого? — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников.

— Справедливее? А почем знать, может быть, это и есть справедливое, и, знаете, я бы так непременно нарочно сделал,— ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь.

Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе».

Мысль неожиданная и чудовищная. Только в душе Достоевского могла родиться такая мысль. И однако, по существу своему, мысль эта до странности проста и естественна.

Один древний христианский пустынник сподобился видеть «райскую жизнь блаженных»: они живут без греха, не употребляя одежд, не вкушая ни вина, ни хлеба печеного, храня чистоту, питаясь одной водою и плодом, который ежедневно исходит из дерева в шестой час дня. Это, конечно, очень скучно, очень притом голодно, но понятно. Мусульманин будет ласкать в раю вечно девственных гурий, краснокожий вечно будет охотиться в лугах, богатых дичью, новозеландец-маорис вечно будет сражаться и выходить из боя победителем. Это все тоже понятно. Люди эти знают, чего хотеть.

Но пустая форма бессмертия в философском смысле,— какое содержание она гарантирует? Что-то огромное? «Да почему же непременно огромное?» В душе человека только мрак и пауки. Почему им не быть и *там?* Может быть, бессмертие — это такой тусклый, мертвый, безнадежный ужас, перед которым страдальческая земная жизнь — рай?

XII

ВЕЧНАЯ ГАРМОНИЯ

В душе человека — угрюмый, непроглядный хаос. Бессильно крутятся во мраке разъединенные обрывки чувств и настроений. В темных вихрях вспыхивают слабые огоньки жизни, от которых мрак вокруг еще ужаснее.

Но бывают миги, когда раздельные огоньки эти сбиваются вихрем в одно место. Тогда темнота вдруг прорезывается ослепительно ярким светом. Разрозненные элементы жизни, сжатые в одно, дают впечатление неслыханного напряжения, близкого к взрыву. И как раньше невозможно было жить от угрюмого мрака, от скудости жизненных сил, так теперь жизнь становится невозможною вследствие чудовищного избытка сил и света.

«Для Ордынова (повесть «Хозяйка») началась какая-то странная жизнь. Он чувствовал ясно, как бездонная темень разверзается перед ним, и он бросается в нее с воплем тоски и отчаяния. Порой мелькали мгновения *невыносимого, уничтожающего счастья,* когда жизненность судорожно усиливается во всем составе человеческом, яснеет прошедшее, звучит торжеством настоящий светлый миг, и снится наяву неведомое грядущее; когда чувствуешь, что *немощна плоть перед таким гнетом впечатлений, что разрывается вся нить бытия,* и когда вместе с тем поздравляешь всю жизнь свою с обновлением и воскресением».

В «Бесах» Кириллов говорит Шатову:

«Да... Постойте, бывают с вами, Шатов, минуты вечной гармонии? Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное, я не про то, что оно небесное, а про то, что *человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть.* Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда! Это... это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то, что любите,— тут выше любви. Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. *Если более пяти секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически».* То же переживает и князь Мышкин.

«Он задумался о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти перед самым припадком, когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывов напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся, как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения,

все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармонической радости и надежды».

Все существо человека вдруг говорит жизни:

— *Да, это правда!*

Душа как будто становится совсем другою, она преисполняется неодолимой силы жизни — той силы, через которую единственно познается глубочайшая первооснова жизни.

Но это лишь обман самочувствия. За силу жизни принимаются судорожно обострившиеся, глубоко болезненные процессы души, за вечную гармонию — величайшая дисгармония. Ордынов переживает свои ощущения в бреду горячки. Мышкин — неизлечимый эпилептик. Кириллову говорит Шатов: «Берегитесь, Кириллов, я слышал, что именно так падучая начинается!»

Поэтому вполне естественно и понятно, что, почувствовав гармонию мира, сказав жизни: «Да, это правда!» — люди эти приходят не к утверждению жизни, а как раз к обратному — к полнейшему ее отрицанию.

«В эти пять секунд,— говорит Кириллов,— я проживаю жизнь и *за них отдам всю мою жизнь,* потому что стоит. Я думаю, *человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута?»*

То же и с Мышкиным:

«Раздумывая об этом мгновении впоследствии, уже в здоровом состоянии, он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть, и «высшего бытия» не что иное, как болезнь; а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. Но что же в том, что это болезнь? Если в самый последний сознательный момент перед припадком ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе: *«Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!»* — то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни. Впрочем, за диалектическую часть своего вывода он не стоял: *отупение, душевный мрак, идиотизм стояли перед ним ярким последствием этих «высочайших минут».*

Во время минут этих Мышкину становится понятно необычайное слово о том, что «времени больше не будет». То же самое говорит и Кириллов: «Времени больше не будет, потому что не надо. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме».

Если бы жизнь кругом они, действительно, почувствовали, как *правду,* то, как *правду* же, они почувствовали бы и самое время. Отрицанием же времени, признанием ненужности его они только еще ярче подчеркивают свою полную неспособность к жизни и к ее правде.

«Высочайшая минута» проходит. Возвращается ненавистное

время — призрачная, но неотрывно-цепкая форма нашего сознания. Вечность превращается в жалкие пять секунд, высшая гармония жизни исчезает, мир снова темнеет и разваливается на хаотические, разъединенные частички. Наступает другая вечность — холодная и унылая «вечность на аршине пространства». И угрюмое время сосредоточенно отмеривает секунды, часы, дни и годы этой летаргической вечности.

«Да, невесело вы проводите ваши ночи за чаем!» — говорит Кириллову лицо, ведущее рассказ в «Бесах». И по-прежнему терзается в отъединении своем от живого мира князь Мышкин, «всему чужой и выкидыш».

XIII

ТАРАНТУЛ

Самоубийца в «Приговоре» пишет:

«Как бы разумно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество,— все это приравняется завтра к нулю. И хоть это почему-то там и необходимо, по каким-то там всесильным, вечным и мертвым законам природы, но поверьте, что в этой мысли заключается какое-то глубочайшее неуважение к человечеству, глубоко мне оскорбительное и тем более невыносимое, что тут нет никого виноватого... Невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо-грустная мысль: *«ну, что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?»*

Страшный вопрос этот все время шевелится в душе Достоевского. Великий Инквизитор смотрит на людей, как на «недоделанные, пробные существа, созданные в насмешку». Герой «Подполья» пишет: «Неужели же я для того только и устроен, чтобы дойти до заключения, что все мое устройство одно надувание?.. Тут подмен, подтасовка, шулерство, тут просто бурда,— неизвестно что и неизвестно кто. Но у вас все-таки болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит».

«Кто же это так смеется над человеком, Иван?» — спрашивает сына Федор Павлович Карамазов.

Над человеком стоит «темная, наглая и бессмысленно-вечная сила». Человек глубоко унижен ею. «Смешному человеку» снится, что он убивает себя и воскресает после смерти. «А, стало быть, есть и за гробом жизнь! И если надо б ы т ь снова и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!»

«Природа,— пишет Ипполит в своей исповеди,— мерещится в в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя или, вернее, в виде какой-нибудь громадной машины новейшего уст-

ройства... Мне как будто казалось временами, что я вижу, в какой-то странной и невозможной форме, эту бесконечную силу, это глухое, темное и немое существо. Я помню, что кто-то будто бы повел меня за руку, со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула и стал уверять меня, что это — то самое темное, глухое всесильное существо, и смеялся над моим негодованием... Нельзя оставаться в жизни, которая принимает такие странные, обижающие меня формы. Это привидение меня унизило. Я не в силах подчиняться темной силе, принимающей вид тарантула».

Подчиняться ей нет сил. Поднимается в душе бурная злоба, хочется винить и проклинать ее, эту темную силу. Но и винить бессмысленно, потому что сила эта безлична, безвольна и мертва.

«Положение мое тем более невыносимо, что *тут нет никого виноватого»,*— пишет самоубийца в «Приговоре». Герой подполья видит для себя лишь один выход,— «молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, *что даже и злиться, выходит, тебе не на кого, что предмета не находится»*.

Ну, а если *есть* виноватый, если есть на кого злиться? Если над темною и мертвою силою стоит направляющая ее живая воля?

«Религия! — пишет Ипполит.— Вечную жизнь я допускаю и, может быть, всегда допускал. Пусть зажжено сознание волею высшей силы, пусть оно оглянулось на мир и сказало: «я есмь!» и пусть ему вдруг предписано этою высшею силою уничтожиться, потому что там так для чего-то,— и даже без объяснения, для чего,— это надо, пусть, я все это допускаю, но опять-таки вечный вопрос: для чего при этом понадобилось смирение мое? *Неужели нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело?* Если понять его невозможно, то, повторяю, трудно и отвечать за то, что не дано человеку понять... Нет, уж лучше оставим религию».

Но и для такого отношения к высшей воле требуется все-таки немалое смирение. А человек горд.

«Смешной человек» оживает в могиле. «И я вдруг воззвал,— не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к властителю всего того, что совершилось со мною:

— Кто бы ты ни был, но если ты есть, и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое — безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать хотя бы в продолжение миллионов лет мученичества».

Властитель этот неотступно стоит перед всеми «безбожниками» Достоевского. Достоевский любит выводить безбожников,

но безбожники его очень странные. Для них бог — не пустота, не слово без содержания. Все они видят бога, только не смотрят на него. Сквозь заявления их о своем неверии у каждого неожиданно прорывается слово или действие, выдающее тайное их настроение.

Атеист Раскольников вдруг объявляет Порфирию, что он верует в бога, даже буквально верует в воскресение Лазаря. Нигилист Ипполит говорит, что вечную жизнь он допускает. Иван Карамазов «не бога не принимает, а только билет ему почтительнейше возвращает». Безбожник Кириллов постоянно зажигает лампадку перед образом, Петр Верховенский говорит про него: «Он в бога верует пуще, чем поп».

Все они вовсе не безбожники. У них глубокая тоска по богу, и бог для них есть, он перед ними. Но они не могут ему покориться — слишком много они имеют к нему вопросов, на которые нет ответа.

Измученный жестокостями жизни, библейский Иов «ко вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с богом». Новый Иов, Достоевский, выступает на это состязание. И не было со времен Иова таких разрушительных, колеблющих небо вопросов, с какими идет на «страже человеков» Достоевский. Все его произведения — такие буйные вопросы, и увенчание их — знаменитый «бунт» Ивана Карамазова.

«О, по-моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, но ведь жить по этой эвклидовской дичи я не могу же согласиться! Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию... Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка. Не стоит, потому что слезки его остались неискупленными. И чем, чем ты искупишь их? Неужели тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад?.. Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, путь простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое, но страдание своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, хотя бы сам ребенок простил! А если так,— где же гармония? Не хочу гармонии. Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, *хотя бы я был и неправ»* (курсив Достоевского).

В бессознательных глубинах души человеческой кипит и бушует это «неутоленное негодование». И человек вдруг прорывается странным, как будто непостижимым по своей неожиданности словом или поступком.

Скорбно и страстно тоскующий о боге Версилов вдруг яростно раскалывает о печку икону старца Макара Ивановича.

«Не прими за аллегорию, Соня, я не наследство Макара разбил, а только так, чтобы разбить... *А впрочем, прими хоть и за аллегорию: ведь это непременно было так!*»

В неутоленном негодовании своем «безбожники» Достоевского упорно и сосредоточенно борются против бога. Этим, может быть, и объясняется их настойчивое извлечение квадратного корня именно из зла, непрестанное желание «преступить» и «заявить своеволие».

Возражая против социализма, подпольный человек пишет: «Ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! Хоть своими боками, да доказывал; хоть троглодитством, да доказывал!»

Для безбожников Достоевского все дело человеческое также как будто в том только и состоит, чтобы поминутно доказывать себе свою независимость от бога — хоть своими боками, хоть троглодитством, а доказывать.

При том жизнеощущении, которым полон Достоевский, это упорное богоборчество его вполне естественно. Мир ужасен, человек безнадежно слаб и безмерно несчастен, жизнь без бога — это «медленное страдание и смерть» (Ставрогин). Какая же, в таком случае, *свобода* обращения к богу, какая любовь к нему? Нищий, иззябший калека стоит во мраке перед чертогом властителя. Если он запоет властителю хвалу, то потому ли, что возлюбил его, или только потому, что в чертоге тепло и светло?

Босая женщина бродила по улицам Александрии с факелом в одной руке, с кувшином в другой, и восклицала:

«Я сожгу небо этим факелом и затушу адский огонь этой водой, чтобы человек мог любить бога только ради его самого».

Для Достоевского же нет добродетели, если нет бессмертия; только убить себя остается, если нет бессмертия; невозможно жить и дышать, если нет бессмертия. На что нужен был бы Достоевскому бог, если бы предприятие александрийской женщины удалось? Знаменательная черточка: для Достоевского понятия «бог» и «личное бессмертие человека» неразрывно связаны между собою, для него это простые синонимы. Между тем связь эта вовсе ведь не обязательна.

Любить бога только ради него самого, без гарантированного человеку бессмертия... За что? За этот мир, полный ужаса, разъединения и скорби? За мрачную душу свою, в которой копошатся пауки и фаланги? Нет, любви тут быть не может. Тут возможен только горький и буйный вопрос Ипполита:

«Неужели нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело?»

Тут возможно только мятежное решение Ивана Карамазова: «Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем и неутомленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав».

XIV

АРКАН

Но чем же в таком случае жить?

«Можно ли жить бунтом? А я хочу жить»,— говорит Иван Карамазов.

«Обливаясь глупыми слезами своими,— говорит Великий Инквизитор,— люди сознаются, наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства и, в конце концов, сама же себе всегда и отмстит за него».

И вот на дальнейшем пути исканий Достоевского мы наталкиваемся на странную психологическую загадку — совсем ту же, которая поражает в исканиях библейского Иова. Обрыв на пути. Непереходимая пропасть. На дне пропасти — не разрешенные, а только задушенные вопросы. По ту же сторону пропасти — гимн и осанна.

Мир там совсем другой. Люди не извиваются, как перерезанные заступом земляные черви. Не слышно воплей и проклятий. Медленно и благообразно движутся безжизненные силуэты святых старцев Макара Ивановича и Зосимы, сидит на террасе своей дачи святой эпилептик Мышкин. Трепетные, нежнейшие мечты Достоевского о невозможном и недостижимом носятся над этими образами. Нездешние отсветы падают на них и озаряют весь мир вокруг. И от нездешнего этого света слабо начинает оживать мертвая здешняя жизнь.

«Красота везде неизреченная,— умиленно говорит старец Макар Иванович.— Травка растет,— расти, травка божия! птичка поет,— пой, птичка божия; ребеночек у женщины на руках пискнул,— господь с тобой, маленький человечек; расти на счастье, младенчик!.. Хорошо на свете, милый!»

И учит отец Зосима:

«Все создания и вся тварь, каждый листик устремляется к слову, богу славу поет, Христу плачет... Все — как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается... Ты для целого работаешь, для грядущего делаешь. Награды же никогда не ищи, ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле: духовная радость твоя... *Знай меру, знай сроки, научись сему*... Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю

целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби...»

Чуждо стоят по другую сторону пропасти Раскольников, Иван Карамазов и прочие дьяволовы подвижники. Усмехаются Свидригайлов и Версилов. Недоуменно простирает руки Дмитрий Карамазов...

Почему это вдруг стало «хорошо на свете»? Что это за соприкосновение всего друг с другом — среди всеобщего «безгласия косности»? Какая это такая духовная радость от работы для грядущего? «Да черт мне до будущего, если мне за это — ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига!» (Подросток), «Как я вступлю в союз с землею навек? Что ж мне, мужиком сделаться, аль пастушком?» (Дмитрий Карамазов). Где пути к этой желанной жизни? Ведь звучащие с того края ответы — это те же вопросы, только употребленные в повелительном наклонении. Как мне любить землю? — Люби землю...

И однако путь есть в эту заветную страну благообразия и сердечного «веселия». Какой же? Да все тот же. Человек еще недостаточно несчастен, нужно навалить на него новые страдания, забить его этими страданиями на самое дно пропасти, и вот тогда...

«Тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой жить человеку невозможно, а богу быть, ибо бог дает радость. *Как я буду там под землей без бога?* Если бога с земли изгонят, мы под землей его встретим. И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн богу, у которого радость! Да здравствует бог и его радость!» (Дмитрий Карамазов).

Отвернемся от негодующе усмехающегося Ипполита, забудем про «неутоленное негодование» Ивана Карамазова. Напомнить о них теперь — это значит выбить из-под человека последнюю опору, за которую он цепляется. К другому нужно прислушиваться:

«Горе узришь великое,— учит отец Зосима,— и в горе сем счастлив будешь. Вот тебе завет: в горе счастья ищи. Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь и жизнь благословишь».

Если же мы все еще не понимаем спасительности и, главное, возвышенности указуемого пути, то послушаем Дмитрия Карамазова. Он понял и объяснит нам это с тою нелепо-голою, невыразимо-милою откровенностью, которая для него так характерна.

«Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, *чтоб захватить его, как на аркан, и скрутить внешней силой.* Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой! Но гром грянул. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очищусь!»

Там, высоко над пропастью, благообразно расхаживают и радуются спасенные... Да полно, не вытащены ли они на свою высоту из пропасти как раз на этом *аркане?* Слишком уж они забыли

те вопросы, которые остались на дне пропасти, слишком устали от трудного подъема, слишком безмятежны. Против буйных и неистовых вопрошателей слишком «знают меру и сроки».

«Осанна, прошедшая через горнило сомнений»... Каким бы ясным, твердым блеском должна сверкать такая осанна, как страстно должна бы устремляться навстречу сомнениям, как бурно рваться к покорению человеческих душ! Но одна лишь усталость и задушенное отчаяние слышны в спокойной осанне благообразных праведников Достоевского.

И как в жизни они мягки, как покладисты! «Знай меру»,— учит Зосима. О, сам он ее знает!

«Учитель, что мне делать, чтоб наследовать жизнь вечную?» — спрашивает шут Федор Павлович Карамазов.

«Не предавайтесь пьянству и сладострастию, а особенно обожанию денег, да закройте ваши питейные дома, *если не можете всех, то хоть два или три...*»

Уж не смеется ли втайне Достоевский над своим Зосимой, заставляя его так ядовито пародировать евангельский ответ на тот же вопрос?

«Мечтаю видеть и как будто уже вижу ясно наше грядущее,— говорит все тот же святой старец.— Ибо будет так, что даже самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатства своего перед бедным, *а бедный, видя смирение его, поймет* (что поймет?!) *и уступит ему,* с радостью и лаской ответит на благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим, на то идет».

Вот она, желанная будущая гармония, та гармония, о которой так безнадежно тоскует Иван Карамазов! Бедный что-то такое поймет, уступит богатому, предоставит своим ребятам по-прежнему чахнуть с голоду, а дочь свою пошлет дорогою Сонечки Мармеладовой. Богатый же останется при своем богатстве да получит в придачу «благолепный стыд»... Хорошо, что святой старец говорит хоть проникновенно, но тихо. А то бы с другого берега пропасти его услышал Иван Карамазов и расхохотался бы так, что святой старец покраснел бы от стыда, весьма мало благолепного.

Нет, не неистовы они, эти праведники. Зато очень неистов сам Достоевский, когда речь заходит о его вере в бога. Он сейчас же начинает раздражаться, с негодованием говорит о «мерзавцах» и «олухах», нападавших на него за его веру в бога. «Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицания, которое перешел я... И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же черт».

Но чем раздраженнее отстаивает Достоевский свое право на веру, чем исступленнее анафематствует и смеется над безбож-

никами, тем настойчивее припоминается замечание, однажды им же самим оброненное:

«Кто знает, ведь, может, и правда, что иные всю жизнь горячатся даже с пеной у рта, убеждая других, единственно, чтобы самим убедиться, да так и умирают неубежденные».

И, может быть, как раз самого Достоевского имеет в виду старец Макар Иванович, противопоставляя подлинным безбожникам голых отрицателей: «те много пострашнее этих будут, потому что *с именем божиим на устах приходят»*.

Но тот же Макар Иванович в «Подростке» говорит:

«Невозможно быть человеку, чтоб не преклониться: не снесет себя такой человек, да и никакой человек».

И преклоняется человек, потому что нет сил нести себя, и нечем жить. Надевает на лицо маску, страстно старается убедить себя, что это и есть его лицо. Но вдруг нечаянно спадает маска, открывается на миг подлинное лицо,— и слышны странные загадочные речи:

«— Монах я, Lise? — спрашивает Алеша.— Вы как-то сказали сию минуту, что я монах?

— Да, сказала.

— *А я в бога-то вот, может быть, и не верую.*

Было тут, в этих слишком внезапных словах его, нечто слишком таинственное и слишком субъективное, может быть, и ему самому неясное, но уже несомненно его мучившее».

Это из «Братьев Карамазовых». А вот из «Бесов»:

«— Я хотел лишь узнать: веруете вы сами в бога или нет?

— Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую...— залепетал в исступлении Шатов.

— А в бога? В бога?

— *Я... я буду веровать в бога»*.

Нужно при этом помнить, что Шатов проповедует *совсем то же самое,* что, от себя уже, проповедует и Достоевский в «Дневнике писателя». С такою, казалось бы, огненною убежденностью и сам Достоевский все время твердит: «я верую в православие, верую, что новое пришествие Христа совершится в России»... Но публицист не смеет произнести последнего слова, он старается скрыть его даже от себя. И со страшною, нечеловеческою правдивостью это слово договаривает художник: а в бога — в бога я *буду* веровать...

Геффдинг говорит в своей «Философии религии»: «Некогда религия была тем огненным столпом, который шествовал впереди человеческого рода, указывая ему путь в его великом историческом

шествии. Теперь она все более и более превращается в лазарет, следующий за походом, подбирающий усталых и раненых».

Религия Достоевского во всяком случае — именно такой лазарет. Лазарет для усталых, богадельня для немощных. Бог этой религии — только костыль, за который хватается безнадежно увечный человек. Хватается, пытается подняться и опереться, но костыль то и дело ломается. А кругом — мрачная, унылая пустыня, и царит над нею холодное «безгласие косности».

XV

В СТРАДАНИИ ЕСТЬ ИДЕЯ

«Страданием все очищается»,— говорит Наташа в «Униженных и оскорбленных».

Да, страдание, страдание, страдание! Вот истинное бродило, очищающее и просветляющее жизнь. Вот что делает человека прекрасным и высоким, вот что дает ему счастье.

В «Бесах» монастырская одна старица говорит:

«Всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть, а как напоишь слезами своими под собою землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься».

«В горе счастия ищи!» — поучает Алешу старец Зосима. И Порфирий Петрович поучает Раскольникова:

«Страдание, Родион Романович, великая вещь; вы не глядите на то, что я отолстел, нужды нет, зато знаю; не смейтесь над этим, в *страдании есть идея*».

Какая же идея?

Мы видим: перестрадав сверх меры, люди только сходят у Достоевского с ума, убивают себя, умирают, захлебываясь проклятиями. Там, где идея эта должна проявиться, Достоевский как раз замолкает. Раскольников на каторге очистился страданием, для него началась новая жизнь, «обновление» и «перерождение», но... Но «это могло составить тему нового рассказа, теперешний же рассказ наш окончен». То же и относительно Подростка.

Но все это не важно. «Идею» страдания не к чему вскрывать, не к чему доказывать. Она для Достоевского несомненнее всех идей,— может быть, единственная вполне несомненная идея. И, покоренные силою его веры в страдание, завороженные мрачным его гением, мы принимаем душою недоказанную идею и без всякого недоумения слушаем такие, например, речи Дмитрия Карамазова:

«Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю!..» Иван хочет устроить брату побег в Америку, Дмитрий возражает: *«А совесть-то? От страдания ведь убежал!»* Было указание — отверг указание, был путь очищения — поворотил налево кругом... *«От распятия убежал!»* В конце концов он соглашается на Америку,—

и вот почему: «Если я и убегу в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу, не хуже, может быть, и этой! Не хуже, Алексей, воистину говорю, что не хуже!»

Над этим можно бы только в изумлении развести руками: что его гонит? Преступление, которое надо «искупить» страданием? Но ведь Дмитрий в нем неповинен, не он убил отца. Почему же его ободряет мысль, что он бежит на такую же каторгу, а не на радость и счастье?.. Но не изумляешься. Смотришь кругом на бессильно корчащуюся, немощную и безвольную жизнь, и во всей нелепице этой начинаешь чувствовать какую-то чудовищную необходимость, почти правду, рожденную... Из чего?

В «Записках из мертвого дома» Достоевский рассказывает про одного арестанта. Ни с того, ни с сего он бросился с кирпичом на начальника тюрьмы и за это был засечен насмерть. «Вероятно,— говорит Достоевский,— он был из отчаявшихся, из тех, кого покинула последняя надежда, *а так как совершенно без надежды жить невозможно, то он и выдумал себе исход в добровольном, почти искусственном мученичестве»*.

Когда жизни нет и надеяться не на что, когда душа бессильна на счастье, когда вечный мрак кругом, тогда призрак яркой, полной жизни дается страданием.

«Страдание-то и есть жизнь»,— говорит черт Ивану Карамазову. Важно не то, *ведет ли* к чему страдание, есть ли в нем какая «идея»,— важно то, что страдание само по себе только и дает своеобразную жизнь в мире тьмы, ужаса и отчаяния. Все призрачно, все мертво. Прочно и твердо и несомненно одно лишь страдание. Отнять у человека страдание,— чем же он станет жить? В муках бессильно стремящейся воли, в едких переживаниях отчаяния, ужаса и позора, в безумиях страдальческой или мучительской страсти,— так еще возможно жить. Но только так и возможно.

Аглая говорит Настасье Филипповне: «Вы любите один только свой позор и беспрерывную мысль о том, что вы опозорены и что вас оскорбили. Будь у вас меньше позора или не будь его вовсе, вы были бы несчастнее».

Подросток называет сестру свою Лизу «добровольною искательницею мучений». Так можно назвать всех без исключения героев Достоевского. Все они ищут мучений, все рвутся к страданиям. «Страдание-то и есть жизнь». Отнять страдание — исчезнет жизнь, и останется такая пустота, что страшно подумать.

И вот человек гасит в своей душе последние проблески надежды на счастье и уходит в темное подполье жизни. Пусть даже случайный луч не напоминает о мире, где солнце и радость. Не нужен ему этот мир, вечно дразнящий и обманывающий. У человека свое богатство — страдание.

«Законы природы постоянны и более всего всю жизнь меня обижали,— пишет подпольный человек.— Ну-с, вот от этих-то кровавых обид, вот от этих-то насмешек, неизвестно чьих, и начинается, наконец, наслаждение, доходящее иногда до высшего сладострастия... Именно вот в этом холодном, омерзительном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном погребении самого себя заживо с горя в подполье, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил».

Все то, с чем борются и от чего бегут на земле,— для подпольного человека желанно, сладостно и целительно, как морфий для морфиниста.

«Такое горе и утешения не желает, чувством своей неутолимости питается»,— говорит Достоевский по поводу одной несчастной бабы-богомолки.

Нелли в «Униженных и оскорбленных» «точно наслаждалась сама своею болью, этим «эгоизмом страдания», если можно так выразиться. Это растравление боли и это наслаждение ею было мне понятно: это — наслаждение многих обиженных и оскорбленных, пригнетенных судьбою».

Существа наземные даже и представить себе не могут, какие сокровища находит подпольный человек, разрабатывая странное свое богатство. Целые россыпи ярких, острых, сладострастных наслаждений открываются в темных глубинах этого богатства.

«В отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения,— пишет подпольный человек,— особенно, когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения».

Герой повести «Игрок» говорит: «Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества! Черт знает, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мясо».

XVI

ЖИВАЯ ЖИЗНЬ

«Конец концов, господа: лучше ничего не делать! — заявляет подпольный человек.— Лучше созерцательная инерция! Итак, да здравствует подполье! Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких условиях, в каких я вижу его, не хочу быть им... Нет, нет, подполье, во всяком случае, выгоднее. Там, по крайней мере, можно... Эх, да ведь я и тут вру! Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!»

И он же в конце своей исповеди пишет:

«Мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей «живой жизни» какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Да взгляните пристальнее! Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь и что оно такое, как называется».

Но рядом с этим глубоко в душах все время горит «зовущая тоска», все время шевелится смутное сознание, что есть она в мире, эта «живая жизнь» — радостная, светлая, знающая свои пути. И от одного намека на нее сладко вздрагивает сердце.

«Видали вы лист, с дерева лист? — спрашивает Кириллов.— Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал».

«Что же это за пир,— думает Мышкин,— что же это за всегдашний великий праздник, которому нет конца? У всего свой путь, и все знает свой путь, с песнью приходит и с песнью отходит; один он ничего не знает, ничего не понимает, всему чужой и выкидыш».

Где живет живое, как оно называется?

«Что же такое эта живая жизнь, по-вашему? — спросил князь.

— Не знаю, князь,— ответил Версилов.— Знаю только, что это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтобы оно было так просто, и, естественно, проходим мимо вот уж многие тысячи лет, не замечая и не узнавая».

Малым своим разумом Достоевский знает, в чем эта живая жизнь. Все в том же личном бессмертии. В комментариях к своему письму самоубийцы-материалиста он пишет: «Вера в бессмертие души человеческой есть единственный источник живой жизни на земле,— жизни, здоровья, здоровых идей и здоровых выводов и заключений».

Но, очевидно, не эту живую жизнь имеет в виду великий разум художника, говорящий устами Версилова. Ведь идея бессмертия души существует «многие тысячи лет», человечество не проходит мимо этой идеи, а, напротив, все время упирается в нее. А мы все ищем. Не в этом живая жизнь, которую чует Достоевский. Но не от него мы узнаем, в чем же она. Он сам не знает.

Тем не менее он знает все-таки что-то очень важное. Он знает, что *«эта живая жизнь есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на нас смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно поверить, чтобы это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем».*

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕСЬ МИР!» (О Льве Толстом)

Немец засмеялся, вышел совсем из дверей коровника, сдернул колпак и, взмахнув им над головой, закричал: — Und die ganze Welt hoch!

Ростов сам так же, как немец, взмахнул фуражкой над головой и, смеясь, закричал: «Und vivat die ganze Welt». Хотя не было никакой причины к особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для Ростова, ездившего со взводом за сеном, оба человека эти с счастливым восторгом и братскою любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и, улыбаясь, разошлись, немец — в коровиик, Ростов — в избу.

«Война и мир»

I

ЕДИНСТВО

Солнце — яркое, горячее солнце над прекрасною землею. Куда ни взглянешь, всюду неожиданная, таинственно-значительная жизнь, всюду блеск, счастье, бодрость и вечная, нетускнеющая красота. Как будто из мрачного подземелья вдруг вышел на весенний простор, грудь дышит глубоко и свободно. Вспоминается далекое, изжитое детство: тогда вот мир воспринимался в таком свете и чистоте, тогда ощущалась эта таинственная значительность всего, что кругом.

Среди прекрасного мира — человек. Из души его тянутся живые корни в окружающую жизнь, раскидываются в ней и тесно сплетаются в ощущении непрерывного, целостного единства.

«И все я был один,— рассказывает Николенька в «Юности»,— и все казалось, что таинственно-величавая природа, притягивающая к себе светлый круг месяца, стоящий везде, и как будто наполняющий собою все необъятное пространство, и я, ничтожный червяк,— мне все казалось в эти минуты, что как будто природа, и луна, и я, мы были одно и то же».

Оленин лежит в первобытном лесу, в логовище оленя. «Около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары; и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них

такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам». Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары: «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть!» — жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, а просто такой же комар или такой же фазан или олень, как и те, которые живут теперь вокруг него».

Князю Мышкину Достоевского мучительно чужд и недоступен «вечный праздник природы». Как незваный гость, «всему чужой и выкидыш», тоскливо стоит он в стороне и не в силах отозваться душою на ликование жизни. Для Толстого же этот праздник — свой, родной. Он рвется в самую его гущу, как ласточка в воздух.

«Я люблю природу,— пишет Толстой,— когда она со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда вы не одни ликуете и радуетесь природой, когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись, ползают коровки, везде кругом заливаются птицы. А это (альпийская вершина) — голая, холодная, серая площадка, и где-то там красивое что-то подернуто дымкой дали. Но это что-то так далеко, что *я не чувствую главного наслаждения природы, не чувствую себя частью этого всего бесконечного и прекрасного далека. Мне дела нет до этой дали*». (Из черновых путевых заметок Толстого о Швейцарии.)

Вокруг человека — огромное море жизни: животные, растения. У них нет рассудка, они не умеют говорить. Но в них есть самое важное, что и в человеке важнее рассудка и слов.

«— Нынче весной,— рассказывает дядя Ерошка,— так-то подошел табун важный, зачернелся. «Отцу и сыну...» уж хотел стрелить. Как она фыркнет на своих на поросят: «беда, мол, детки: человек сидит!» — и затрещали все прочь по кустам.

— Как же это свинья поросятам сказала, что человек сидит? — спросил Оленин.

— А ты как думал? Ты думал, он дурак, зверь-то? *Нет, он умней человека, даром, что свинья называется. Он все знает.* Хоть то в пример возьми: человек по следу пройдет, не заметит, а свинья как наткнется на твой след, так сейчас отдует и прочь; значит, ум в ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышит... Она свинья, а все она не хуже тебя: такая же тварь божия. Эх-ма! Глуп человек, глуп, глуп человек!»

Толстой говорит про лошадь Вронского Фру-Фру: «она была одно из тех животных, которые, кажется, *не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого*».

И повсюду у Толстого только как будто эта механическая причина отделяет животных от людей.

«Старая Ласка, еще не совсем переварившая радость приезда Левина, вернулась со двора, махая хвостом, подошла к нему, подсунула голову под его руку, жалобно подвизгивая и требуя, чтобы он поласкал ее.

— *Только не говорит,*— сказала Агафья Михайловна.— А пес... Ведь понимает же, что хозяин приехал и что ему скучно».

Мухортый ищет среди метели дорогу домой. «Никита только дергал вожжи, стараясь не шевелить ими, радуясь на ум своего любимца.

— *Только не говорит,*— приговаривал Никита.— Вишь, что делает! Иди, иди знай! Так, так... И умен же!. Гляди, что ушами делает. Никакого телеграфа не надо, за версту чует».

Собаки упустили волка. «Когда мы прибежали к канаве, волка уже не было, и обе собаки вернулись к нам с поднятыми хвостами и *рассерженными лицами.* Булька рычал и толкал меня головой — *он, видно, хотел что-то рассказать, но не умел»* («Булька и волк»).

Однако, в конце концов, слова не так уж необходимы. Тесное, непрерывное общение происходит между душами и помимо слов — путем взглядов, интонаций, какой-то своеобразной интуиции.

«Левин пустил собаку. Сытый, бурый третьяк, увидав собаку, шарахнулся. Остальные лошади тоже испугались. Ласка остановилась, насмешливо посмотрела на лошадей и вопросительно на Левина. Левин посвистал в знак того, что можно начинать». Ласка почуяла дичь. «Чтоб найти, она начала уже круг, как вдруг голос хозяина развлек ее.

— Ласка! Тут! — сказал он, указывая ей другую сторону. *Она постояла, спрашивая его, не лучше ли делать, как она начала.* Но он повторил приказание сердитым голосом».

Фру-Фру на скачках. «В то самое мгновение, как Вронский подумал о том, что надо теперь обходить Махотина, сама Фру-Фру, *поняв уже то, что он подумал,* без всякого поощрения значительно наддала и стала приближаться к Махотину с самой выгодной стороны, со стороны веревки. Махотин не давал веревки. *Вронский только подумал о том, что можно обойти и извне, как Фру-Фру переменила ногу и стала обходить именно таким образом...* Он подскакивал к ирландской банкетке. *Вместе с Фру-Фру* он еще издалека видел эту банкетку, и *вместе им обоим, ему и лошади, пришло мгновенное сомнение.* Он *заметил нерешимость в ушах лошади и* поднял хлыст, но тотчас же почувствовал, что сомнение было неосновательно: лошадь знала, что нужно».

Мне рассказывала одна моя знакомая: до семнадцати лет она безвыездно жила в городе, животных, как все горожане, видела мало и знала еще меньше. Когда она в первый раз стала читать Толстого и через него почувствовала животных, ее охватил непередаваемый, странный, почти мистический ужас. Этот ужас она

сравнивает с ощущением человека, который бы увидел, что все неодушевленные предметы вокруг него вдруг зашевелились, зашептались и зажили неожиданною, тайною жизнью.

И не только в животных есть для Толстого эта тайная, но близкая человеку жизнь. Есть она и в растениях.

Толстой стал вырубать в саду молодые топольки, шедшие от корней большого тополя. «Мне иногда жалко становилось смотреть, как разрубали под землей их сочные коренья, как потом вчетвером мы тянули и не могли вырвать надрубленный тополек. Он из всех сил держался и не хотел умирать. Я подумал: видно, нужно им жить, если они так крепко держатся за жизнь... Потом уже, когда было поздно, я узнал, что не надо было уничтожать их. Я думал, что отростки вытягивают сок из старого тополя, а вышло наоборот: когда я рубил их, старый тополь уже умирал. *Он давно уже умирал и знал это, и передал свою жизнь в отростки*».

Деревья умеют ходить. Черемуха выросла близко от липы, липа затенила ее. «Черемуха, чтоб ее не глушила липа, перешла из-под липы на дорожку. *Она почуяла, видно,* что ей не жить под липой, вытянулась, вцепилась сучком на землю, сделала из сучка корень, а тот корень бросила» (Рассказы для детей из ботаники: «Как ходят деревья»).

«Тополь *знал,* что умирает», «черемуха *почуяла,* что ей не жить». У Толстого это не поэтические образы, не вкладывание в неодушевленные предметы человеческих чувств, как делают баснописцы. Пусть не в тех формах, как человек,— но все же тополь и черемуха *действительно* знают что-то и чувствуют. Эту тайную их жизнь Толстой живо ощущает душою, и жизнь эта роднит дерево с человеком.

Толстой рубит черемуху. «Всякую работу весело работать; весело и рубить. Весело наискось глубоко всадить топор и потом напрямик подсечь подкошенное и дальше, и дальше врубаться в дерево. Я совсем забыл о черемухе и только думал о том, как бы скорее свалить ее... Когда я запыхался, я положил топор, уперся с мужиками в дерево и попытался свалить его. Мы качнули: дерево задрожало листьями, и на нас посыпались белые душистые лепестки цветов. В то же время точно вскрикнуло что-то,— хрустнуло в середине дерева,— мы налегли, и как будто заплакало, затрещало в середине, и дерево свалилось. Оно разодралось у надруба и, покачиваясь, легло сучьями и цветами на траву. Подрожали ветки и цветы после падения и остановились.

— Эх, штука-то важная! — сказал мужик.— Живо жалко!

А мне так было жалко, что я поскорее отошел к другим рабочим»...

Еще крепче эта таинственная, живая связь у людей друг с другом. Наружно они сообщаются словами, но души их, помимо слов,

все время соприкасаются в каком-то другом общении, неизмеримо более глубоком, тесном и правдивом.

«— А что, Марьянка, слышь, начальника у вас поставили? — спросил Лукашка, подвигаясь к ней.

Марьянка, как всегда, не сразу отвечала и медленно подняла глаза на казаков. Лукашка смеялся глазами, *как будто что-то особенное, не зависимое от разговора, происходило в это время между ним и девкой»*.

Николай Ростов возвратился с войны домой и встречается с Соней. «Он поцеловал ее руку и назвал ее *вы* — *Соня*. Но глаза их, встретившись, сказали друг другу *ты* и нежно поцеловались. Она просила своим взглядом у него прощения за то, что в посольстве Наташи она смела напомнить ему о его обещании. Он своим взглядом благодарил ее за предложение свободы».

Князь Нехлюдов встречается с сестрою. «Они поцеловались и, улыбаясь, посмотрели друг на друга. Совершился тот таинственный, не выразимый словами, многозначительный обмен взглядов, в котором все была правда,— и начался обмен слов, в котором уже не было той правды».

Но часто даже и взгляды излишни. Люди просто *чувствуют* друг друга.

Николай Ростов стоит в церкви на молебне. «Он тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его».

Андрей Болконский. «Он был в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.

— А, это она вошла! — подумал он.

Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа. С тех пор, как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости».

Грубое, по самой сути своей схематическое слово только уродует тонкое общение, которое происходит между душами.

Князь Андрей объясняется Наташе в любви. «Он взглянул на нее, и серьезная страстность выражения ее лица поразила его. Лицо ее говорило: «Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь?»

Княжна Марья Болконская приезжает к умирающему брату. «Она отерла глаза и обратилась к Наташе. Она чувствовала, что от нее она все поймет и узнает.

— Что...— начала она вопрос, но вдруг остановилась.

Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать все яснее и глубже».

Мир светел. Он весь полон единым, непрерывным трепетом жизни. Счастливым ответным трепетом полна и душа человека.

«Чего хотеть, чего желать? — пишет Толстой в «Люцерне».— Вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими, полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Все твое, все благо!»

Чем сильнее в человеке трепет жизни, чем больше у него *счастья,* тем выше и прекраснее становится человек, тем глубже и полнее понимает он «все, что стоит понимать в жизни».

«Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была *на той высшей ступени счастья, когда человек делается вполне добр и хорош* и не верит в возможность зла, несчастья и горя».

То же и с Пьером.

«Пьер часто потом вспоминал это время счастливого безумия. Все суждения, которые он составил себе о людях и обстоятельствах за этот период времени, остались для него навсегда верными. Он не только не отрекался впоследствии от этих взглядов на людей и вещи, но, напротив, во внутренних сомнениях и противоречиях прибегал к тому взгляду, который он имел в это время безумия, и взгляд этот всегда оказывался верен.

«Я был тогда,— думал он,— умнее и проницательнее, чем когда-либо, и *понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что... я был счастлив*».

Безумие Пьера состояло в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того чтобы любить их, *а любовь переполняла его сердце, и он, беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их*».

Счастье и радость обличают зло жизни, делают его наглядно-ужасным и чудовищным.

«— Го, го, го! Ха, ха, ха! Ух! Ух! — раздался между солдатами грохот такого здорового и веселого хохота, невольно через цепь сообщившегося и французам, что после этого нужно было, казалось, разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее всем по домам.

Но ружья остались заряженными, бойницы так же грозно смотрели вперед, и так же, как прежде, остались друг против друга обращенные, снятые с передков пушки».

Ясным своим светом счастье ярко освещает вялость, убогость и искусственность людской жизни.

Ужин у князя Василия Курагина. Влюбленные Пьер и Элен сидят рядом. «Старая княгиня, предлагая с грустным вздохом вина своей соседке и сердито вглянув на дочь, этим вздохом как будто говорила: «да, теперь нам с вами ничего больше не осталось,

как пить сладкое вино, моя милая, теперь время этой молодежи быть так дерзко, вызывающе-счастливой». «И что за глупость все то, что я рассказываю, как будто это меня интересует,— думал дипломат, взглядывая на счастливые лица любовников: — Вот это счастье!»

«Среди тех ничтожно-мелких искусственных интересов, которые связывали это общество, попало простое чувство стремления красивых и здоровых молодых мужчины и женщины друг к другу. И это человеческое чувство подавило все и царило над всем их искусственным лепетом. Шутки были невеселы, новости неинтересны, оживление, очевидно, поддельно. Казалось, и огни свечей сосредоточены были только на этих двух счастливых лицах».

Бёрне говорит: «Быть счастливым — это тоже добродетель». Для Толстого это великая добродетель и великая заслуга. Пьяница-музыкант Альберт замерзает на улице. Ему чудится голос друга-музыканта, защищающего его перед толпой: «Вы могли презирать его, мучить, унижать, а он был, есть и будет неизмеримо выше всех вас. *Он счастлив,* он добр. Ниц падайте перед ним! На колени!» — *«Да, он лучший и счастливейший!»* — невольно повторялось в воображении Альберта... В ближайшей церкви слышался благовест, и благовест этот говорил: «да, он лучший и счастливейший!» Далеко и высоко гудя где-то, колокол говорил: «Он вам жалок кажется, вы его презираете, а он лучший и счастливейший!»

У Достоевского было бы: «он лучший и *несчастнейший!*»

Толстой рассказывает про Нехлюдова: «В это лето у тетушек он переживал то восторженное состояние, когда в первый раз юноша сам по себе познает всю красоту и важность жизни и всю значительность дела, предоставленного в ней человеку... Мир божий представлялся ему тайной, которую он радостно и восторженно старался разгадывать».

Светлою тайною стоит мир божий и перед самим Толстым; радостно и восторженно он старается познать и разгадать эту тайну. В чем ценность жизни? В чем счастье? Для чего живет человек?

II

СПОСОБ ПОЗНАНИЯ

К важнейшим вопросам жизни Достоевский подходит с меркою разума и логики. Какое может быть для человека разумное основание любить людей, быть нравственным и благородным? Какая логика может заставить его жить и ценить жизнь, раз его ждет

неизбежная смерть? Какой вообще может быть смысл в этой жизни, которая полна ужасов и скорбей? Ни на один из вопросов разум не может дать логического ответа. Больше, чем кто-либо другой, Достоевский знает, что разуму и не дано собственными силами разрешать подобные вопросы; разум может только передать сознанию ответы другого голоса, лежащего глубже и сокровеннее. Но другой этот голос в Достоевском молчит, как труп. Молчит и разум. Ответов нет. И вот — жизнь пуста, ужасающе-бессмысленна, лишена всякой внутренней ценности; только санкция со стороны способна дать ей ценность.

Толстой вообще относится к разуму с глубочайшим недоверием. Сложная жизнь не укладывается для него в ограниченные рамки слов, мыслей и убеждений. Твердость и определенность убеждений вернее всего свидетельствует об оторванности от жизни.

«В области политики, философии, богословия Каренин сомневался или отыскивал; но в вопросах искусства и поэзии, в особенности музыки, понимания которой он был совершенно лишен, у него были самые определенные, твердые мнения».

Старший брат Левина, ученый теоретик Кознышев, «никогда не изменял своего мнения о народе и сочувственного к нему отношения». В спорах с Левиным, гораздо ближе знавшим народ, «Кознышев всегда побеждал брата именно тем, что у Кознышева были определенные понятия о народе, его характере, свойствах и вкусах; у Константина же Левина никакого определенного и неизменного понятия не было, так что в этих спорах Константин был уличаем в противоречии самому себе».

Тем более ненадежен разум, когда он берется решать основные вопросы жизни. Все, чем жива жизнь, для Толстого лежит на каком-то совсем другом уровне, а не на том, где люди оперируют словами и оформленными мыслями.

«Главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была несомненная, непоколебимая вера в силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла прийти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя все-таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнение в том, что *не вздор ли все то, что я думаю, и все то, во что я верю?*»

Человек жалок и беспомощен, когда подходит к жизни с одним только умом, с кодексом его понятий, суждений и умозаключений. Так был бы беспомощен скрипач, который вышел бы играть хотя бы и с самым прекрасным смычком, но без скрипки. Сущность жизни познается каким-то особенным путем, внеразумным. Есть способность к этому познанию,— и ум, как смычок, извлечет из него полные, живые, могущественные мелодии.

«И Наташа уходила в детскую кормить своего единственного мальчика Петю. Никто ничего не мог ей сказать столько успокоительного, *разумного,* сколько это трехмесячное маленькое существо, когда оно лежало у ее груди, и она чувствовала его движение и сопение носиком. Существо это говорило: «Ты сердишься, ты ревнуешь, ты хотела бы ему отомстить, ты боишься, а я вот он. А я вот он»... И отвечать нечего было. *Это было больше, чем правда*».

То же и с Кити. «Кити сердцем знала, что не только ребенок ее узнает няню, но что *он все знает и понимает, и знает, и понимает еще много такого, чего никто не знает,* и что она, мать, сама узнала и стала понимать только благодаря ему».

Умный Каренин или Кознышев со снисходительною улыбкою спросят Наташу и Кити: «Что же это *знает и понимает* ваш ребенок, чего никто не знает? Что он такого *разумного* говорит?» Конечно, ни Наташа, ни Кити не сумеют ответить, и умные люди пожмут плечами.

Умирает Николай Левин. За ним ухаживают Константин Левин, Кити и няня Агафья Михайловна.

«Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным» — так думал Левин про свою жену, разговаривая с ней в этот вечер. Левин думал об евангельском изречении не потому, чтоб он считал себя премудрым. Он не считал себя премудрым, но не мог не знать, что *он был умнее жены и Агафьи Михайловны,* и не мог не знать того, что когда он думал о смерти, он думал всеми силами души. Он знал тоже, что многие мужские большие умы, мысли которых об этом он читал, думали об этом и *не знали одной сотой того, что знали об этом его жена и Агафья Михайловна.* Как ни различны были эти две женщины, и Агафья Михайловна и Кити, они в этом были совершенно похожи. *Обе несомненно знали, что такое была жизнь и что такое была смерть,* и хотя никак не могли ответить и не поняли бы даже тех вопросов, которые представлялись Левину, обе они не сомневались в значении этого явления и совершенно одинаково, не только между собою, но разделяя этот взгляд с миллионами людей, смотрели на это».

Что-то знает в этой таинственной области дядя Ерошка. «Он удивился, почему русские все п р о с т ы, и *отчего они ничего не знают, а все ученые»*. Русские господа не знают, а зверь знает. «Ты думал, он дурак, зверь-то? Нет, он умней человека. Он *все знает*... Глуп человек, глуп, глуп человек!..»

Смерть брата производит на Левина очень сильное впечатление. «Он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что он такое». Левин пересматривает свои убеждения, читает философов,— не только нет никаких ответов, но ничего похожего на ответ. «Он был в поло-

жении человека, отыскивающего пищу в игрушечных и оружейных лавках... Нарочно вдаваясь в ту ловушку слов, которую ставили ему философы или он сам себе, он начинал как будто что-то понимать. Но стоило забыть искусственный ход мысли и из жизни вернуться к тому, что удовлетворяло,— и вдруг вся эта искусственная постройка заваливалась, как карточный дом, и ясно было, что постройка была сделана из тех же перестановленных слов, *независимо от чего-то более важного в жизни, чем разум*».

Жизнь теряет для Левина всякий смысл. Его тянет к самоубийству. Но рядом с этим наблюдается одно чрезвычайно странное явление. «Когда Левин думал о том, что он такое и для чего он живет, он не находил ответа и приходил в отчаяние; но когда он переставал спрашивать себя об этом, *он как будто знал, и что он такое, и для чего живет, потому что твердо и определенно действовал и жил;* даже в это последнее время он гораздо тверже и определеннее жил, чем прежде».

Левин как будто подходит к чему-то очень большому и важному. Еще одно усилие,— и смычок коснется струн таинственной скрипки, и Левину откроется то, что знают Агафья Михайловна и сопящий носиком Петя, дядя Ерошка и зверь.

И вдруг...

III

«СМЫСЛ ДОБРА»

Вдруг Левин услышал слова мужика:

«Фоканыч для души живет, бога помнит. По правде живет, по-божью».

Эти слова производят в душе Левина полный переворот. «Не для нужд своих жить, а для бога». Неверующему Левину становится вдруг ясно, что он мог жить только благодаря тем христианским верованиям, в которых он был воспитан. «Что я бы был такое, если бы не имел этих верований, не знал, что надо жить для бога, а не для своих нужд? Я бы грабил, лгал, убивал». То несознаваемое, чем крепок Левин, оказывается христианским богом, с «законами добра, явленным миру откровением». Это же, по объяснению Левина, дает Агафье Михайловне и Кити внутреннее знание того, что такое жизнь и смерть. Лишь благодаря христианским верованиям миллионы людей живут, находя в жизни смысл.

Но перед Левиным встает, как сам он чувствует, «опасный» вопрос: «Ну, а евреи, магометане, конфуцианцы, буддисты, что же они такое?» Левин отвечает: «Вопроса о других верованиях и их отношениях к божеству я не имею права и возможности решить». Кто же тогда дал ему право решать вопрос о христианских

верованиях,— решать, что именно моральное содержание христианства единственно дает людям силу жизни?

Тщетно ждем мы от художника Толстого, чтобы он в живых образах показал нам раскрывшийся Левину смысл жизни. «С Кити никогда не будет ссор, с гостем, кто бы он ни был, буду ласков». Но с Кити Левин опять поссорился — и приходит к окончательному выводу: «Так же буду сердиться на Ивана-кучера, так же буду спорить... Но жизнь моя теперь не только не бессмысленна, как было прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я *властен* вложить в нее».

Не «вложил», даже не «вложу», а только «*властен* вложить»! И что вложить-то? «С Кити не будет ссор, с гостем буду ласков». И бессмысленная прежде жизнь вдруг освещается смыслом! Вот тот живящий хлеб, который, наконец, нашел Левин. Но ведь этот хлеб из папье-маше! Левин искал пищу в игрушечных и оружейных лавках. Очевидно, в одной из игрушечных лавок ему и подсунули этот хлеб.

Но как же Левин не заметил, что хлеб его — из папье-маше? Очевидное дело: Левин искал пищу, не будучи голоден. Вот почему грубо сделанное подобие хлеба он так легко и принял за хлеб. Вопрос о смысле жизни был для него чисто умственным вопросом; в бессознательной своей глубине он твердо знал, «и что он такое, и для чего живет». Вот почему он так легко удовлетворился своим поспешным, скомканным, ни на что не отвечающим ответом.

Но не один только Левин находит у Толстого смысл жизни в добре. Большинство его героев приходит к тому же. Поищем у них, что же это за смысл, который дается жизни добром?

Оленин лежит в лесу. Его охватывает чувство счастья, ощущение единства со всем окружающим; в сердце вскипает любовь ко всему миру. Это сложное чувство он разлагает умом и анализирует, старается уложить в форму, в которую оно совершенно неспособно уложиться.

«Как надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?» — И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Он сам представился себе *таким требовательным эгоистом,* тогда как, в сущности, ему для себя ничего не было нужно... И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье вот что,— сказал он сам себе,— счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно... Какие желания всегда могут быть удовлетворены? Какие? Любовь, самопожертвование!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой».

Он решает «раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадется, того и брать». Но увы: никто не попадается. Насекомые

кругом слишком крупны. Они вольно носятся в воздухе, пролетают сквозь жиденькую паутину Оленина, рвут ее и даже не замечают. И сам паук любви начинает чувствовать, что куда радостнее летать в воздухе, чем сидеть в уголке на своей паутине. «Иногда Оленин забывал вновь открытый им рецепт счастья и считал себя способным слиться с жизнью дяди Ерошки, но потом вдруг опоминался и тотчас же хватался за мысль сознательного самоотвержения».

А кругом — люди, не нуждающиеся в его рецепте. «Люди здесь живут, как живет природа: умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, земле, дереву, других законов у них нет... И оттого люди эти, в сравнении с ним самим, казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя».

Оленина тянет к жизни. Сильнее разгорается любовь к красавице Марьянке. Он с силою схватывает ее наедине, крепко целует. «Все пустяки, что я прежде думал: и любовь и самоотвержение. Одно есть счастье: кто счастлив, тот и прав,— мелькнуло в его голове».

Однако счастье ему не дается. Оленин опять обращается за объяснением к своему прошедшему, но теперь причину находит совсем уже не в том, в чем видел прежде,— не в том, что был «таким требовательным эгоистом».

«Я пробовал,— пишет он,— отдаваться этой жизни и чувствовал *свою слабость, свою изломанность. Я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего*... Самое ужасное и самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю Марьяну, а она никогда не поймет меня. Она не поймет не потому, что она ниже меня, напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива: она, как природа, ровна, спокойна и *сама в себе. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтоб она поняла мое уродство и мои мучения*. Любя ее, я испытываю не желание наслаждения, это что-то другое. *Любя ее, я чувствую себя нераздельною частью всего счастливого божьего мира*. Я писал прежде о своих новых убеждениях, которые вынес из своей одинокой жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне не было... Ну... Пришла любовь, и их нет теперь, нет и сожаления о них! *Даже понять, что я мог дорожить таким односторонним, холодным, умственным настроением, для меня трудно*. Пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет об исчезнувшем! *Самоотвержение — все это вздор, дичь*. Это все гордость, *убежище от заслуженного несчастья, спасение от зависти к чужому счастью*. Жить для других,

делать добро! Зачем? Я не люблю теперь этих других. Я живу не сам по себе, но есть что-то сильнее меня, руководящее мною. Я мучаюсь, но прежде я был мертв, а теперь только я живу».

Кончается роман тускло и нудно. Марьяна соблазнилась, было, браком с богатым «юнкирем», но после смерти Лукашки отворачивается от Оленина.

«Уйди, постылый! — крикнула девка, топнула ногой и угрожающе подвинулась к нему. И такое отвращение, презрение, злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться».

Он навсегда уезжает из станицы. Жалок его отъезд. С глубоким равнодушием все смотрят на уезжающего, как будто он и не жил среди них. И ясно: Оленин стал всем чужд не потому, что не сумел удержаться на высоте своего самоотвержения, а потому, что в нем не оказалось *жизни,*— той жизни, которая ключом бьет в окружающих людях — в Лукашке, Марьяне, дяде Ерошке.

В «Утре помещика» князь Нехлюдов открывает ту же — «ему казалось,— совершенно новую истину» о счастье в добре и самоотвержении. Но так же, как Оленин, он убеждается в мертвенной безжизненности этой истины. «Иногда я чувствую, что могу быть довольным собою; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нет, я просто недоволен собою! Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастья, а желаю, страстно желаю счастья».

Брошенная Вронским Кити знакомится за границею с самоотверженною Варенькою. Ей становится понятным счастье самоотвержения и любви к людям. Она начинает ухаживать за больными, пытается вся уйти в любовь и самоотречение. Но очень уже скоро в величайшем волнении она говорит Вареньке:

«Все это было притворство, потому что это все выдуманное, а не от сердца. Какое мне дело до чужого человека? Ах, как глупо, как гадко!.. Нет, теперь я уже не поддамся на это! Быть дурною, но по крайней мере не лживою, не обманщицей! Пускай они живут, как хотят, и я, как хочу. Я не могу быть другою!»

С Варенькою она помирилась. «Но для Кити изменился весь тот мир, в котором она жила. Она не отреклась от всего того, что узнала, но поняла, что она себя обманывала, думая, что может быть тем, чем хотела быть. Она как будто очнулась... и ей поскорее захотелось на свежий воздух».

«Смысл добра» открывается и Пьеру Безухову в учении масонов. «Он был, как ему казалось, порочным только потому, что он как-то случайно запамятовал, как хорошо быть добродетельным». Мы увидим — пребывание в плену дало Пьеру новое, широкое понимание жизни, и он с чуждым, отказывающимся чувством вспоминает об откровениях масонства.

И так у всех художественно выписанных искателей смысла жизни. «Смысл добра», который они вкладывают в жизнь, так наглядно мертвен, так уродлив, что вызывает только раздражение, почти отвращение. Князь Нехлюдов в «Воскресении» пожертвовал собою для Катюши Масловой. После хорошего обеда у сибирского губернатора сидит он в мягком кресле, слушает симфонию Бетховена. «Рояль белый прекрасный, исполнение симфонии хорошее. Слушая прекрасное анданте, он почувствовал щипание в носу от умиления над самим собою и всеми своими добродетелями». И горячо сочувствуешь озлоблению Масловой, с каким она думает об этом подвижнике: «Она знает его и не поддается ему, не позволит ему духовно воспользоваться ею, как он воспользовался ею телесно, не позволит ему сделать ее предметом своего великодушия».

Иногда положительно начинает казаться, что Толстой сознательно рисует «смысл добра» в таких уродливых формах, что он как будто прямо хочет сказать читателю: нет, смысл жизни — в чем угодно, только не в добре!

Но, конечно, это не так. Напротив, Толстой горячо сочувствует своим искателям смысла жизни в области добра. Он упорно рисует их почти в каждом своем произведении, начиная с «Юности» и кончая «Воскресением». Он, несомненно, всеми силами старается заразить читателя мыслью, что смысл жизни лежит именно в любви и самоотвержении. Тем знаменательнее неудача, которая при этом постигает Толстого. Как будто какая-то непреодолимая преграда стоит перед художником, он снова и снова разбегается, чтоб перепрыгнуть ее,— и каждый раз напрасно.

Внутренняя сущность его героев совершенно не соответствует тому «смыслу добра», который они признают за жизнь. Еще более знаменательно, что несоответствие это не создает в их душах решительно никакой *трагедии*. Кириллов Достоевского говорит: «Бог необходим, а потому должен быть. Но я знаю, что его нет и не может быть. Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых?» Тут безысходный ужас самой подлинной трагедии. Не менее трагично должно быть положение и героев Толстого. Все они должны бы говорить: «Смысл жизни только в любви и самоотвержении. Но во мне нет ни любви, ни самоотвержения. Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых?» Но ни тени трагизма у Толстого нет. Как будто в бессознательной глубине своей он носит что-то, обо что всякий трагизм разбивается и рассыпается пылью.

В августе 1903 года у меня была в Ясной Поляне одна беседа с Толстым, и тогда она меня очень поразила. Разговор зашел об этом самом трагизме,— когда человек сознает, что, скажем, сча-

стье любви есть высшее счастье, но он неспособен отдаться ему, нет в нем этой любви, которая единственно дает счастье.

Толстой в недоумении пожал плечами.

— Не понимаю вас. Если человек понял, что счастье — в любви, то он и будет жить в любви. Если я стою в темной комнате и вижу в соседней комнате свет, и мне нужен свет,— то как же я не пойду туда, где свет?

— Лев Николаевич, ведь на ваших же всех героях видно, что это не так просто. Оленин, Левин, Нехлюдов очень ясно видят, где свет, однако не в силах пойти к нему.

Но Толстой только разводил руками. Видно было, что он искренно хочет понять этот самый «трагизм», выспрашивал, слушал внимательно и серьезно.

— Простите меня, не понимаю!

Самое же слово «трагизм», видимо, резало его ухо, как визг стекла под железом. По губам пронеслась насмешка.

— Трагизм!.. Бывало, Тургенев приедет, и тоже все: *траги-изм, траги-изм...*

И так он это слово сказал, что где-то в душе стало совестно за себя, шевельнулся странный, нелепый вопрос: да полно, существует ли вправду какой-нибудь в жизни трагизм?

Только в настоящее время, мне кажется, я начинаю понимать этот странный разговор и начинаю понимать в Толстом последних десятилетий то, что раньше мне было совершенно непонятно.

Жить в добре и самоотвержении большинство героев Толстого совершенно неспособно. Но есть и такие, которые непрерывно живут в добре и самоотвержении. Отношение к ним художника Толстого не менее знаменательно.

Прежде всего таких образов у него до странности мало. В княжне Марье Болконской характерна религиозная созерцательность, а не деятельная любовь. В деятельной любви она ни горяча, ни холодна. Наташа, например, горячо поддерживает своего мужа Пьера в его замыслах деятельности на благо людей. Марья отрицательно относится к такой деятельности, и вот почему: «Пьер говорит, что все страдают, мучаются, развращаются и что наш долг помочь ближним. Разумеется, он прав, но он забывает, что у нас есть другие обязанности ближе, которые *сам бог указал нам, и что мы можем рисковать собой, но не детьми*». (Это бог-то указал, говорящий так ясно и определенно: «враги человеку домашние его».)

Есть, далее, в «Воскресении» революционерка Мария Павловна, красавица с бараньими глазами. «Весь интерес ее жизни

состоял, как для охотника найти дичь, в том, чтобы найти случай служения другим. И этот спорт сделался привычкой, сделался делом ее жизни». Но обрисована она бледно и схематично, это — тусклый силуэт, теряющийся в глубине сложной и большой картины.

Остаются Варенька в «Анне Карениной» и Соня в «Войне и мире».

Варенька — образец самоотвержения. Она никогда не думает о себе, спешит всюду, где нужна помощь, ухаживает за больными,— всегда ровная, спокойно-веселая. Кити, брошенная Вронским, знакомится с нею за границей. «На Вареньке Кити поняла, что стоило только забыть себя и любить других, и будешь спокойна, счастлива и прекрасна. И такою хотела быть Кити. Поняв теперь ясно, что было с а м о е в а ж н о е, Кити тотчас же всею душою отдалась этой новой, открывшейся ей жизни».

Но тускла, сера и безжизненна душа Вареньки. Когда-то Варенька любила. Мать любимого человека была против их брака, он женился на другой. Варенька рассказывает про это Кити, «и в красивом лице ее чуть брезжил тот огонек, который, Кити чувствовала, когда-то освещал ее всю». Теперь же она — «одинокая, с грустным разочарованием, *ничего не желающая, ничего не жалеющая.* Она была похожа на *прекрасный, хотя еще и полный лепестков, но уже отцветший, без запаха цветок*... Ей недоставало того, чего слишком много было в Кити,— *сдержанного огня жизни*».

Обидное, унизительное отсутствие этого огня жизни сказывается и в коротком, трагикомическом романе Вареньки с Кознышевым. Во время прогулки за грибами они пытаются объясниться друг другу в любви, но у них, как выражается Кити, «не берет».

«Кознышев повторял себе слова, которыми он хотел выразить свое предложение, но вместо этих слов, по какому-то неожиданно пришедшему ему соображению, он спросил:

— Какая же разница между белым грибом и березовым?

Губы Вареньки дрожали от волнения, когда она ответила:

— В шляпке почти нет разницы, но в корне.

И как только эти слова были сказаны, и он, и она поняли, что дело кончено, что то, что должно было быть сказано, не будет сказано»... Они возвращаются с прогулки с пристыженными лицами, оба испытывают одинаковое чувство, подобное тому, какое испытывает ученик после неудавшегося экзамена... «Левин и Кити чувствовали себя особенно счастливыми и любовными в нынешний вечер. Что они были счастливы своею любовью, это заключало в себе неприятный намек на тех, *которые того же хотели и не могли,* и им было совестно».

«Хотели того же и не могли»... И вот в результате — самоотвержение, *забыть себя* и любить других. Это дает «завидное спокойствие и достоинство»... Но какая цена этому самоотвержению? Художник как будто всеми словами готов повторить то, что раз уже сказал устами Оленина: «самоотвержение — это убежище от заслуженного несчастия, спасение от зависти к чужому счастью».

Соня, кузина Наташи Ростовой, тоже полна самоотвержения. Она покорно отказывается от прав своих на Николая Ростова, живет в семье бывшего жениха, ухаживает за его детьми, за старой графиней. «Но все это принималось невольно с слишком слабою благодарностью». Наташа, в разговоре с женою брата, вот как отзывается о Соне:

«Знаешь, что: вот ты много читала евангелия; там есть одно место прямо о Соне: «имущему дастся, а у неимущего отнимется», помнишь? Она — неимущий; за что? Не знаю. *В ней нет, может быть, эгоизма,*— я не знаю, но у ней отнимется, и все отнялось... она п у с т о ц в е т; знаешь, как на клубнике? Иногда мне ее жалко, а иногда я думаю, что она не чувствует этого, как чувствовали бы мы».

Есть еще в «Анне Карениной» благородный деятель «для общего блага». Это Кознышев, старший брат Левина.

«Константин Левин смотрел на брата, как на человека благородного в самом высоком значении этого слова и одаренного способностью деятельности для общего блага. Но в глубине своей души, чем ближе он узнавал своего брата, тем чаще и чаще ему приходило в голову, что эта способность деятельности для общего блага, *может быть, и не есть качество, а напротив, недостаток чего-то,* не недостаток добрых, честных, благородных желаний и вкусов, но *недостаток силы жизни,*— того стремления, которое заставляет человека из всех бесчисленных представляющихся путей жизни выбрать один и желать этого одного. Чем больше он узнавал брата, тем более замечал, что и Сергей Иванович, и многие другие деятели для общего блага не сердцем были приведены к этой любви к общему благу, но умом рассудили, что заниматься этим хорошо, и только потому занимались этим».

Мы перебрали, кажется, решительно всех героев Толстого, вкладывающих или пытающихся вложить в жизнь «смысл добра». Результат пересмотра настолько поразителен, что спрашиваешь себя: да как же возможно такое уничтожающе-отрицательное отношение к добру и любви со стороны человека, так упорно проповедующего, что смысл жизни заключается именно в любви и самоотречении? Люди по мере сил вкладывают в жизнь «смысл добра», «забывают себя» для других, а художник говорит: «Это — умирание, это смерть души!» Вареньке недостает «сдержанного огня жизни». У Кознышева «недостаток силы жизни». У Сони «нет

эгоизма». Сбросив с себя иго «смысла добра», Оленин восклицает: «Я был мертв, теперь только я живу».

— Добро! Любовь! Самоотвержение! — твердят герои Толстого и Толстой-проповедник.

— Жизнь! Жизнь! Жизнь! — возражает Толстой-художник. Что же такое эта жизнь?

IV

ЖИВАЯ ЖИЗНЬ

Толстой пишет: «Если бы мне дали выбирать: населить землю такими святыми, каких я только могу вообразить себе, но только, чтобы не было детей, или такими людьми, как теперь, но с постоянно прибывающими, свежими от бога детьми,— я бы выбрал последнее».

Это писано в 1902 году, когда Толстой давно уже и окончательно утвердился в своем учении о смысле жизни в добре. «Святые, каких можно себе только вообразить», разумеется, всего полнее осуществили бы на земле тот «смысл добра», о котором мечтает Толстой. Тем не менее он предпочитает грешное современное человечество, лишь бы существовали дети. Очевидно, в детях есть для Толстого что-то такое, что выше самой невообразимой святости взрослого. Что же это?

Николенька Иртеньев уходит по утрам к реке. «Там я ложился в тени на траве и глядел на лиловатую в тени поверхность реки, на поле желтеющей ржи на том берегу, на светло-красный утренний свет лучей и наслаждался сознанием в себе *точно такой же свежей, молодой силы жизни, какою везде кругом меня дышала природа*».

Князь Андрей на перевязочном пункте «после перенесенного страдания чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты его жизни, в особенности самое дальнее детство, когда, зарывшись головой в подушки, *он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни,*— представлялось его воображению даже не как прошедшее, а как действительность». Так же и Левин жадно вспоминает свое детство, его *«через край бьющее и пенящееся сознание счастья жизни»*. И умирающий Иван Ильич обращается мыслями все к тому же детству: «там, в детстве, было что-то такое, *с чем можно было бы жить, если бы оно вернулось*».

В книге «О жизни» Толстой пишет: «Радостная деятельность жизни со всех сторон окружает нас, и мы все знаем ее в себе с самых первых воспоминаний детства... Кто из живых людей не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного и чаще всего в самом раннем детстве,— того блаженного чувства умиления, при

котором хочется любить всех; и близких, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку; хочется одного,— чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы».

Не случайно Толстой так упорно возвращается к жизнеощущению, которым отличаются дети. В этом жизнеощущении для него лежит какая-то великая правда, утерянная взрослыми. В «Люцерне» он пишет:

«Жалкий твой ум, жалкое то счастье, которого ты желаешь, и несчастное ты создание, само не знаешь, чего тебе надобно... Да дети-то здраво смотрят на жизнь: *они любят и знают то, что должен любить человек, и то, что дает счастье,* а вас жизнь до того запутала и развратила, что вы смеетесь над тем, что одно любите, и ищете одного того, что ненавидите, и что делает ваше несчастие».

Эту правду, таящуюся в детской душе, Толстой чует не только в детях, уже способных *сознавать* счастье жизни. Вот грудной ребенок Наташи или Кити. Младенец без искры «сознания»,— всякий скажет: кусок мяса. И с поразительною убежденностью Толстой утверждает, что этот кусок мяса «все знает и понимает, *и знает, и понимает еще много такого, чего никто не знает*». С тою же убежденностью он отмечает это знание в звере и даже в старом тополе.

В последние годы всеобщее внимание обратил на себя французский мыслитель Анри Бергсон. Много у него спорного, со многим трудно согласиться. Но ряд основных его положений имеет значение огромной важности. Всякий думающий, вслушивающийся в себя человек давно уже смутно чувствовал то, что говорит Бергсон. Ярко, ясно и глубоко чувствовал это Лев Толстой.

Бергсон говорит: «Мы не только разумные существа. Возле нашей умозрительной и логической мысли находится неопределенная туманность из той самой сущности, за счет которой образовалось блестящее ядро, наш разум. В этой туманности еще находятся силы, дополняющие разум; мы только смутно чувствуем их, сосредоточившись в себе».

Одна из таких сил — инстинкт. Большая ошибка видеть в нем ступень, предшествующую разуму. Различие между этими двумя силами лежит не в интенсивности, вообще не в степени, а в самой сущности их. Способы познания жизни совершенно у них различны. Какой-нибудь лошадиный овод или навозный жук совершенно лишены интеллекта; между тем мудрость их инстинкта поразительна. Связать эту мудрость с интеллектом невозможно, невозможно и интеллект вывести из нее. Это совсем другой род познания жизни — интуитивный. «То, что есть в инстинкте существенного, не может выразиться в интеллектуальных терминах и, следовательно, не может быть анализировано». Развиваясь в направлении к интеллекту, человек оставил по дороге много других

способностей,— эти способности сильны в животных, развившихся в ином направлении. Разум, который дал человеку власть и силу над миром, в то же время сузил человека, сделал его однобоким, задержал его развитие в других направлениях. «В общем, эволюция старается идти, насколько возможно, в прямом направлении, но каждое специальное развитие представляет круговой процесс. Как вихри пыли, поднятые пролетевшим ветром, живые существа вращаются вокруг самих себя, отставая от великого потока жизни». Так вращается человек вокруг своего разума, и великий поток жизни проносится мимо него.

Заметим от себя, что изредка в человеке еще просыпаются остатки тех утерянных способностей, о которых говорит Бергсон. Разум вдруг отступает, выдвигается другая сила. Своеобразным, не поддающимся сознанию путем она охватывает окружающую жизнь так глубоко и полно, действует в ней так уверенно и точно, как разум не смел бы и мечтать. Лунатик, с глубоко спящим интеллектом, карабкается по карнизу дома, каждое его движение целесообразно и точно; и горе ему, если вдруг проснется интеллект и вмешается в чудесную бессознательную работу инстинкта: то, что до тех пор было легко исполнимо, становится невозможным. В минуту большой опасности бывает, что в человеке вдруг просыпается та же уверенная, хладнокровная и зоркая сила инстинкта; она пренебрежительно отстраняет растерявшийся разум, схватывает положение во всей его сложности и выводит человека из опасности. Всякий из нас хоть раз-другой испытал блаженное изумление от пробуждения в себе этой мощной, таинственной силы, действующей вне сознания — во время ли той же опасности, во время ли работы или игры.

Левин учится косить. «В середине работы на Левина находили минуты, во время которых он забывал то, что делал, ему становилось легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита. Но только что он вспоминал о том, что он делает, и начинал стараться сделать лучше, тотчас же он испытывал всю тяжесть труда, и ряд выходил дурен... И чаще, и чаще приходили минуты бессознательного состояния... Уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собою. Это были самые блаженные минуты».

Возвращаемся к Бергсону. Инстинктом, говорит он, живое существо глубже входит в жизнь, глубже познает ее, но это познание у животного не переходит в сознание и направлено исключительно на ближайшие, практические полезности. Интеллект же, способный рассматривать жизнь только с внешних точек зрения, способен ставить вопросы о всех глубинах жизни. «*Су-*

ществуют вещи, которые только интеллект способен искать, но которых он сам по себе никогда не найдет. Только инстинкт мог бы найти их, но он никогда не станет их искать».

«Интеллект характеризуется *природным непониманием жизни.* Наоборот, инстинкт отливается по форме жизни. В то время как интеллект трактует все вещи механически, инстинкт действует, если можно так выразиться, органически. Если бы пробудилось спящее в нем сознание, если бы он обратился вовнутрь на познание, вместо того чтобы переходить во внешние действия, *если бы мы умели спрашивать его, а он умел бы отвечать, он выдал бы нам самые глубокие тайны жизни...* Интуиция, то есть инстинкт, который не имел бы практического интереса, который был бы сознательным по отношению к себе, способным размышлять о своем объекте и бесконечно расширять его, такой инстинкт ввел бы нас в самые недра жизни».

Но этого нет. Инстинкт — это мы уже делаем выводы из Бергсона,— инстинкт немо вбуравливается всеми своими корнями в глубь жизни, целостно сливается с нею, охраняет нас, заставляет нас жить, не помнить о смерти, бороться за жизнь и ее продолжение, но при этом молчит и невыявленным хранит в себе смысл того, что делает. А мы так слабо связаны с ним, что, только им живя, совершенно не *чувствуем* ни его, ни самой жизни. Мы разумом ставим жизни вопросы, даем себе на них разнообразнейшие, шаткие, противоречивые ответы и воображаем, что живем этими ответами. Если же мы отрекаемся от жизни, клеймим ее осуждением и проклятием, то и тут думаем: это оттого, что жизнь неспособна ответить на наши вопросы. А причина совсем другая. Причина та, что мы окончательно оторвались от жизни, что в нас замер последний остаток инстинкта жизни.

Только в детях силен еще этот инстинкт жизни, эта «свежая, молодая сила жизни, какою везде кругом дышит природа». Она-то и дает ребенку способность «знать и понимать много такого, чего никто не знает» — не умом понимать, а всем существом своим чувствовать глубокую, неисчерпаемую *самоценность* жизни. Жизнью переполнена душа, жизнью пронизан весь мир вокруг — и непонятен странный вопрос: «для чего жизнь?» Только ужасающее разложение в человеке инстинкта жизни делает возможным этот вопрос — бессмысленный и смешной при наличности инстинкта жизни, не разрешимый при его отсутствии никакими силами разума. Столь же непонятен и вопрос о грозящей смерти. Как солнце неспособно видеть тени, так жизнь неспособна внутренно сознавать свою обреченность на уничтожение. «В смерть, про которую ему так часто говорили, Сережа (сын Анны Карениной) не верил совершенно. Он не верил в то, что любимые им люди могут умереть, и в особенности в то, что он сам умрет. Это было для него совершенно невозможно и непонятно».

У нас же как раз обратное. В смерть мы верим твердо, мы понимаем ее и вечно чувствуем. Жизни же не понимаем, не чувствуем и даже представить себе неспособны, как можно в нее верить. А что верят в нее дети, мы объясняем тем, что они *неразумны*. И труднее всего нам понять, что слепота наша к жизни обусловлена не разумом самим по себе, а тем, что силы жизни в человеке хватает обычно лишь на первый-второй десяток лет; дальше же эта сила замирает.

Живы дети, только дети,
Мы ж мертвы, давно мертвы.

Эту мертвенную слепоту к жизни мы видели у Достоевского. Жизненный инстинкт спит в нем глубоким, летаргическим сном. Какое может быть разумное основание для человека жить, любить, действовать, переносить ужасы мира? *Разумного* основания нет, и жизнь теряет внутреннюю, из себя идущую ценность.

В редкие только мгновения жизненный инстинкт просыпается из летаргии и тихо шепчет Достоевскому свои не разумом постигаемые откровения.

«— Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что,— говорит Иван Карамазов.— Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь... Понимаешь ли ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет?

— Слишком понимаю, Иван; нутром и чревом *хочется* любить,— прекрасно ты это сказал... Я думаю, что все *должны* прежде всего на свете жизнь полюбить.

— Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?

— Непременно так, полюбить прежде логики, и тогда только я и смысл пойму».

Алеша полагает, что Иван к этому близок. Но мы уже видели, Алеша глубоко ошибается. Умирающую под холодным пеплом последнюю искорку жизни он принимает за огонь, способный ярко осветить и жарко согреть душу.

Для самого Алеши вековечная тайна жизни столь же чужда и далека, как и для Ивана. Есть в романе потрясающая сцена, когда Алеша в исступлении целует чуждую ему землю. Исступление это еще более страшно, чем отъединенная от земли тоска по ней Ипполита или князя Мышкина.

«Алеша быстро сошел с крылечка вниз. Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих, сияющих звезд... Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный, повергся на землю.

Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, *и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков.* «Облей землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои»...— прозвенело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и не стыдился исступления сего»...

В изумлении поглядели бы на плачущего на Алешу Наташа Ростова или дядя Ерошка. Как чужды, непонятны были бы им его *клятвы* любить во веки веков землю и жизнь! Душа целостно и радостно сливается с жизнью мира,— какие же тут возможны клятвы, для чего они? Не станет ребенок клясться перед собою в любви к матери. Но с исступлением Алеши будет клясться пасынок в любви к прекрасной мачехе, с ужасом чувствуя, что нет у него в душе этой любви.

Как молния — бурную тьму ночи, постижение «тайны земной» только в редкие мгновения пронизывает душу Достоевского. Сверкнув, тайна исчезает, мрак кругом еще чернее, ни отсвета нигде, и только горит в душе бесконечная тоска по исчезнувшему свету.

Алеша говорит: «нутром и чревом *хочется* любить», «все *должны* полюбить жизнь больше, чем смысл ее». Толстой не скажет «хочется» и «должны». Он и без того жадно любит жизнь именно нутром и чревом, любит жизнь больше, чем смысл ее. Есть жизнь — есть все. Вопросы о смысле, о цели осыпаются с блистающего существа живой жизни, как чуждая шелуха.

Сенокос. «Все потонуло в море веселого, общего труда. Бог дал день. Бог дал силы. И день, и силы посвящены труду, и *в нем самом награда.* А для кого труд? Какие будут плоды труда? — Это соображения посторонние и ничтожные».

Музыкант Альберт играет на скрипке. «Лицо сияло непрерывною, восторженною радостью: глаза горели светлым сухим блеском, ноздри раздувались, вся фигура выражала восторженную жадность наслаждения. Встряхнув волосами, он опустил скрипку и с улыбкою гордого величия и счастия оглянул присутствующих...

— Много нужно для искусства, но главное — огонь! — сказал он, блистая глазами и поднимая обе руки кверху.

И действительно, страшный внутренний огонь горел во всей его фигуре».

Альберт замерзает, пьяный, у подъезда дома терпимости. Ему снится, что над ним идет суд. Люди говорят:

«— Чем же он велик? И зачем нам кланяться перед ним? *Разве он вел себя честно и справедливо? Разве он принес пользу обще-*

ству? Разве мы не знаем, как он брал взаймы деньги и не отдавал их?

— Перестаньте, стыдитесь! — заговорил голос художника Петрова.— Какое право имеете вы обвинять его? *Разве вы жили его жизнью? Испытывали его восторги?* Искусство есть высочайшее проявление могущества в человеке. Оно поднимает избранника на такую высоту, на которой голова кружится, и трудно удержаться здравым... Да, унижайте, презирайте его, а из всех нас он лучший и счастливейший».

Вот история «Двух гусаров» — отца и сына. Граф Турбин-старший — кутила, мот, скандалист и дуэлянт. Но все, что он делает, горит жизнью. Кутит ли он с цыганками, расправляется ли с шулером, обыгравшим его товарища,— во всем живет безудержно и самозабвенно. На балу в провинциальном городке граф знакомится с хорошенькой вдовушкой и влюбляется в нее. «Граф не спускал глаз с вдовушки. Он не притворялся, говоря, что для нее готов был броситься в прорубь. Прихоть ли, любовь ли, упорство ли, но в этот вечер все его душевные силы были сосредоточены на одном желании — видеть и любить ее». Во время разъезда он, без шубы, по колени в снегу, пробирается к ее карете, прячется в ней и объятиями встречает испуганную вдовушку. В эту же ночь он овладевает ею и навсегда уезжает из города.

Через двадцать лет сын его случайно попадает во время похода к этой же вдовушке Анне Федоровне. Граф Турбин-младший — благоразумный, расчетливый и предусмотрительный молодой человек; из всего он умеет аккуратно и старательно извлекать приятное для себя удовольствие. У Анны Федоровны красавица дочка Лиза. Граф старается завязать с нею «интрижку», трогает под столом ногою ее ногу. Лиза сообщает, что любит сидеть по ночам у открытого окна. Граф принимает это за намек, пробирается к ее окну, девушка пугается, и он убегает. В своей комнате граф с улыбкой рассказывает о приключившейся неудаче ночующему с ним товарищу.

«Корнет Полозов повернулся спиной к двери и молча полежал минут десять. Когда он повернулся снова, лицо его выражало страдание и решительность.

— Граф Турбин! — сказал он прерывистым голосом.

— Что ты, бредишь или нет? — спокойно отозвался граф.— Что, корнет Полозов?

— Граф Турбин! Вы подлец! — крикнул Полозов и вскочил с постели».

Подлец?.. Почему же не подлец и граф Турбин-старший? У обоих одинаково — мгновенно вспыхнувшее увлечение хорошенькими женщинами, оба с одинаковою дерзостью стремятся к цели. Но Турбин-старший *живет* своею страстью — и происходит что-то

единственное, особенное, чего нельзя назвать определенным словом и к чему нельзя подойти с определенною меркою. У Турбина же младшего — холодный, спокойный расчет на «удовольствие», пошлое слово «интрижка» совершенно покрывает пошлую цель его стремлений! — и получается мертвая гадость.

Мы видим, не содержанием определяется живая жизнь. Одно и то же содержание: у Турбина-старшего есть жизнь, у Турбина-младшего — пошлость и мертвечина.

Оленин и Нехлюдов делают открытие, что жизнь заключается в добре; Варенька непрерывно и самоотверженно живет в добре. Толстой показывает, что эта жизнь в добре не жизнь, а смерть. Значит ли это, что само добро отрицается живою жизнью?

Ростовы уезжают из покидаемой войсками Москвы. В гостиной сидит их зять, полковник Берг, прямой предок нынешних истинно-русских инородцев. Он восхищается «истинно-древним мужеством российских войск» и почтительнейше просит старого графа уступить ему одну подводу, чтоб увезти купленную по случаю очень прекрасную шифоньерку с аглицким секретом. На дворе нагружаются добром подводы, и отовсюду на них с завистью глядят покидаемые в городе раненые. Тут же стоит Наташа с братом Петей.

«— По-моему,— вдруг закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо к Пете,— по-моему, это такая гадость, такая мерзость, такая... Я не знаю. Разве мы немцы какие-нибудь?

Горло ее задрожало от судорожных рыданий, и она, боясь ослабить и выпустить даром заряд своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лестнице.

Берг сидел подле графини и родственно-почтительно утешал ее. Граф с трубкой в руках ходил по комнате, когда Наташа, с изуродованным злобой лицом, как буря, ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери.

— Это гадость! Это мерзость! — закричала она.— Это не может быть, чтобы вы приказали!

Берг и графиня недоумевающе и испуганно смотрели на нее. Граф остановился у окна, прислушиваясь.

— Маменька, это нельзя: посмотрите, что на дворе! — закричала она.— Они остаются!

— Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?

— Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька; это ни на что не похоже... Нет, маменька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка... Маменька, ну что нам то, что мы увезем; вы посмотрите только, что на дворе... Маменька! Это не может быть!..

Граф стоял у окна и, не поворачивая лица, слушал слова Наташи. Вдруг он засопел носом и приблизил свое лицо к окну.

Графиня взглянула на дочь, увидала ее пристыженное за мать лицо, увидала ее волнение, поняла, отчего муж теперь не оглядывался на нее, и с растерянным видом оглянулась вокруг себя.

— Ах, да делайте, как хотите! Разве я мешаю кому-нибудь? — сказала она, еще не вдруг сдаваясь.

— Маменька, голубушка, простите меня...

Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу.

— Mon cher, ты распорядись, как надо... я ведь не знаю этого,— сказала она, виновато опуская глаза.

— Яйца... яйца курицу учат...— сквозь счастливые слезы проговорил граф и обнял жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо».

«Добро», которое тут проявляет Наташа, уж, конечно, не отрицается живою жизнью. Напротив, оно *есть* именно сама живая жизнь. И именно поэтому дико даже подумать, что душа Наташи живет — добром. Каким добром?! Наташа *жизнью* живет, а не добром; *добро* так же свободно и необходимо родится у нее из жизни, как родятся ее песни и радость. И вот то самое, что у Вареньки является вялым без запаха цветком, превращается в цветок свежий и душистый, как только что сорванный в лесу ландыш.

Ясно становится, какое уродливое, противоестественное дело творят с добром Оленины, Левины и Нехлюдовы. Они берут нежнейший прекраснейший цветок жизни, зарывают его в землю и говорят: вот что должно быть корнем растения. Художник Толстой откапывает изуродованный, смятый цветок, стряхивает с него землю и говорит: смотрите, что вы сделали с ним. Это вовсе не корень растения,— растение живет другим, и *этим* жить не может: но это — высшее проявление и увенчание растения; пышно же развиться оно может только при наличности подлинных подземных корней. Корни эти — сила жизни.

В «Воскресении» ярко противопоставлены друг другу два «цветка» добра. Один, в качестве корня растения, уродливо зарыт в землю; это Нехлюдов. Другой вольно растет на воздухе; это — Катюша Маслова.

Катюша окончательно отказывается от брака с Нехлюдовым и решает выйти замуж за ссыльного Симонсона. Известие огорчает Нехлюдова. «Ему было что-то не только неприятно, но и больно. В чувстве этом было и то, что предложение Симонсона разрушало исключительность его поступка, уменьшало в глазах своих и чужих людей цену жертвы, которую он приносил: если человек, и такой хороший, ничем не связанный с ней, желал соединить с ней судьбу, то его жертва уж не была так значительна».

Катюше — той решительно все равно, значительна или незначительна ее жертва.

«— Нет, вы меня, Дмитрий Иванович, простите, если я не то делаю, что вы хотите,— сказала она, глядя ему в глаза своим косым, таинственным взглядом.— Да, видно, уж так выходит. И вам жить надо... Вы уж и так сколько для меня сделали; если бы не вы...— Она хотела что-то сказать, и голос ее задрожал.

— Вам-то уж меня нельзя благодарить,— сказал Нехлюдов.

— Что считаться? Наши счеты бог сведет,— проговорила она, и черные глаза ее заблестели от выступивших в них слез.

— Какая вы хорошая женщина,— сказала он.

— Я-то хорошая? — сказала она сквозь слезы, и жалостная улыбка осветила ее лицо».

Нехлюдов прощается с нею.

«— Простите,— сказала она чуть слышно. Глаза их встретились, и в странном косом взгляде и жалостной улыбке, с которой она сказала это не «прощайте», а «простите», Нехлюдов понял, что она любила его и думала, что, связав себя с ним, она испортит его жизнь, а, уходя с Симонсоном, освобождала его, и теперь радовалась тому, что исполнила то, что хотела, и вместе с тем страдала, расставаясь с ним».

И опять-таки тот же вопрос: разве основою жизни служит для Катюши это творимое ею «добро»? Оно — проявление жизни, а не основа.

Живая жизнь не может быть определена никаким конкретным содержанием. В чем жизнь? В чем ее смысл? В чем цель? Ответ только один: в самой жизни. Жизнь сама по себе представляет высочайшую ценность, полную таинственной глубины. Всякое проявление живого существа может быть полно жизни,— и тогда оно будет прекрасно, светло и самоценно; а нет жизни,— и то же явление становится темным, мертвым, и, как могильные черви, в нем начинают копошиться вопросы: зачем? для чего? какой смысл?

Мы живем не для того, чтобы творить добро, как живем не для того, чтобы бороться, любить, есть или спать. Мы творим добро, боремся, едим, любим, *потому что живем.* И поскольку мы в этом живем, поскольку это есть проявление жизни, постольку не может быть и самого вопроса «зачем?».

Толстой рассказывает: «Заяц сказал раз гончей собаке: «для чего ты лаешь, когда гоняешься за нами? Ты бы скорее поймала нас, если бы бежала молча. А с лаем ты только нагоняешь нас на охотника: ему слышно, где мы бежим, и он забегает с ружьем нам навстречу, убивает нас и ничего не дает тебе».

«Собака сказала: «я не для этого лаю, а лаю *только потому, что когда слышу твой запах, то и сержусь, и радуюсь, что я вот сейчас поймаю тебя, и сама не знаю зачем, но не могу удержаться от лая*».

Лисица или волк никак не смогли бы понять этого,— не смогли бы потому, что в них нет жизненной потребности лаять во время охоты. И они, как заяц, могли бы спросить: «зачем это?» Но для гончей собаки вопрос бессмыслен.

То же и относительно людей. Жизнь бесконечно разнообразна, бесконечно разнообразны и люди. Общее у них, всем дающее смысл,— только жизнь. Проявления же жизни у разных людей могут быть совершенно различны.

Вот Долли из «Анны Карениной». Что она такое, глядя с высшей точки? Не человек даже, а так, что-то вроде родильной машины или наседки. Никаких высших интересов, вся жизнь в пеленках и кашках. Для чего все?

На постоялом дворе Долли спрашивает молодайку, есть ли у нее дети. «Красивая молодайка весело отвечала:

— Была одна девочка, да развязал бог, постом похоронила.

— Что ж, тебе очень жалко ее? — спросила Дарья Александровна.

— Чего жалеть? Только забота. Ни тебе работать, ни что. Только связа одна.

Ответ этот показался Дарье Александровне отвратителен, несмотря на добродушную миловидность молодайки; но теперь она невольно вспомнила эти слова. В этих цинических словах была и доля правды.

«Да и вообще,— думала Дарья Александровна, оглянувшись на всю свою жизнь за эти пятнадцать лет замужества,— беременность, тошнота, тупость ума, равнодушие ко всему и главное — безобразие... Роды, страдания, безобразные страдания, эта последняя минута... Потом кормление, эти бессонные ночи, эти боли страшные от треснувших сосков... И все это зачем? Что ж будет из всего этого? То, что я, не имея ни минуты покоя, то беременная, то кормящая, вечно сердитая, ворчливая, сама измученная и других мучающая, противная мужу, проживу мою жизнь, и вырастут несчастные, дурно воспитанные дети... В самом лучшем случае они только не будут негодяи. Вот все, что я могу желать. Из-за всего этого сколько мучений, трудов... Загублена вся жизнь!» Ей опять вспоминалось то, что сказала молодайка, и опять ей гадко было вспомнить про это, но она не могла не согласиться, что в этих словах была и доля грубой правды».

Долли наблюдает деревенскую жизнь Анны и Вронского, чувствует безнадежно-мертвую сердцевину их наружно блестящей жизни; с ужасом выслушивает признание Анны о ее решении не иметь больше детей, о способах к этому. «Воспоминания о доме и детях с особенною, новою для нее прелестью в каком-то новом сиянии возникали в ее воображении. Этот ее мир показался ей теперь так дорог и мил, что она ни за что не хотела вне его провести

лишний день». Долли вдруг начинает ощущать жизненность своего мира, ту трепещущую в нем жизнь, которая делает сумасшедше-нелепыми ряд самых логических, рассудительных доводов.

«Зачем же мне дан разум,— говорит Анна,— если я не употреблю его на то, чтобы не производить на свет несчастных? Я бы всегда чувствовала себя виноватою перед этими несчастными детьми. Если их нет, то они не несчастны, по крайней мере.

Это были те самые доводы, которые Дарья Александровна приводила самой себе, но теперь она слушала и не понимала их. «Как быть виноватою перед существами несуществующими?» — думала она. И вдруг ей пришла мысль: могло ли быть в каком-нибудь случае лучше для ее любимца Гриши, если б он никогда не существовал? И это ей показалось так дико, так странно, что она помотала головой, чтобы рассеять эту путаницу кружащихся сумасшедших мыслей».

«Для чего?» — это бессмысленнейший вопрос, сам собою отпадающий от всего, что полно жизнью. В минуту уныния Долли могла задавать себе вопросы о бессмысленности своей жизни, о бесцельности своих страданий и суетни с детьми. Но жизнь эта полна и прекрасна, несмотря на все ее страдания,— прекрасна потому, что *для Доли* жизнь именно в этом.

«Дарья Александровна ничем так не наслаждалась, как этим купаньем со всеми детьми. Перебирать все эти пухленькие ножки, натягивать на них чулочки, брать в руки и окунать эти голенькие тельца и слышать то радостные, то испуганные визги, видеть эти задыхающиеся, с открытыми, испуганными веселыми глазами лица этих брызгающихся своих херувимчиков было для нее большое наслаждение.

К купальне подходят бабы.

— Ишь ты, красавица, беленькая, как сахар. А худая...

— Да, больна была...

— А у тебя есть дети?

И разговор стал самый интересный для Дарьи Александровны: как рожала? Чем была больна? Где муж? Часто ли бывает? Дарье Александровне не хотелось уходить от баб: так интересен ей был разговор с ними, так совершенно одни и те же были их интересы. Приятнее всего Дарье Александровне было то, что она ясно видела, как все эти женщины любовались более всего тем, как много было у нее детей, и как они хороши».

Одна и та же сила жизни сказывается в наседке, радостно и хлопотливо водящей по двору цыплят, и в ястребе, вольно летающем под облаками. И если для наседки жизнь прекрасна и значительна именно в курятнике и нигде больше прекрасной быть

не может, то для ястреба тот же курятник был бы сплошным ужасом и тоской.

«Да, он очень красив,— думал Пьер, глядя на Долохова,— я знаю его. Для него была бы особенная прелесть в том, чтоб осрамить мое имя и посмеяться надо мной, и именно потому, что я хлопотал за него и призрел его, помог ему.

Он вспомнил то выражение, которое принимало лицо Долохова, когда на него находили минуты жестокости, как те, в которые он связывал квартального с медведем и пускал его на воду, или когда он вызывал без всякой причины на дуэль человека, или убивал из пистолета лошадь ямщика»...

В мирной, повседневной жизни Долохов задыхается, как ястреб задыхался бы в курятнике. Он обыгрывает в карты Николая Ростова. «Из-за улыбки Долохова Ростов увидал в нем то настроение духа, которое было у него в те времена, когда, как бы соскучившись ежедневною жизнью, Долохов чувствовал необходимость каким-нибудь странным, большею частью жестоким, поступком выходить из нее».

Хищный и сильный, он ярко живет только среди борьбы и опасностей. И нет положения, в котором бы он упал духом, в котором ему была бы нужна ласка, участие или поддержка. Он разжалован в солдаты. Его полк идет по дороге, в буйно-веселом вихре песни «Ах, вы, сени». Кутузов со свитой нагоняет полк. «Во втором ряду, с правого фланга, невольно бросился в глаза голубоглазый солдат Долохов, который особенно бойко и грациозно шел в такт песни и глядел на лица проезжающих с таким выражением, как будто он жалел всех, кто не шел в это время с ротой». К нему подъезжает свитский офицер Жерков: раньше он не узнавал разжалованного приятеля и вдруг радостно узнал после того, как с Долоховым поговорил Кутузов.

«— Ты заходи, коли что нужно, все в штабе помогут...— сказал Жерков.

Долохов усмехнулся.

— Ты лучше не беспокойся. Мне что нужно, я просить не стану, сам возьму».

В двенадцатом году Долохов, уж опять разжалованный в солдаты, стоит перед Кутузовым.

«— Если вашей светлости понадобится человек, который бы не жалел своей шкуры, то извольте вспомнить обо мне... Может быть, я пригожусь вашей светлости».

При отступлении французов Долохов — начальник партизанского отряда. С холодною отвагою он, переодевшись, пробирается в самый центр французского лагеря — и с холодным равнодушием расстреливает пленных, смеясь над сентиментальностью Денисова.

«— Кто же им не велел меня двадцать раз поймать? А ведь поймают,— меня и тебя с твоим рыцарством, все равно, на осинку».

И, конечно, под самою осинкою он стоял бы с теми же гордыми, грозными глазами, какими смотрит пойманный ястреб.

Образцами для Долохова Толстому послужили партизан Фигнер и известный «американец» Федор Толстой. Это тот самый Федор Толстой, про которого Грибоедов писал:

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом
И крепко на руку не чист.

Это про него писал и Пушкин:

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он — и т. д.

Толстой этот был дальний родственник Льва Толстого, в раннем детстве Льву Николаевичу случилось его видеть. И в старости, когда так сильна в Льве Толстом исключительно-моральная оценка жизни, вот как вспоминает он о человеке, только презрение вызывавшем в Грибоедове и Пушкине: «Много бы хотелось рассказать про этого *необыкновенного, преступного и привлекательного человека»*...

Борьба и связанные с нею опасности высоко поднимают для Толстого темп жизни, делают жизнь еще более яркой, глубокой и радостной. Начинается бой. «Началось! Вот оно! Страшно и весело! — говорило лицо каждого солдата и офицера».

Гусары стоят у моста, на горе показываются французы.

«Ясно чувствовалась та строгая, грозная и неуловимая черта, которая разделяет два неприятельских войска. Один шаг за эту черту и — неизвестность, страдания и смерть. И что там? Кто там? Никто не знает, и хочется знать, и страшно перейти эту черту, и хочется перейти ее... А сам силен, здоров, весел и раздражен, и окружен такими же здоровыми и раздраженно-оживленными людьми. Чувство это придает особенный блеск и радостную резкость впечатлений всему, происходящему в эти минуты».

В «Севастопольских рассказах» Толстой описывает солдат на знаменитом четвертом бастионе. «Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей... Здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны проложили следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства».

Как видим, даже злоба — и та, вопреки Толстому-проповеднику, способна преисполнить человека достоинством, высокою мыслью и чувством. К сожалению, подъем жизни, вызываемый

борьбою, опасностью и «злобою», Толстой рисует преимущественно лишь в традиционной области войны. Он редко и неуверенно касается другой области, где в настоящее время как раз с огромною, упорно-длительною силою проявляется неиссякающая жизнь, рождаемая борьбою, злобою и опасностью.

Левин вполне прав, когда в стремлении своего брата Кознышева к общественной деятельности видит недостаток силы жизни,— «того стремления, которое заставляет человека из всех бесчисленных представляющихся путей жизни выбрать один и желать этого одного». Но как раз в семидесятых годах,— а эту именно эпоху и рисует «Анна Каренина»,— русская жизнь дала редкие по чистоте и яркости типы людей, которых к общественной деятельности и борьбе вела поразительная по своей огромности сила жизни.

И все-таки, когда Толстому приходится касаться этой области, то и здесь первоисточник подвижнической деятельности он усматривает не в императивах долга, не в стремлении к добру, а в той же силе жизни. «Узнав революционеров ближе, Нехлюдов убедился, что это не были сплошные злодеи, как их представляли себе одни, и не были сплошные герои, какими считали их другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие и дурные, и средние люди... Большинство было привлечено к революции знакомым Нехлюдову по военному времени желанием опасности, риска, наслаждением игры своею жизнью,— чувствами, свойственными самой обыкновенной энергической молодежи».

Во время московской переписи Толстой наблюдает студентов-счетчиков. «Как детям в веселом духе хочется хохотать, они не умеют придумать, чему бы хохотать, и хохочут без всякого предлога, потому что им весело, так эта милая молодежь жертвует собой. Она еще не успела придумать, за что бы им жертвовать собой, а жертвует своим вниманием, трудом, жизнью за тем, чтобы записать карточку, из которой еще выйдет или не выйдет что-нибудь». И странное впечатление производит то, что Толстой пишет дальше. «Что же бы было,— спрашивает он,— если бы было такое дело, которое того стоило? Есть и было, и всегда будет это дело. Дело это есть любовное общение людей с людьми и разрушение тех преград, которые воздвигли люди между собой для того, чтобы веселье богача не нарушалось дикими воплями оскотинившихся людей и стонами беспомощного голода, холода и болезней».

Но ведь эта «милая молодежь» занимается не только записыванием карточек. Она в действительности делала и делает то дело, о котором говорит Толстой,— и делает именно так, «как детям в веселом духе хочется хохотать». И не только «милая молодежь».

V

МЕРТВЕЦЫ

В произведениях своих Толстой выводит немало людей, к которым он относится с решительным, нескрываемым отрицанием. Но опять-таки и здесь — меньше всего отрицание это определяется специально моральным содержанием данных лиц. Уж, конечно, самоотверженная Варенька вкладывает в жизнь больше «смысла добра», чем пьяница, вор и убийца дядя Ерошка; и, конечно, смешно в нравственном отношении даже сравнивать благородного общественного деятеля Кознышева с забубенным Стивою Облонским. И однако ясно, что не к этим деятелям «добра» лежит душа художника. С отсутствием «добра» Толстой еще может помириться. Но чего он совершенно не выносит, что вызывает в нем тоску, отвращение, почти ужас, это — отсутствие все той же *жизни,* все той же *силы жизни.* Ему душно, мертвая тяжесть наваливается на его душу, когда он чувствует в людях отсутствие этого трепета жизни. Надутые, замороженные англичане за люцернским табльдотом. «Мне все кажется, что я виноват в чем-нибудь, что я наказан, как в детстве, когда за шалость меня сажали на стул и иронически говорили: «отдохни, мой любезный!» в то время, как в жилках бьется молодая кровь, и в другой комнате слышны веселые крики братьев. Я прежде старался взбунтоваться против этого чувства задавленности, но тщетно: все эти мертвые лица имеют на меня неотразимое влияние, и я становлюсь таким же мертвым».

Перед человеком открыто так много радостей, так много счастья, а он не видит этого, не слушает поющих в душе голосов жизни и превращает душу свою в мерзлый, мертвый комок. «Ведь все эти люди — не глупые же и не бесчувственные,— пишет Толстой,— а наверное у многих из этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у многих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни — наслаждения друг другом, наслаждения человеком?.. Странно подумать, сколько здесь друзей и любовников, самых счастливых друзей и любовников, сидят рядом, может быть, не зная этого. И, бог знает, отчего, никогда не узнают этого и никогда не дадут друг другу того счастья, которое так легко могут дать и которого им так хочется».

Вот и Борис Друбецкой в «Войне и мире». Яркая, радостная жизнь широко раскрыта перед ним. Но он отворачивается от нее. Все живые движения души у него на узде. Никогда он не забудется, никогда вольно не отдастся жизни. Холодно и расчетливо он пользуется ею исключительно для устройства карьеры. Для карьеры вступает в связь с красавицею Элен, порывает с Наташей, женится на богачке Жюли.

В атмосфере буйно-радостной и напряженно-страдающей жизни, которою трепещет «Война и мир», Борис вызывает прямо недоумение: для чего это замораживание бьющих в душе ключей жизни, для чего эта мертвая карьера? Каким-то недоразумением кажется это, каким-то непонятным безумием. Как в восьмидесятых годах Толстой писал в дневнике: «Все устраиваются,— когда же начнут жить? Все не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные. И нет жизни».

В Борисе все же хоть изредка, например, при встречах с Наташей, вспыхивает слабая искорка жизни. Совсем мертв и неподвижен в «Войне и мире» великолепнейший Берг. Это даже не мертвец, а аккуратно сработанный автомат — без крови, без жизни, с единственной двигательной пружиной внутри — жить, как все. Подлинный ницшевский «последний человек»: «он имеет свое маленькое удовольствие для дня и свое маленькое удовольствие для ночи. Мы изобрели счастье,— говорят последние люди и моргают».

«Вот видите ли,— говорит Берг своему товарищу, которого он называл другом только потому, что он знал, что у всех людей бывают друзья.— Вот видите ли, я все это сообразил, и я бы не женился, ежели бы не обдумал всего и это почему-нибудь было неудобно... И я люблю ее, потому что у нее характер рассудительный,— очень хороший. Вот будете приходить к нам... Берг хотел сказать «обедать», но раздумал и сказал — «чай пить»,— и, проткнув его быстро языком, выпустил круглое, маленькое колечко табачного дыма, олицетворявшее вполне его мечты о счастье».

И счастье, разумеется, тут как тут.

«Берг встал и, обняв свою жену осторожно, чтобы не измять кружевную пелеринку, за которую он дорого заплатил, поцеловал ее в середину губ.

— Одно только, чтобы у нас не было так скоро детей,— сказал он по бессознательной для себя филиации идей.

— Да,— отвечала Вера,— я совсем этого не желаю. Надо жить для общества.

— Точно такая была на княгине Юсуповой,— сказал Берг, с счастливой и доброй улыбкой указывая на пелерину».

Вот в «Анне Карениной» зловещий, мертвый призрак — «министерская машина» Каренин. Самое для него чуждое, самое непереносимое и непонятное — это живая жизнь. «Он стоял теперь лицом к лицу перед жизнью, и это-то казалось ему очень бестолковым и непонятным, потому что это была сама жизнь. Всю жизнь свою Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражением жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее».

Страшно смотреть, как все блекнет, вянет и ссыхается вокруг этого ходячего трупа, как трепетно-нежная, радостная жизнь превращается в сухой консерв.

«— Вам дали звезду новую. Вы рады, папа? — спросил Сережа.

— Во-первых, не качайся, пожалуйста. А во-вторых, дорога не награда, а труд. И я желал бы, чтоб ты понимал это. Вот если ты будешь трудиться, учиться для того, чтобы получить награду, то труд тебе покажется тяжел; но когда ты трудишься, любя труд, ты в нем найдешь для себя награду.

Блестящие нежностью и веселием глаза Сережи потухли и опустились под взглядом отца. Это был тот самый, давно знакомый тон, с которым отец всегда относился к нему и к которому Сережа научился уже подделываться. Отец всегда говорил с ним,— так чувствовал Сережа,— как будто он обращался к какому-то воображаемому им мальчику, одному из таких, какие бывают в книжках, но совсем не похожему на Сережу. И Сережа всегда с отцом старался притворяться этим самым книжным мальчиком.

— Ты понимаешь это, я надеюсь! — сказал отец.

— Да, папа,— отвечал Сережа, притворяясь воображаемым мальчиком».

И все больше встает перед нами ходячих трупов: Иван Ильич в «Смерти Ивана Ильича», супруги Позднышевы... Мы о них еще будем говорить. В «Воскресении» мертвецы эти, как в кошмаре, заполняют все поле нашего зрения. Длинною вереницею тянутся высшие сановники, светские дамы, судьи, тюремщики. Все они разговаривают, действуют, живут, но это какая-то особенная, безжизненная жизнь: как будто не кровь горячая бежит в упругих сосудах, а мутная жидкость медленно струится и переливается в разлагающихся телах. Скорби, страдания, бессмысленно разбитые жизни усеивают дорогу этих живьем гниющих людей, но почти нет места для нравственного возмущения. Глядя на них в волшебном освещении толстовского жизнепонимания, испытываешь не негодование, не злобу, а недоумевающий ужас; да как же люди могут жить так? Какая же это жизнь? Как позже, по поводу высылки своего секретаря Н. Н. Гусева, Толстой писал: «Жалко всех тех погибших и погибающих и озлобляемых людей в ссылках, в тюрьмах, со злобою и ненавистью умирающих на виселицах, но нельзя не жалеть и тех несчастных, которые совершают такие дела, а главное — предписывают их... Ведь делая такие дела, они захлопывают на себя дверь от всех истинных и лучших радостей жизни. И вот этим-то людям мне хотелось сказать: *подумайте о себе,* о своей жизни, о том, на что вы тратите данные вам богом духовные силы. Загляните себе в душу, *пожалейте себя*».

И еще есть у Толстого разряд мертвецов. Это — люди, смысл жизни видящие специально в любви и самоотречении. Как это странно звучит в применении к Толстому, так упорно и настойчиво проповедующему именно любовь и самоотречение! И, однако, это так.

Толстой-художник прямо не в состоянии понять, как может самоотречение совмещаться с живою жизнью. Только полно и широко живущий человек способен у него к действительной, ненадсадной любви и самопожертвованию. Если же нет в душе широкой жизни, если человек, чтоб любить других, старается «забыть себя»,— то и сама любовь становится раздражающе-вялой, скучной и малоценной. Наташа Ростова говорит про Соню: «Имущему дастся, а у неимущего отнимется. *Она — неимущий. В ней нет, может быть, эгоизма,*— и у нее все отнялось. Она пустоцвет». Героиня «Семейного счастья» пишет: «Я не поняла бы теперь того, что прежде мне казалось так ясно и справедливо: счастье жить для другого. *Зачем для другого, когда и для себя жить не хочется?»*

В том же разговоре с Толстым, о котором я упоминал, в том же споре о «счастье в любви», я рассказал Льву Николаевичу случай с одной моей знакомой: медленно, верно и бесповоротно она губила себя, сама валила себя в могилу, чтоб удержать от падения в могилу другого человека,— все равно обреченного жизнью. Хрупкое свое здоровье, любимое дело, самые дорогие свои привязанности, все она отдала безоглядно, далекая даже от мысли спросить себя, стоит ли дело таких жертв. Рассказал я этот случай в наивном предположении, что он особенно будет близок душе Толстого: ведь он так настойчиво учит, что истинная любовь не знает и не хочет знать о результатах своей деятельности; ведь он с таким умилением пересказывает легенду, как Будда своим телом накормил голодную тигрицу с детенышами.

И вдруг — вдруг я увидел: лицо Толстого нетерпеливо и почти страдальчески сморщилось, как будто ему нечем стало дышать. Он повел плечами и тихо воскликнул:

— Бог знает, что такое!

Я был в полном недоумении. Но теперь я понимаю. Это Наташа возмутилась в его душе и сказала про самоотверженную девушку: «она — неимущий; в ней нет эгоизма,— и любовь ее пустоцветна». И теперь для меня совершенно несомненно: если бы в жизни Толстой увидел упадочника-индуса, отдающего себя на корм голодной тигрице, он почувствовал бы в этом только величайшее поругание жизни, и ему стало бы душно, как в гробу под землей.

Мы уже видели: кто у Толстого живет в любви и самоотречении, у того художник выразительно подчеркивает недостаток

силы жизни, недостаток огня. Правда, мы немало также встречаем у Толстого благочестивых старцев и добродетельных юношей, в них любовь и самоотречение как будто горят прочным, из глубины идущим огнем, но образы эти обитают лишь в одной резко обособленной области толстовского творчества — в его «народных рассказах». Вступая в эту область, Толстой сурово обсекает все связи с бессознательною своею сущностью — единственным источником истинного художества; он творит только от головы, творит для поучения,— и вместо живых образов получаются безжизненные восковые фигуры.

Есть у Толстого одна большая повесть такого рода: «Ходите в свете, пока есть свет». В ней действует один чрезвычайно добродетельный юноша Памфилий, познавший истину жизни. Юноша этот поистине ужасен — ужасен по своей мертвенности, отсутствию жизни и спокойно-уравновешенному моральному самодовольствию. Восковая фигура с благочестивым лицом, а вместо глаз — холодные, мертвые стекляшки. Самого слабого биения жизни нет в его душе, только зевоту и тяжкую скуку вызывают его мертвые христианские добродетели. И странно сказать: рассказ относится к эпохе первых веков христианства — к той кипучей, напряженной эпохе, где было столько огня, вдохновения, восторженно-радостного страдальчества и самоотречения, столько *жизни*.

На казнь идти и гимны петь,
И в пасть некормленному зверю
Без содрогания смотреть...

И в ней-то, в этой-то эпохе — эта неподвижно-самодовольная, успокоившаяся добродетель!.. Насколько живее, насколько выше добродетельного мертвеца Памфилия хотя бы даже Левин. Он мещанин, он хозяйственный приобретатель, он живет в себя,— да. Но все-таки в нем есть частица того «страшного внутреннего огня», которым горит музыкант Альберт, в нем есть искание и честность искания, есть живая динамика. И, может быть, недалеко уже время, когда динамика эта поведет Левина в такие дебри «бесхозяйственности», что домовитая Кити в ужасе всплеснет руками. А юноша Памфилий никуда не пойдет, как никуда не пойдет могильная плита, хотя бы вся она была исписана самыми благочестивыми надписями.

Какой-то есть в Толстом органический дефект, делающий его неспособным рисовать образы людей, жизненно живущих в любви и самоотречении. Пробует, и вот — либо живые образы мертвых людей, либо мертвые образы людей будто бы живых. И, конечно, Толстой сам это чувствует. Как бы отчаявшись в пригодности могучего орудия — художественного своего гения, он отбрасывает его в сторону и настойчиво начинает *доказывать*,

как выгодно должно быть для человека жить в любви и самоотречении.

«Христос говорит, что есть *верный мирской расчет* не заботиться о жизни мира... Он учит тому, как нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо... Христос учит людей не делать глупостей... Христос и не думает призывать нас к жертве, он, напротив, учит нас не делать того, что хуже, а делать то, что лучше для нас здесь в этой жизни».

Вот истинная бентамовская «моральная арифметика»!.. И всюду она в статьях Толстого: всюду призыв к уму, к логике. Это удручающее «стоит только понять», эти бесконечные доказательства счастья в любви, бесконечные рассуждения о любви. И хочется напомнить Толстому то, что сказал еще Николенька Иртеньев: «жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности — ум человека!» И хочется спросить: неужели евангелие выиграло бы в силе, если бы было написано не в четырех «брошюрах», а в сотне?

И вот нежное, воздушно-трепетное, светлое чувство, не укладывающееся ни в слово, ни в мысль, превращается в засушенный препарат — черствый, серый, легко ощупываемый и безнадежно мертвый. И во имя той именно любви, которую Толстой проповедует, хочется протестовать против него и к нему же приложить его же слова:

«Любовь не есть вывод разума, а есть сама радостная деятельность жизни, которая со всех сторон окружает нас... Люди грубыми руками ухватывают росток любви и кричат: «вот он, мы нашли его, мы теперь знаем его, взрастим его. Любовь, любовь! высшее чувство, вот оно!» И люди начинают пересаживать его, исправлять его и захватывают, заминают его так, что росток умирает, не расцветши, и те же или другие люди говорят: все это вздор, пустяки, сентиментальность».

VI

ПРЕКРАСНЫЙ ЗВЕРЬ

Смысл жизни заключается для Толстого не в добре, а в самой жизни. Точнее — жизнь, живая жизнь лежит для него вообще в другой плоскости, не в той, где возможен самый вопрос о «смысле».

Но в таком случае: чем же отличается человек от зверя? Только зверь свободно живет из себя, только зверь не ведает никакого долга, никаких дум о добре и смысле жизни. Не является ли для Толстого идеалом именно зверь — прекрасный, свободный, цельно живущий древний зверь?

Дядя Ерошка предлагает Оленину добыть ему красавицу. Оленин стыдит его, говорит, что это грех.

«— Грех? Где грех? — решительно спросил старик.— На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а спасенье. Бог тебя сделал, бог и девку сделал. На то она и сделана, чтобы ее любить да на нее радоваться. По-моему, все одно. Все бог сделал на радость человеку. *Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми*».

«Ни в чем нет греха, возьми пример со зверя». Этот призыв теперь часто повторяется, и повторяется многими. Люди все сильнее сознают, что самое главное в жизни — жизнь. В себе и в людях кругом они ощущают ужасающее отсутствие жизни, чувствуют сухую принудительность и вялую мертвенность добра. И они отвергают добро, и обращают жадные взгляды к прекрасному, хищному, древнему зверю. Возносится на высоту «белокурая бестия», Цезарь Борджиа, железный кондотьер, англичанин-завоеватель, хищная женщина-паучиха. Воля к жизни отождествляется с волею к господству, с волею к мощи. По мощи тоскуют упадочные герои Достоевского, по ней же тоскует ряд очень ярких новых писателей. Лишенные своего собственного, человеческого ощущения жизни, они способны видеть жизнь только в жестоких и торжествующих проявлениях прекрасного хищного зверя.

Только по большому недоразумению можно относить Толстого к приверженцам этого «прекрасного зверя». Зверь одинок. Он полон силы жизни, но познавательною интуицией своего инстинкта соприкасается с миром только для ближайших, практических своих целей. Высшее, до чего он способен подняться, это — сознание единства со своими детенышами или,— у роевых и стадных животных,— до сознания единства со своей общиной. Живой мир в целом для животного чужд и нем, он для него — только среда, добыча или опасность.

Совсем не так у Толстого.

«Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.

— Дура, дура! — заговорил он.— Куда летишь? Дура! Дура! — Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.— Сгоришь, дурочка. Вот сюда лети, места много,— приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить.— Сама себя губишь, а я тебя жалею».

Ерошка говорит, «ни в чем греха нет, хоть с зверя пример возьми». Но говорит он это специально об отношениях к женщине.

А в этой области понятие греха, действительно, очень смутно, расплывчато и спорно. Общее же отношение дяди Ерошки к жизни не имеет ничего схожего с отъединенною, уверенною в себе безгрешностью зверя.

«Сидишь на зорьке в лесу, дожидаешься,— рассказывает старик.— Ружье где далече ударит, мысли придут. Подумаешь, кто это стрелил? Казак так же, как я, зверя выждал, и попал ли он его, или так только испортил, и пойдет, сердечный, по камышу кровь мазать, так, даром! Не люблю, ах! не люблю! Зачем зверя испортил? Дурак, дурак!.. А то раз, сидел на воде, смотрю, зыбка сверху плывет. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой черт, взял за ножки да об угол. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях!»

А между тем — «не одно убийство и чеченцев, и русских было на душе дяди Ерошки». Но не с гордо-спокойным равнодушием вспоминает он об этих убийствах.

«— Это знаешь, кто поет? — сказал старик, очнувшись.— Это Лукашка джигит. Он чеченца убил, то-то и радуется. И чему радуется, дурак, дурак!

— А ты убивал людей? — спросил Оленин.

Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул свое лицо к лицу Оленина.

— Черт! — закричал он на него.— Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, ох мудрено!»

И поспешно обрывает разговор.

Зверь не таков. При виде крови глаза его загораются зеленоватым огнем, он радостно разрывает прекрасное тело своей жертвы, превращает его в кровавое мясо и, грозно мурлыча, пачкает морду кровью. Мы знаем художников, в душе которых живет этот стихийно-жестокий зверь, радующийся на кровь и смерть. Характернейший среди таких художников — Редиард Киплинг. Но бесконечно чужд им Лев Толстой.

«Над всем бородинским полем стояла теперь мгла сырости и дыма, и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди! Перестаньте... Опомнитесь. Что вы делаете?»

«Измученным людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебание, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитым? Убивайте, кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе

каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить все и побежать, куда попало».

Может быть, как раз один из недостатков «Войны и мира», что в действительности в человеке гораздо больше звериной любви к крови, гораздо меньше священного трепета перед нею, чем мы видим в романе.

Душа зверя близка и родна Толстому. Он любит ее за переполняющую ее силу жизни. Но глубокая пропасть отделяет для него душу зверя от души человека... Та самая форма силы жизни, которая в звере законна, прекрасна и ведет к усилению жизни,— в человеке становится низменною, отвратительною и, как гнилостное бродило, разрушает и умерщвляет жизнь.

В «Холстомере» перед нами история двух прекрасных зверей, четвероногого и двуногого — пегого мерина Холстомера и красавца-гусара, князя Серпуховского. Мерин рассказывает про своего хозяина-князя: «Хотя он был причиною моей гибели, хотя он никого и ничего никогда не любил, я люблю и любил его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил... Он ничего не боялся и никого не любил, кроме себя, и за это все любили его».

Оба они красиво и ярко прожили молодость. И вот прошло двадцать лет. После долгих мытарств мерин — старый, надорванный — попадает на конный двор. Другие лошади мучают его и обижают. «Он был стар, они были молоды; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя могут легко представить. Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив?.. Казалось бы, что нет, но *по-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы».*

Мерину горько и обидно, что молодые лошади обижают его, но он понимает, что виноват,— «виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь». Все жизнепонимание его стройно и последовательно-жестоко — как по отношению к другим, так и по отношению к самому себе. Эта звериная правда составляет природную сущность души зверя. И вот, живя по этой присущей ему правде, мерин до последнего своего часа остается полезным для жизни. Умирает — и сама смерть его служит «созиданию и обновлению лица земли». Кожу мерина унес драч, над мясом его хлопотливо возятся собаки и вороны, в лесном овраге радостно воют головастые волченята, перед которыми худая волчица выхаркивает куски холстомерова мяса. Даже кости мерина уносит мужик, собирающий кости, и пускает их в дело.

Мерин никого не любил и любил тех, кто никого не любил,— и, однако, до последних своих дней и даже после смерти остается среди жизни. Хозяин его, красавец князь Серпуховской, тоже никого не любил — и уже при жизни оказывается вне жизни. Вот он — плешивый, обрюзгший, отвратительный, с бегающими глазами, пахнущий табаком, вином и грязною старостью. Никому оно не нужно, всем оно в тягость — это «ходящее по свету, едящее и пьющее мертвое тело». И смерть его никому не доставляет ничего, кроме затруднений и хлопот.

А между тем несомненно, князь Серпуховской — двойник того же графа Турбина-старшего, к которому Толстой относится так сочувственно. Оценка жизни двоится, художник как будто противоречит себе. Но противоречие это объяснить нетрудно. Толстой жадно любит жизнь «нутром и чревом», поэтому не может не любить «прекрасного зверя» даже и в человеке. Но чем дальше, тем сильнее Толстой начинает чувствовать, что отъединенная звериная сила жизни в человеке обусловливает как раз *непрочность жизни*. На плохо перепревшем навозе пышно и здорово растет грубый бурьян, но загнивает благородная лилия. То самое начало, которое могуче питает «прекрасного зверя», уродует и разрушает человека. Потому что сущность человека неизмеримо тоньше, глубже и светлее, чем сущность зверя.

VII

«НЕ НИЖЕ АНГЕЛОВ»

В одной из своих педагогических статей Толстой пишет:

«Здоровый ребенок родится на свет вполне удовлетворяя тем требованиям безусловной гармонии в отношении правды, красоты и добра, которые мы носим в себе... Во всех веках и у всех людей ребенок представлялся образцом невинности, безгрешности, добра, правды и красоты. *Человек родится совершенным* — есть великое слово, сказанное Руссо, *и слово это, как камень, останется твердым и истинным».*

Наше воспитание, уродливая наша жизнь, уродливая оценка добра и зла калечат изначально прекрасную человеческую душу. Но все время ясно и призывно звучит в ней «непогрешимый, блаженный голос» и зовет человека к великим радостям, таким близким и доступным.

«Сделали себе подразделение в этом вечно движущемся, бесконечном, бесконечно перемешанном хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится... Вот это-то воображаемое знание уничтожает *инстинктивные, блаженнейшие, первобытные потребности добра*

в человеческой натуре... Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, всемирный дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу».

В самых холодных, свирепых душах живет несознаваемо этот всемирный дух единения. Наступает миг, и, как сон, отходит от человека дурманящая власть обыденной жизни, и звучит в душе напоминающий голос великого духа. Пленного Пьера Безухова приводят к маршалу Даву, известному своею жестокостью.

«— Кто мне докажет, что вы не лжете?

— Ваше высочество! — вскрикнул Пьер не обиженным, но умоляющим голосом.

Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья».

В душе человека живет всемирный дух единения? Он заставляет нас бессознательно жаться друг к другу?.. Мрачно и недоумевающе усмехнулась бы на это душа Достоевского. Как? Просто так, бессознательно, жаться друг к другу, «как дерево растет к солнцу»? И никакого за это бессмертия? Разве же способны на это люди,— «недоделанные, пробные существа, созданные в насмешку»? Нет, человек — это дьявол. «Дьяволу ничто человеческое не чуждо». «Если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию».

Молодежь Ростовых сидит на диване в темной комнате, в окна падает на пол серебряный свет месяца. Все разговаривают шепотом, охваченные светлым, таинственным настроением. Вспоминают впечатления самого дальнего прошлого, где сновидения сливаются с действительностью,— и тихо смеются, радуясь чему-то.

«— Знаешь, я думаю,— сказала Наташа шепотом, придвигаясь к Николаю и Соне,— что когда так вспоминаешь, вспоминаешь, все вспоминаешь, до того довспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете...

— Это метампсихоза,— сказала Соня, которая всегда хорошо училась и все помнила.— Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных.

— Нет, знаешь, я не верю этому, чтобы мы были в животных,— сказала Наташа тем же шепотом, хотя и музыка кончи-

лась,— а я знаю, наверное, что *мы были ангелами там где-то и здесь были* и от этого все помним.

— Ежели бы мы были ангелами, так за что же мы попали ниже? — сказал Николай.— Нет, этого не может быть.

— *Не ниже, кто тебе сказал, что ниже?* Почему я знаю, чем я была прежде,— с убеждением возразила Наташа».

«Не ниже ангелов»... Это не девушка сболтнула, не зная, что говорит. Это душа Толстого сказала. Потому что именно Наташа-то и есть подлинная душа Толстого.

Ничем не сокрушимая вера в светлое существо человеческой души — это одна из самых характерных особенностей Толстого. «Человек — это то, чему не может быть оценки, выше чего ничего нет»,— говорит он. Эта-то вера лежит в основе и его позднейшего учения о непротивлении злу. Только ею можно объяснить то упорство, ту странную слепоту, с которою Толстой возражает против очевидности. Ею только можно объяснить знаменитое письмо к Александру III, которое в 1881 году пишет пятидесятитрехлетний старик, по-детски верящий в силу добра. И ею же только можно объяснить, например, недавнее письмо по поводу ареста его секретаря Гусева. Естественное негодование против бессмысленного насилия наших Даву у Толстого, мы видели, выливается вот во что: «Подумайте о себе, о своей жизни... Загляните себе в душу, *пожалейте себя*».

Вот именно такие настроения переживал каждый из нас очень, очень давно, в раннем детстве. Тогда было это непонимание и недоумение — как люди могут не ужасаться сами перед собою тех жестокостей, которые они делают? Тогда было в сердце то непосредственное, из глубины души идущее знание, которое мы видим в длинношеем мальчике, смотрящем в «Воскресении» на арестантов. «Не смигивая и не спуская глаз, смотрел мальчик на шествие арестантов. Он знал еще твердо и несомненно, узнав это прямо от бога, что люди эти были точно такие же, как и он сам, как и все люди, и что поэтому над этими людьми было кем-то сделано что-то дурное, такое, чего не должно делать, и ему было жалко их, и он испытывал ужас и перед теми людьми, которые были закованы и обриты, и перед теми, которые их заковали и брили».

Давно замечено, что каждый художник в творчестве своем как бы отражает один определенный человеческий возраст. Гончаров и в самых юношеских своих произведениях был стариком. Юноша Лермонтов все время был взрослым человеком. Взрослый Пушкин до конца жизни оставался юношей. Во Льве Толстом мы имеем редкий пример, где художник все время остается *ребенком*. Ребенком не только в отношении своем к «добру», а и во всех характернейших особенностях ребенка — в радостной

свежести чувства, в пенящемся сознании жизни, в чистоте отношения к жизни, в ощущении таинственной ее значительности, даже... даже в самом слоге.

Описание оперы в «Войне и мире». «Во втором акте были картины, изображающие монументы, и была дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры на рампе подняли, и справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов; потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь девицу... Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили три раза во что-то металлическое, и все стали на колени и запели молитву».

Кто это написал,— большой художник? Да. Но возможно также, что написал это в своем дневнике восьмилетний мальчик. И тот же мальчик, описывая священника в ризе, скажет: «старик в парчовом мешке», и про городового напишет: «человек с саблей и пистолетом на красном шнурке» (и именно пистолетом, а не револьвером).

Глубоко серьезными глазами ребенка смотрит Толстой на жизнь. И, как в ребенке, в нем так же совершенно нет юмора. Рисуемое им часто убийственно смешно, но чувство смешного достигается чрезвычайно своеобразным приемом: как будто внимательный, все подмечающий ребенок смотрит на явление, описывает его, не ведаясь с условностями, *просто так, как оно есть,*— и с явления сваливаются эти привычные, гипнотизировавшие нас условности, и оно предстает во всей своей голой, смешной нелепице.

VIII

ЛЮБОВЬ — РАДОСТЬ

Глубокая и таинственная серьезность «живой жизни», форма проявления ее в том светлом существе, которое называется человеком, *счастье* в его отличии от *удовольствия,* уплощение и омертвение жизни, когда дело ее берется творить живой мертвец,— все эти стороны художественного жизнепонимания Толстого особенно ярко и наглядно проявляются в отношении его к любви между мужчиной и женщиной.

Человек полюбил. И в смятении он ощущает, как на него надвигается какая-то огромная, грозно-радостная тайна. И радостный ужас встает ей навстречу из души человека.

«У Кити шел свой разговор с Левиным, и не разговор, а какое-то таинственное общение, которое с каждой минутой все больше связывало их и производило в обоих чувство радостного страха перед тем неизвестным, в которое они вступали».

Левин приезжает к Щербацким делать предложение.

«Вдруг за дверью послышался шорох платья и радостный ужас близости своего счастья сообщился ему... Быстрые-быстрые легкие шаги звучали по паркету. Он видел только те ясные, правдивые глаза, испуганные тою же радостью любви, которая наполняла и его сердце».

Полюбивший Наташу князь Андрей весь день провел у Ростовых. Вечером Наташа лежит в постели матери.

«Графиня подошла к Наташе и шепотом спросила:

— Ну что?

— Мама, ради бога, ничего не спрашивайте у меня теперь. Это нельзя говорить,— сказала Наташа.

Но, несмотря на то, в этот вечер Наташа, то взволнованная, то испуганная, с останавливающимися глазами, лежала долго в постели матери.

— Такого, такого... со мной никогда не бывало! — говорила она.— Только мне страшно при нем, мне всегда страшно при нем; что это значит? Значит, что это настоящее, да? Мама, вы спите?

— Нет, душа моя, мне самой страшно,— отвечала мать.

— Мамаша, мамаша, такого со мной никогда не бывало,— говорила она с удивлением и испугом перед тем чувством, которое она сознавала в себе».

Еще глубоко-глубоко в бессознательном лежит то специальное телесное чувство, которым в конечном счете обусловливается влечение любящих друг к другу. Человек совсем еще как будто не думает о теле, даже сама мысль о нем оскорбительна. В таинственном, воздушно-бесплотном общении зреет подготовка души к тому, что кажется со стороны таким простым и что в человеке так сложно и глубоко. И только, когда в тесном, радостном единении сольются уже души, когда они наладятся на новый, светлый, дотоле неведомый строй, тогда неожиданно и само собой пробудится тело.

Если же не совершилось этой подготовки, если человек грубо, со звериной меркою, подойдет к медленно зреющему таинству, то грязным, пошлым и мелким становится вдруг то, что могло бы и должно бы быть солнечно-чистым и солнечно-высоким.

Князь Нехлюдов полюбил Катюшу. У заутрени они христосуются. «Она невинно снизу вверх смотрела на него своими влюбленными, смеющимися от радости и полноты жизни глазами. Черная, гладкая, блестящая головка, белое платье со складками, девственно охватывающее ее стройный стан и невысокую грудь, и этот румянец, и эти нежные глаза, и во всем ее существе две главные черты: чистота девственности любви не только к нему,— он знал это,— но любви ко всем и ко всему не только хорошему, что есть в мире, но и к тому нищему, с которым она поцеловалась.

Он знал, что в ней была эта любовь, потому что он в себе в эту ночь сознавал ее, и сознавал, что в этой любви он сливался с нею в одно».

Назавтра в Нехлюдове просыпается древний зверь — «животный человек».

«— Катюша, постой,— сказал он.

Она оглянулась.

— Что вы? — сказала она, приостанавливаясь.

— Ничего, только...

И, сделав усилие над собой, он обнял Катюшу за талию.

Она остановилась и посмотрела ему в глаза.

— Не надо, Дмитрий Иванович, не надо,— покраснев до слез, проговорила она, и своей жесткой, сильной рукой отвела обнимавшую ее руку.

Нехлюдов пустил ее, и ему стало на мгновение не только неловко и стыдно, но гадко на себя. Но ему показалось, что это говорит в нем его глупость. Он догнал ее еще раз, опять обнял и поцеловал в шею. Этот поцелуй был страшен, и она почувствовала это.

— Что же это вы делаете? — таким голосом, *как будто он безвозвратно разбил что-то бесконечно драгоценное,* вскрикнула она и побежала от него».

В последнее время, как вообще сила жизни отождествляется у нас с силою жизни «прекрасного хищного зверя», так и в области любви возносится на высоту тот же «древний, прекрасный и свободный зверь, громким кличем призывающий к себе самку». У Толстого только очень редко чувствуется несомненная подчас красота этого зверя,— например, в молниеносном романе гусара Турбина-старшего со вдовушкою Анной Федоровной. Ярко чувствуется эта красота у подлинных зверей.

«Бурая кобылка остановилась гордо, несколько на бок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. В нем было и желание, и обещание любви, и грусть по ней.

Вон дергач, в густом тростнике перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и кукушка, и перепел поют любовь, и цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг к другу.

И я молода, и хороша, и сильна,— говорило ржанье шалуньи,— а мне не дано было до сих пор испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видел меня.

И многозначащее ржанье грустно и молодо отозвалось низом и полем и издалека донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Она была очарована серебряным звуком да-

лекого ржанья и заржала тоже. Пахавший мужик рассердился, дернул ее вожжами и так ударил лаптем по брюху, что она не успела докончить своего ржанья и пошла дальше. Но чалой лошадке стало сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржанья и сердитого голоса мужика.

Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла так ошалеть, что было бы с ней, если бы она видела всю красавицу-шалунью, как она, навострив уши, растопырив ноздри и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее».

Так именно, «куда-то порываясь и дрожа молодыми, красивыми телами», зовут к себе друг друга люди-жеребцы и люди-кобылы в зверином воображении нынешних жизнеописателей. Но для Толстого любовь человека — нечто неизмеримо высшее, чем такая кобылиная любовь. И при напоминающем свете этой высшей любви «прекрасный и свободный зверь» в человеке, как мы это видели на Нехлюдове, принимает у Толстого формы грязного, поганого гада.

Отлетает от любви очарование, исчезает живая глубина; радостная, таинственная жизнь оголяется, становится мелкой, поверхностной и странно-упрощенной.

«Бюст Элен, казавшийся всегда мраморным Пьеру, находился в таком близком расстоянии от его глаз, что он своими близорукими глазами невольно различал живую прелесть ее плеч и шеи, и так близко от его губ, что ему стоило немного нагнуться, чтобы прикоснуться до нее. Он слышал тепло ее тела, запах духов и скрип ее корсета при движении. Он видел не ее мраморную красоту, составлявшую одно целое с ее платьем, он видел и чувствовал всю прелесть ее тела, которое было закрыто только одеждой. И раз увидев это, он не мог видеть иначе, как мы не можем возвратиться к раз объясненному обману.

«Так вы до сих пор не замечали, как я прекрасна? — как будто сказала Элен.— Вы не замечали, что я женщина? Да, я женщина, которая может принадлежать каждому и вам тоже»,— сказал ее взгляд. И в ту же минуту Пьер почувствовал, что Элен не только могла, но должна была быть его женою, что это не может быть иначе. И он опять видел ее не какою-то дочерью князя Василия, а видел все ее тело, только прикрытое серым платьем».

Пьер начинает видеть под платьем голую Элен. Глаза ее, подобно ржанию бурой кобылки, говорят: «Да, я могу принадлежать каждому и вам тоже». Чудовищно даже подумать, чтоб князь Андрей или тот же Пьер начали видеть под платьем голую Наташу, или чтоб глаза полюбившей Кити говорили Левину: «Я женщина, которая может принадлежать каждому и вам тоже».

Глаза ее только одно могут говорить: «Случилось что-то неведомое и таинственное,— и вот я могу принадлежать только вам, и нельзя себе даже представить, чтоб я могла принадлежать другому».

Еще голее, проще и ужаснее в своей простоте отношения Анатолия Курагина к Наташе.

«Он не спускал улыбающихся глаз с лица, с шеи, с оголенных рук Наташи. Наташе было приятно, что он восхищается ею, но почему-то ей тесно и тяжело становилось от его присутствия. Когда она не смотрела на него, она чувствовала, что он смотрел на ее плечи, и она невольно перехватывала его взгляд, чтоб он уж лучше смотрел на ее глаза. Но, глядя ему в глаза, она со страхом чувствовала, что между ним и ею совсем нет той преграды стыдливости, которую она всегда чувствовала между собой и другими мужчинами. Она, сама не зная как, через пять минут чувствовала себя страшно близкой к этому человеку. Когда она отворачивалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не поцеловал бы ее в шею».

Оголение и уплощение таинственной, глубокой «живой жизни» потрясает здесь душу почти мистическим ужасом. Подошел к жизни поганый «древний зверь»,— и вот жизнь стала так проста, так анатомически-осязаема. С девушки воздушно-светлой, как утренняя греза, на наших глазах как будто спадают одежды, она — уж просто тело, просто женское мясо. Взгляд зверя говорит ей: «Да, ты женщина, которая может принадлежать каждому и мне тоже»,— и тянет ее к себе, и радостную утреннюю грезу превращает — в бурую кобылку.

Темен и низмен в любви становится для Толстого человек, когда в нем пробуждается «древний, прекрасный и свободный зверь, громким кличем призывающий к себе самку». Но, с другой стороны, для Толстого совершенно чужда и непостижима серафическая «сухая любовь» Достоевского. Прежде и после всего любовь для Толстого есть таинство жизни, служащее «обновлению и созиданию лица земли». Как живая жизнь вообще, так и любовь скрыто несет в себе у Толстого бессознательно направляющую ее *цель*. И величайшим поруганием жизни является любовь самодовлеющая, любовь, вырывающая из недр своих животворящую ее цель.

Понятно поэтому, что поэзия любви не кончается у Толстого на том, на чем обычно кончают ее певцы любви. Где для большинства умирает красота и начинается скука, проза, суровый и темный труд жизни,— как раз там у Толстого растет и усиливается светлый трепет жизни и счастья, сияние своеобразной, мало кому доступной красоты.

Что, например, может быть безобразнее и достойнее сожаления, чем беременная женщина? Беременность — это уродство, болезнь,— это проклятие, наложенное на женщину богом. «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей». Только и остается женщине — покорно и терпеливо нести тяжелую «скорбь» и замирать от ужаса в ожидании грядущих мук и опасностей. Но не так для Толстого.

Маленькая княгиня Болконская, жена Андрея, беременна. И в глазах ее — «то особенное выражение внутреннего и счастливо спокойного взгляда, свойственного только беременным женщинам». В «Холстомере» Толстой рассказывает: «хозяйка дома была беременна, что *очень заметно было в особенности по глазам,* внутрь кротко и важно смотревшим большим глазам». Беременность женщины «особенно заметна» для Толстого не по обезображенному телу, не по огромному, оскорбительно-уродливому животу, а по глазам, приобретающим какую-то совсем новую красоту, важную и торжественную.

Беременность служит для женщины источником высочайшей радости, полной светлого трепета жизни.

«Кити теперь ясно сознавала зарождение в себе нового чувства любви к будущему, отчасти для нее уже настоящему ребенку и с наслаждением прислушивалась к этому чувству. Он теперь уж не был вполне частью ее, а иногда жил и своею, не зависимою от нее жизнью. Часто ей бывало больно от этого, но вместе с тем хотелось смеяться от странной новой радости».

Ужасы и скорби жизни теряют свою безнадежную черноту под светом таинственной радости, переполняющей творчески работающее тело беременной женщины. В темную осеннюю ночь брошенная Катюша смотрит с платформы станции на Нехлюдова, сидящего в вагоне первого класса. Поезд уходит.

«Пройдет поезд,— под вагон, и кончено,— думала Катюша.

Она решила, что сделает так. Но тут же, как это и всегда бывает в первую минуту затишья после волнения, он, ребенок,— его ребенок, который был в ней,— вдруг вздрогнул, стукнулся и плавно потянулся и опять застучал чем-то тонким, нежным и острым. И вдруг все то, что за минуту так мучило ее, что, казалось, нельзя было жить, вся злоба на него и желание отомстить ему, хоть своей смертью, все это вдруг отдалилось. Она успокоилась, встала, надела на голову платок и пошла домой».

Наступают роды — еще более страшное, страдальческое бремя, возложенное на женщину разгневанным богом.

Родит Кити.

«Зарумянившееся лицо Кити, окруженное выбившимися из-под ночного чепчика мягкими волосами, *сияло радостью и решимостью.* Она улыбаясь, смотрела на Левина; но вдруг брови ее

дрогнули, она подняла голову и, быстро подойдя к нему, взяла его за руку и вся прижалась к нему, обдавая его своим горячим дыханием. Она страдала и как будто жаловалась ему на свои страдания. Но во взгляде ее была нежность, которая говорила, что она не только не упрекает его, но *любит за эти страдания.* «Если не я, то кто же виноват в этом?» — невольно подумал он, отыскивая виновника этих страданий, чтобы наказать его; но виновника не было. *Она страдала, жаловалась и торжествовала этими страданиями, и радовалась ими, и любила их!* Он видел, что в душе ее совершалось что-то прекрасное, но что — он не мог понять. Это было выше его понимания».

Вот что такое истинная «живая жизнь» и что такое счастье, даваемое ею. Оно не в «легкой приятности», не в отсутствии страданий. Чудесная, могучая сила жизни не боится никаких страданий, она с радостью и решимостью идет навстречу им, торжествует этими страданиями, и радуется ими, и любит их, и само страдание преображает в светлую, ликующую радость.

Роды продолжаются.

«Не помня себя, Левин вбежал в спальню. Лица Кити не было. На том месте, где оно было прежде, было что-то страшное и по виду напряжения, и по звуку, выходившему оттуда. Он припал головой к дереву кровати, чувствуя, что сердце его разрывается. Ужасный крик не умолкал, он сделался еще ужаснее, и как бы дойдя до последнего предела ужаса, вдруг затих. Нельзя было сомневаться: крик затих, и слышалась тихая суетня, шелест и торопливые дыхания, и ее прерывающийся, живой и нежный, счастливый голос тихо произнес: «кончено».

Он поднял голову. Бессильно опустив руки на одеяло, необычайно прекрасная и тихая, она безмолвно смотрела на него и хотела и не могла улыбнуться.

Упав на колени перед постелью, он держал перед губами руку жены и целовал ее, и рука эта слабым движением пальцев отвечала на его поцелуи. А между тем там, в ногах постели, в ловких руках Лизаветы Прокофьевны, как огонек над светильником, колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было и которое так же, с тем же правом, с тою же значительностью для себя, будет жить и плодить себе подобных.

И средь молчания послышался голос совсем другой, чем все сдержанно говорившие голоса в комнате. Это был смелый, дерзкий, ничего не хотевший соображать крик непонятно откуда явившегося нового человеческого существа».

Что это? Какое чудо случилось на наших глазах? Ведь мы присутствовали сейчас всего только при родах женщины — при чем-то самом низменном, обыденном и голобезобразном! Это —

неприличие, это — стыд. От чистых детей это нужно скрывать за аистами и капустными листами. Но коснулась темной обыденности живая жизнь — и вся она затрепетала от избытка света; и грубый, кровавый, оскорбительно-животный акт преобразился в потрясающее душу мировое таинство.

К такому неприличию, как роды, художник не побоялся подойти прямо и открыто. И как обидно, как горько обидно, что он стыдливо остановился перед другим «неприличием» — тем, последствием чего являются роды. А Толстой сумел бы подойти и к нему, сумел бы ярко показать его глубокую, светлую и целомудренную красоту. И можно было бы девочек знакомить по Толстому с серьезною и строгою тайною любви. И ясно бы также стало еще раз, как внутренне-противоположно может быть внешне-тождественное, какая глубокая пропасть лежит между похотливым сладострастием темной плоти и чистою страстью плоти жизненно-просветленной.

IX

ЛЮБОВЬ — ЕДИНЕНИЕ

Наташа Ростова замужем.

«Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка. Очень редко зажигался в ней теперь прежний огонь... И в те редкие минуты, когда прежний огонь зажигался в ее развившемся, красивом теле, она бывала еще более привлекательна, чем прежде... Наташа до такой степени опустилась, что ее костюмы, ее прически, ее невпопад сказанные слова, ее ревность были обычным предметом шуток всех ее близких... Предмет, в который погрузилась вполне Наташа, была семья, то есть муж и дети».

Всею семейною, домашнею жизнью полновластно правит Наташа. «Всему же, что было умственным, отвлеченным делом мужа, она приписывала, *не понимая его,* огромную важность и постоянно находилась в страхе быть помехою в этой деятельности ее мужа».

«Наташа уморительна,— говорит про сестру Николай Ростов.— Ведь как она Пьера под башмаком держит, а чуть дело до рассуждений,— у ней своих слов нет,— она так его словами и говорит».

Так вот во что превратилась полная огня и жизни Наташа! Вот к чему ведет хваленая «живая жизнь»! Вместо живого человека — сильная, плодовитая самка, родящее и кормящее тело с тупою головою, подруга мужу только по постели и по обеденному столу. Самое ценное — духовная жизнь мужа ей чужда, она не понимает ее и только, как попугай, повторяет за мужем его слова...

Но не будем торопиться. Не виновата в этом живая жизнь, и ни в чем не изменила себе Наташа. Виноват сам художник, и это только он себе изменил: сбросил сосредоточенную, глубоко в себя ушедшую правдивость художника, вызывающе стал оглядываться по сторонам, превратился в публициста и полемиста.

«Толки и рассуждения о правах женщин,— пишет Толстой,— хотя и не назывались еще, как теперь, *вопросами,* были тогда точно такие же, как и теперь; но эти вопросы не только не интересовали Наташу, но она решительно не понимала их. Вопросы эти и тогда, как и теперь, существовали только для тех людей, которые в браке видят одно удовольствие, получаемое супругами друг от друга, то есть одно начало брака, а не все его значение, состоящее в семье. Если цель обеда — питание тела, то тот, кто съест вдруг два обеда, достигнет, может быть, большего удовольствия, но не достигнет цели, ибо оба обеда не переварятся желудком. Если цель брака есть семья, то тот, кто захочет иметь много жен и мужей...» и т. д.

Bilde, Künstler! Rede nicht! [1]

Толстой же *говорит,* спорит и доказывает. И, как всегда в таких случаях, художественная перспектива вдруг искажается, свет и тени распределяются неправильно, одни детали непропорционально выдвигаются вперед в ущерб другим. И не со спокойным самообладанием художника, а с задором увлекшегося полемиста Толстой на первом плане семейной жизни Наташи водружает знаменитую пеленку с желтым пятном вместо зеленого.

«Наташа не любила общество вообще, но она тем более дорожила обществом родных. Она дорожила обществом тех людей, к которым она, растрепанная, в халате, могла выйти большими шагами из детской, с радостным лицом, и показать пеленку с желтым вместо зеленого пятном и выслушать утешения о том, что теперь ребенку гораздо лучше».

Но ведь это совсем то же самое, как если бы Толстой, вместо просветляющей душу картины родов Кити, развесил перед нами окровавленную простыню роженицы, стал бы перед этой простыней и начал говорить: «если цель любви — удовольствие, то,

[1] «Изображай, художник! Не говори!»

конечно, роды не нужны, безобразны и ужасны; но если цель любви — продолжение жизни на земле, то...» и т. д. И сколько бы он ни говорил, сколько ни доказывал,— мы видели бы только окровавленную простыню, и простыня эта говорила бы как раз противоположное, что восхваляемое явление есть именно ненужный ужас и безобразие.

То же и с Наташиной пеленкой. Дело не в самой пеленке,— она ничему бы не помешала, как ничему не помешала бы окровавленная простыня в родах Кити. Дело в том, что за этою пеленкою мы у Толстого не чувствуем душою той глубины и напряженности жизни, которая делает приемлемою и саму пеленку.

А жизнью этой, глубокой и напряженной, Наташа полна совсем по-прежнему. В том, что она с головою ушла в семью, не только нет ничего удивительного, но решительно нельзя себе представить, как же бы это могло быть иначе. Старая графиня говорит про Наташу: «она до крайности доводит свою любовь к мужу и детям, так что это даже глупо». Такая уж судьба Наташи — все доводить до крайности, ничего не уметь делать вполовину; в этом сама ее природа. В одном месте Толстой говорит про нее: «Наташа не могла и не умела делать что-нибудь не от всей души, не изо всех своих сил».

И понятно, что ее целиком захватило новое, близкое и важное дело, вставшее перед нею.

«Чем больше Наташа вникала не умом, а всей душой, всем существом своим в занимавший ее предмет,— семью,— тем более предмет этот разрастался под ее вниманием, так что она все силы сосредоточивала на одно и то же, и все-таки не успевала делать всего того, что ей казалось нужно».

Но это неумение делать что-нибудь не изо всех своих сил, эта потребность «всю себя класть в жизнь» — плохой залог для стояче-тихого, «статического» счастья. Недаром материнское чутье говорит старой графине, «что чего-то слишком много в Наташе, и что от этого она не будет счастлива».

В отрывке из ненаписанного романа «Декабристы» мы знакомимся с дальнейшею судьбою Наташи. В Москву возвращается отбывший каторгу декабрист Пьер Лабазов. В добродушном, восторженном чудаке Пьере Лабазове и его жене Наталии Николаевне нетрудно узнать Пьера и Наташу Безуховых.

«Наталья Николаевна, казалось, отдыхала не от одной дороги, не от одних тяжелых годов,— она отдыхала, казалось, от целой жизни. Был ли это подвиг любви, который она совершила для своего мужа, та ли любовь, которую она пережила к детям, когда они были малы, была ли это тяжелая потеря или это была особенность ее характера,— только всякий, взглянув на эту женщину, должен был понять, что от нее ждать нечего, что она уже давно

когда-то положила всю себя в жизнь, и что ничего от нее не осталось. Осталось достойное уважения что-то прекрасное и грустное, как воспоминание, как лунный свет.

Sie pflegen und weben
Himmlische Rosen ins irdische Leben.

Она знала этот стих и любила его, но не руководилась им. Вся натура ее была выражением этой мысли, вся жизнь ее была одним этим бессознательным вплетением невидимых роз в жизнь всех людей, с которыми она встречалась...»

Как мы уже видели, Николай Ростов отзывается о сестре: «Наташа уморительна. Чуть дело до рассуждений, у ней своих слов нет,— она так словами Пьера и говорит». Сам Толстой отмечает, что умственным, отвлеченным делам мужа Наташа приписывала огромную важность, не понимая их. Значит ли это, что связь между Наташей и Пьером — исключительно лишь животная, что при телесной близости между ними — полная духовная разъединенность и непонимание?

Освобожденный из плена Пьер рассказывает Наташе Ростовой про свою жизнь в плену.

«Видно было, что *Наташа понимала не только то, что он рассказывал, но и то, что он хотел бы, но не мог выразить словами...* Пьер рассказывал свои похождения так, как он никогда еще не вспоминал их. *Он видел теперь как будто новое значение во всем том, что он пережил.* Теперь, когда он рассказывал все это Наташе, он испытывал то редкое наслаждение, которое дают женщины, слушая мужчину,— не у м н ы е женщины, которые, слушая, стараются или запомнить, что им говорят, для того, чтобы обогатить свой ум, или сообщить поскорее свои умные речи, выработанные в своем маленьком умственном хозяйстве; а то наслаждение, которое дают настоящие женщины, одаренные способностью выбирания и всасывания в себя всего лучшего, что только есть в проявлениях мужчины».

Кое-что, значит, Наташа способна понимать в Пьере, и притом так понимать, что и ему самому она дает этим нечто новое. И понимание это не только не исчезает в брачной их жизни, а, напротив, растет и углубляется.

Наташа наедине разговаривает с Пьером. «Она разговаривала так, как только разговаривает жена с мужем, то есть с *необыкновенной ясностью и быстротой познавая и сообщая мысли друг друга,* путем, противным всем правилам логики, без посредства суждений, умозаключений и выводов, а совершенно особенным способом. Наташа до такой степени привыкла говорить

с мужем этим способом, что вернейшим признаком того, что что-нибудь было неладно между ней и мужем, для нее служил логический ход мыслей Пьера... Этот разговор был противен всем законам логики, противен уж потому, что в одно и то же время говорилось о совершенно различных предметах. Это одновременное обсуждение многого не только не мешало ясности понимания, но, напротив, было вернейшим признаком того, что они вполне понимают друг друга».

Умственных, отвлеченных дел мужа Наташа «не понимает». Но, кажется, ясно теперь, не понимает она не потому, что не способна понять, а потому, что так это мелко и несущественно в сравнении с тем важным и основным, что она понимает!

Воротившись из поездки в Петербург, Пьер рассказывает о положении дел в столице, о тайном обществе, которого Пьер один из главных основателей. «Наташа, в середине разговора вошедшая в комнату, радостно смотрела на мужа. Она не радовалась тому, что он говорил. Это даже не интересовало ее, потому что ей казалось, что все это было чрезвычайно просто, и что она все это давно знала (*ей казалось это потому, что она знала все то, из чего это выходило, всю душу Пьера*); но она радовалась, глядя на его оживленную, восторженную фигуру».

Умственные, отвлеченные дела человека — это и для самого Толстого самое последнее, это только производное, выходящее из чего-то гораздо более глубокого — из души человека. Общность умственного, отвлеченного дела сама по себе, даже «единство идеалов» — для Толстого решительно ничего не говорит; и прямо нелепостью, пошлостью представляется ему эта общность как основа того глубокого, таинственного единения, которое сливает в одно мужской и женский мир двух любящих. Как будто и сам Толстой готов при этом усмехнуться едкою усмешкою Позднышева и сделать его циничное возражение: «Но в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость). А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе!»

И ведь действительно: если оба человека занимаются медициной или музыкой, или объединены стремлением к социалистическому идеалу, то какое же это основание для того, чтобы спать вместе?

Совсем другое у Наташи с Пьером. Соприкасаются они не в умственных своих проявлениях, не во внешних склонностях и стремлениях, а в глубочайших основах самых своих сущностей Для взаимного общения им не нужен громоздкий аппарат «суждений, умозаключений и выводов» — аппарат, которым пользуются люди для общения друг с другом; они разговаривают совсем «особенным способом» — тем, которым только сама с собою разговаривает душа. Они уже не два, а одно. Души слились. И чуждо,

дико-нелепо может тут только прозвучать вопрос Позднышева: «зачем же спать вместе?» Все в одном открыто для другого, нет запретных границ, слияние душевное властно требует слияния телесного. Тайны тела открываются любимому, как и тайны души. Един дух и едина плоть.

И в тесном этом единении непрерывно происходит чрезвычайно тонкое и сложное взаимодействие — характернейшее, так мало отмеченное взаимодействие духовных миров мужчин и женщины. К сожалению, и у Толстого оно отмечено хотя и твердо, но слишком бегло.

«Весьма часто, в минуты раздражения, случалось, что муж с женой спорили, но долго потом после спора Пьер к радости и удивлению своему находил не только в словах, но и в действиях жены свою ту самую мысль, против которой она спорила. И не только он находил ту же мысль, но он находил ее очищенною от всего того, что было лишнего, вызванного увлечением и спором, в выражении мысли Пьера.

После семи лет супружества Пьер чувствовал радостное, твердое сознание того, что он не дурной человек, и чувствовал он это потому, что он видел себя отраженным в своей жене. В себе он чувствовал все хорошее и дурное смешанным и затемнявшим одно другое. Но на жене его отражалось только то, что было истинно-хорошо; все не совсем хорошее было откинуто. И отражение это произошло не путем логической мысли, а другим, таинственным, непосредственным отражением».

Духовные миры мужчины и женщины очень различны. В мире мужском — ум, мысль, творчество. В мире женском — что-то совсем другое.

Княжна Марья спрашивает Пьера про Наташу, невесту князя Андрея:

«— Умна она?

Пьер задумался.

— Я думаю, нет,— сказал он,— а, впрочем, да. *Она не удостоивает быть умной*... Да нет, она обворожительна и больше ничего».

Мир женщины, мир «настоящей женщины» настолько лежит для Толстого вне ума, что его просто трудно даже определить в отношении к уму. «Я думаю, нет... А впрочем, да... Да нет...» «Настоящая женщина» не удостоивает быть умной. И малость ее «умственного хозяйства» для Толстого ничего не говорит против нее. В ней слишком много есть того, чего подчас так не хватает большому «умственному хозяйству» мужчины. Способность к уму, к мысли, к непосредственному творчеству в женщине далеко не первостепенна. Зато громадна и неисчерпаема чуткость к тому иррациональному, на что в конечном счете опирается и мысль и творчество. Может быть, именно эта чрезмерная чуткость, эта

перегруженность иррациональным и делает женщину неспособною к непосредственному творчеству, к воплощению чего-то тонкого и неуловимого во всегда грубые, всегда ограниченные формы жизни. Наташа, например, совершенно не умеет даже писать писем. «Она не умела писать, потому что не могла постигнуть возможности выразить в письме правдиво хоть одну тысячную долю того, что она привыкла выражать голосом, улыбкой и взглядом».

И вот соприкасаются друг с другом два совершенно различных духовных мира. Соединяются не две одинаковые силы, а происходит взаимодействие двух сил качественно различных. Мысль мужская погружается в золотистую, неразличимую тьму женского и в таинственном отражении возвращается оттуда просветленною, углубленною и очищенною. И кто определит — где тут и какова доля работы каждой из сил?

Николай Ростов смеется: «У нее своих слов нет, она так его словами и говорит». Но он ничего не знает о той таинственной лаборатории, из которой вышли эти слова. Пусть они формулированы Пьером, это не значит, что они только его, а не Наташины также.

Ну, а все-таки, ведь сами слова эти были бы у Наташи совсем иные, если бы она была женою другого. Другого? Чьей? Бориса Друбецкого или Анатолия Курагина? Их слова и мысли мертвой шелухой сваливались бы с живой души Наташи. Но если бы она была женою князя Андрея,— да, слова ее были бы иные, совсем так же, как и дети бы были иные. И нам незачем даже гадать, какая доля в творчестве этих иных «слов» *могла бы принадлежать* Наташе. При разборе «Войны и мира» мы увидим, что она творит с душою Андрея, увидим, как она вверх ногами ставит все его миросозерцание. И когда бы он это новое миросозерцание свое формулировал в слова, и Наташа бы повторяла их,— странно бы нам было смеяться над нею. Мы могли бы только сказать: да, дети Наташи от князя Андрея не были бы похожи на Пьера. Но и в детях от Андрея, как в детях от Пьера, одинаково была бы та же Наташа. То же и со «словами».

X

ЛЮБОВЬ МЕРТВЕЦОВ

Позднышев в «Крейцеровой сонате» говорит: «Любовь — это не шутка, а великое дело». И мы видели: для Толстого это действительно великое, серьезное и таинственное дело, дело творческой радости и единения, дело светлого «добывания жизни». Но в холодную пустоту и черный ужас превращается это великое

дело, когда подходит к нему мертвец и живое, глубокое таинство превращает в легкое удовольствие жизни.

Вот как полюбил и как любил Иван Ильич в «Смерти Ивана Ильича»: «Прасковья Федоровна была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. *В числе других забав и отдохновения от трудов следователя* Иван Ильич установил *игривые, легкие отношения с Прасковьей Федоровной...* Она влюбилась в него. Иван Ильич не имел ясного, определенного намерения жениться, но, когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос. «В самом деле, отчего же и не жениться»,— сказал он себе.

Женился. Этим «он делал *приятное для себя,* приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным». Но «очень скоро, не далее, как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства жизни, в сущности, есть очень сложное и тяжелое дело, по отношению которого, для того, чтобы вести приличную, одобряемую обществом жизнь, нужно выработать определенное отношение. И такое отношение выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда; хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал *веселой приятности* и, если находил ее, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный выгороженный им мир службы и в нем находил приятность».

В таком же роде любовь и Позднышева в «Крейцеровой сонате». Впервые познал он любовь еще пятнадцатилетним мальчиком,— познал голо, грубо, в объятиях проститутки. Женщина превратилась в «сладкое нечто» — во вкусное женское мясо. «Мне хотелось плакать о навеки погубленном отношении к женщине... Я стал тем, что называется б л у д н и к о м. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика... Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приемам, точно так же и б л у д н и к а. Простого, ясного, чистого отношения к женщине у него никогда не будет. По тому, как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас же можно узнать блудника И я стал блудником и остался таким, *и это-то и погубило меня*».

В свое время Позднышев влюбляется, женится. Все, конечно, происходит очень просто, без всяких этих «радостных ужасов», которые испытываются Наташами и Левиными. «Джерси было ей особенно к лицу, также и локоны. После проведенного в близости с ней дня захотелось еще большей близости». И вот — брак.

С одной стороны — мужчина-блудник, у которого горят глаза на женское мясо, с другой — женщина, «или раба на базаре, или привада на капкан».

Ясно заранее, что такое будет между ними любовь.

«Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу, то есть два совершенно чуждых друг другу эгоиста, *желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого*».

Приятно вкусное женское мясо, когда человек голоден. Но он насытился, а оно все перед глазами, это мясо — назойливое, доступное и ненужное, противное в своей доступности и ненужности. «С братом, с приятелями, с отцом, я помню, я ссорился, но никогда между нами не было той особенной, ядовитой злобы, которая была тут. Рассудок не успевал подделать под постоянно существующую враждебность друг к другу достаточных поводов. Но еще поразительнее была недостаточность предлогов примирения. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда... Ох! Гадко и теперь вспомнить,— после самых жестоких слов друг другу вдруг молча взгляды, улыбки, поцелуи, объятия... Фу, мерзость! Как я мог не видеть всей гадости этого тогда...»

Тогда он этого не видел. И только великое несчастие — кровь и убийство — раскрыло глаза живому мертвецу, и он увидел, что он не женским мясом тешился, а все время безумно топтал и убивал бесценную живую жизнь.

«Я удивлялся нашей ненависти друг к другу. А ведь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, как ненависть взаимная сообщников преступления... Как же не преступление, когда она, бедная, забеременела в первый же месяц, а наша свиная связь продолжалась. Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько! Это я все рассказываю вам, как я убил жену. Дурачье! Думают, что я убил ее тогда, ножом, 5 октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Так точно, как они все теперь убивают, все, все...»

И разбита жизнь Позднышева. И в мертвом одиночестве умирает в своей семье Иван Ильич. И не случайно это так. Сурова и огромно-серьезна живая жизнь в своих строго-радостных тайнах. Горе безумцам, которые, гуляючи, входят в ее таинственное святилище, которые ждут от нее «удовольствия» и «легкой приятности». К святотатцам жизни живая жизнь беспощадна. «Виноград их от лозы Содомской и с полей Гоморрских; ягоды их — ягоды ядовитые, грозды их горькие; вино их — яд драконов и гибельная отрава аспидов. *Мне отмщение и Аз воздам*» (Второзак. XXXII. 32—35).

XI

«МНЕ ОТМЩЕНИЕ»

«Мне отмщение и Аз воздам».

Таков эпиграф над «Анной Карениной». «Кому — мне»? Главное — за что «отмщение»?

Обыкновенно «идея» романа, закрепленная этим эпиграфом, понимается так, как высказывает ее, например, биограф Толстого П. И. Бирюков: «Общая идея романа выражает мысль о непреложности высшего нравственного закона, преступление против которого неминуемо ведет к гибели, но судьей этого преступления и преступника не может быть человек».

Но прежде всего — в чем же преступление Анны? Без любви выданная за человека много старше ее, она полюбила другого. Это не легкомысленная светская интрижка, а любовь глубокая, серьезная. После долгой и тяжелой борьбы с собою Анна порывает с мужем и соединяется с любимым человеком.

«— Как из-за меня ты могла пожертвовать всем? Я не могу простить себе то, что ты несчастлива.

— Я несчастлива? — сказала Анна, с восторженною улыбкою любви глядя на Вронского.— Я, как голодный человек, которому дали есть. Может быть, ему холодно, и платье у него разорвано, и стыдно ему, но он не несчастлив. Я несчастлива? Нет, вот мое счастье»...

За это-то преступление «высший нравственный закон» карает Анну — смертью! В нынешнее время мы ко всему привыкли. Но если бы человеческий суд за такое преступление приговорил женщину к смертной казни, то и наши отупевшие души содрогнулись бы от ужаса и негодования.

«Преступление против высшего нравственного закона неминуемо ведет к гибели»... Ведь это же — истина из прописей, фальшивая, как все прописные истины. Вот, например, подруга Анны, развратная княгиня Бетси Тверская. Она живет в связи с Тушкевичем, заигрывает с Облонским, пытается заманить его к себе, чтобы отдаться ему,— и никакой из этого гибели для нее не получается. «Анна думала: почему для других, для Бетси, например, все это было легко, а для нее так мучительно». Не всегда, значит, действие «высшего нравственного закона» так уж *неминуемо*.

Для читателя с живою душою совершенно очевидно, что никакого преступления Анна не совершила. Вина не в ней, а в людском лицемерии, в жестокости закона, налагающего грубую свою руку на внезаконную жизнь чувства. Если бы в обществе было больше уважения к свободной человеческой душе, если бы развод не был у нас обставлен такими трудностями, то Анна не погибла бы... Такой читатель просто пропускает эпиграф романа мимо

сознания: слишком ясно,— никакого тут не может быть места для «отмщения».

И однако это не так. Над Анною стоит великий, грозный мститель, неумолимо ведет ее к гибели и говорит: «Мне отмщение и Аз воздам».

Проследим историю Анны.

«Во время губернаторства Каренина тетка Анны, богатая губернская барыня, свела его со своею племянницею и поставила его в такое положение, что он должен был или высказаться, или уехать из города. Алексей Александрович долго колебался. Но тетка Анны внушила ему через знакомого, что он уже компрометировал девушку и что долг чести обязывает его сделать предложение. Он сделал предложение и отдал невесте и жене все то чувство, на которое был способен». Брак был заключен. Молодая девушка «вышла замуж за человека, который был на двадцать лет старше ее,— вышла замуж без любви или не зная любви».

Без любви протекли и все восемь лет их брачной жизни. «Любит? — с насмешкою думает Анна.— Разве он может любить? Если бы он не слыхал, что бывает любовь, он никогда бы не употреблял этого слова. Он и не знает, что такое любовь. Они не видят, что я видела. Они не знают, как он восемь лет душил мою жизнь, душил все, что было во мне живого,— что он ни разу не подумал о том, что я живая женщина, которой нужна любовь. Не знают, как на каждом шагу он оскорблял меня и оставался доволен собой».

Так живут они, и лгут друг перед другом, лгут перед собою, и притворяются, будто между ними есть то, что единственно освящает соединение женщины с мужчиною, что претворяет в светлое таинство грубую и низменную видимость. Каренин говорит жене нежные, любовные слова — «тем тоном, который он всегда почти употреблял с ней,— тоном насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил». Когда Анна, возвращаясь из Москвы, увидела на вокзале мужа, «ее поразило чувство недовольства собой, которое она испытывала при встрече с ним. Чувство то было домашнее, знакомое чувство, похожее на состояние притворства, которое она испытывала в отношениях к мужу; но прежде она не замечала этого чувства, теперь она ясно и больно сознавала его». Чуткая в подобных делах Долли при первом же взгляде на жизнь Карениных ощущает «что-то фальшивое во всем складе их семейного быта».

У Анны есть сын Сережа. В него она пытается вложить весь запас женской силы, которым ее наделила природа. Она пытается стать только матерью,— единственное, что для нее осталось. Но

мать и жена неразъединимо слиты в женщине. Жажда любви не может быть возмещена материнством. Анна только обманывает себя. «*Роль* матери, живущей для сына,— замечает Толстой,— роль, которую она взяла на себя в последние годы, была *отчасти* искрення, хотя и много преувеличена».

Подавляемая сознанием, неудовлетворенная потребность любви переполняет все существо Анны, помимо ее воли прорывается наружу. Вронский в первый раз видит ее в вагоне. «В ее коротком взгляде он успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметною улыбкою, изгибавшей ее румяные губы. *Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо,* что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке».

Избыток «чего-то». Пресловутый Дионисовский «оргийный избыток» сил. Он чужд широко и свободно живущему существу, но типичен для существа искалеченного,— там, где сдавлена вольная игра сил. Эти силы бушуют в Анне, рвутся из тесноты, и уже чувствуется в них зловещее напряжение, грозящее гибелью и носителю этих сил, и всему, что с ними соприкоснется.

На московском балу, где зарождается любовь Анны к Вронскому, покинутая Кити приглядывается к Анне: «Анна была прелестна в своем черном платье, прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестно это красивое лицо в своем оживлении, *но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести*».

«Да, *что-то чуждое, бесовское и прелестное* есть в ней,— сказала себе Кити».

Анна сама ужасается на себя, борется, душит бушующие в ней силы. Но как будто высшая воля подхватила ее и несет,— воля того, кто позднее заговорит об «отмщении».

«Неужели они не простят меня, *не поймут, как все это не могло быть иначе?* — думала Анна, с внутренним ужасом глядя на сына.— Пришло время, я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что бог меня сделал такою, что мне нужно любить и жить... Я не могу раскаиваться в том, что я дышу, что я люблю»...

В душе Анны ужас. Но это не светлый, радостный ужас любви, которым полны, например, полюбившие Левин и Кити. Мрачные страшилища людской жестокости и лицемерия стоят над любовью Анны, давят эту любовь и уродуют. «Я живая, мне нужно любить и жить, все это не могло быть иначе». Анна чувствует это, но полна только презрением к себе и к постыдной своей любви. Встающая перед нею живая жизнь глядит на нее темно и зловеще.

«Лицо Анны блестело ярким блеском; но блеск этот был невеселый,— он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи».

И когда совершилось, что неизбежно должно было совершиться, то было это не радостным счастьем, а сугубым ужасом, мукою и позором.

«Бледный, с дрожащей нижней челюстью, Вронский стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем. Но чем громче он говорил, тем все ниже она опускала свою, когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она все сгибалась и падала с дивана на пол, к его ногам.

— Боже мой! Прости меня! — всхлипывая говорила она, прижимая к своей груди его руки.

Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощения; а в жизни теперь, кроме него, у нее никого не было, так что она и к нему обращала свою мольбу о прощении. Она держала его руки и не шевелилась. Да, эти поцелуи — то, что куплено этим стыдом. Да, и эта рука — рука моего сообщника. Она подняла эту руку и поцеловала ее».

Как будто сама перед собою Анна хочет подчеркнуть свое унижение и свой позор, первая бросить в себя камнем презрения.

«С странным для него выражением холодного отчаяния на лице она рассталась с ним. Она чувствовала, что в эту минуту не могла выразить словами того чувства стыда, радости и ужаса перед этим вступлением в новую жизнь».

Анна стала «любовницей». С вызывающим цинизмом отчаяния она впоследствии сама называет себя так в объяснении с мужем, называет себя так и в разговоре с Вронским. Тайно, скрываясь от мужа, она видается с Вронским. Притворяется перед светом, лжет. Из объятий Вронского переходит в объятия мужа.

Вронский думает про нее:

«Да, она прежде была несчастлива, но горда и спокойна, а теперь она не может быть спокойна и *достойна*, хотя она и не показывает этого. Да, это нужно кончить!»

Он предлагает ей разорвать с мужем. Но Анна с удивляющею его «поверхностностью и легкостью суждений» упорно отказывается. Вскоре выясняется ее беременность. Вронский снова указывает ей на невозможность «так оставаться». «И ей, которая так боялась, чтоб он не принял легко ее беременность, теперь было *досадно за то, что он из этого выводил необходимость предпринять что-то*».

Толстой объясняет: «главная причина этого было то слово

сын, которого она не могла выговорить. Когда она думала о сыне и его будущих отношениях к бросившей его отца матери, ей так становилось страшно, что она старалась только успокоить себя лживыми рассуждениями и словами, с тем, чтобы все оставалось по-старому, и чтобы можно было забыть про страшный вопрос, что будет с сыном».

Ложь продолжает тянуться. Все больше любовь как будто покрывается грязными, сальными пятнами. Вронского временами охватывает «странное чувство беспричинного омерзения». Анна вздрагивает от отвращения, чувствуя место на руке, к которому прикоснулись губы мужа. И все-таки она, «со своею сильною, честной натурой», продолжает жить, отдавая на величайшее поругание женскую свою природу.

«Но во сне, когда Анна не имела власти над своими мыслями, ее положение представлялось ей во всей безобразной наготе своей. Одно сновидение почти каждую ночь посещало ее. Ей снилось, что оба вместе были ее мужья, что оба расточали ей свои ласки. Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: «как хорошо теперь!» И Алексей Вронский был тут же, и он был также ее муж. И она удивлялась тому, что прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо проще, и что они оба теперь довольны и счастливы. Но это сновидение, как кошмар, давило ее и она просыпалась с ужасом».

В снах этих, с мукою и отчаянием, женщина старалась соединить в одно любовника и отца своего ребенка,— то, что должно быть и не может не быть одним, но что у нее было два.

Катастрофа разразилась. На скачках под Вронским упала лошадь. Испуг Анны выдал ее. И в объяснении с мужем она заявила, что не может переносить, ненавидит его, что она — «любовница» Вронского.

Сначала Анна радовалась, что теперь наконец ее положение выяснится, определится. Но на следующее утро «ей стало страшно за позор, о котором она прежде не думала... Она спрашивала себя, куда она пойдет, когда ее выгонят из дома, и не находила ответа. Ей представлялось, что Вронский не любит ее, что она не может предложить ему себя, и она чувствовала враждебность к нему за это».

Приходит письмо от мужа с его решением: свет не должен ничего знать, они продолжают по-прежнему жить вместе, и с Вронским она должна порвать.

«Анна села к письменному столу и заплакала, всхлипывая и колеблясь всею грудью, как плачут дети. Она плакала о том, что мечта ее об уяснении, определении своего положения разру-

шена навсегда. Она знала вперед, что все останется по-старому, и даже гораздо хуже, чем по-старому. *Она чувствовала, что то положение в свете,— которым она пользовалась,— что это положение дорого ей,* что она не будет в силах променять его на позорное положение женщины, бросившей мужа и сына и соединившейся с любовником, что, сколько бы она ни старалась, не будет сильнее самой себя. *Она никогда не испытает свободы любви, а навсегда останется преступною женой, под угрозой ежеминутного обличения, обманывающею мужа для позорной связи с человеком чужим, с которым она не может жить одною жизнью.* Она знала, что это так и будет, и вместе с тем это было так ужасно, что она не могла представить себе даже, чем это кончится. И она плакала, не удерживаясь, как плачут наказанные дети».

Вот что, оказывается, главным образом удерживает Анну от разрыва с мужем! «Положение в свете», а не сын!.. С другой стороны, и для Вронского разрыв этот оказывается вовсе не таким уже желанным. «Он был взят врасплох и в первую минуту, когда она объявила о своем положении (беременности), сердце ее подсказало ему требование оставить мужа. Он сказал это, но теперь, обдумывая, он видел ясно, что *лучше было бы обойтись без этого,* и вместе с тем, говоря это себе, боялся, не дурно ли это».

Одной дорого ее положение в свете, другому — его свобода... Что же такое для них их любовь? Серьезное, важное и радостное дело жизни или только запретное *наслаждение?* Помешали наслаждению,— и остается только плакать, «как плачут наказанные дети»? А ведь когда зарождалась любовь, Анна проникновенно говорила Вронскому: «Любовь... Это слово для меня слишком много значит, больше гораздо, чем вы можете понять...»

Анна идет на свидание с Вронским.

«Получив письмо мужа, она знала уже в глубине души, что все останется по-старому, что она не в силах будет пренебречь своим положением, бросить сына и соединиться с любовником. Но свидание это все-таки было для нее чрезвычайно важно. Она надеялась, что это свидание изменит их положение и спасет ее. *Если он при этом известии решительно, страстно, без минуты колебания скажет ей: брось все и беги со мной, она бросит сына и уйдет с ним*».

Но у него во время объяснения с Анной мелькает мысль: «Лучше не связывать себя».

«Прочтя письмо, он поднял на нее глаза, и во взгляде его не было твердости. Она поняла тотчас же, что он уже сам с собой прежде думал об этом. И она поняла, что последняя надежда ее была обманута».

Словами Вронский продолжает говорить о необходимости разрыва.

«Я надеюсь,— он смутился и покраснел,— что ты позволишь мне устроить и обдумать нашу жизнь. Завтра...

Она не дала договорить ему.

— *А сын?* — воскликнула она.— Ты видишь, что он пишет: надо оставить его, а я не могу и не хочу сделать это».

Вот только когда она вспомнила о сыне! Неужели не ясно, что сын не представлял такой уже неодолимой преграды для их соединения?

Во время этого же свидания Анна говорит:

«Для меня одно и одно — это твоя любовь. Если она моя, то я чувствую себя так высоко, так твердо, что ничто не может быть для меня унизительным. Я горда своим положением, потому что... горда тем... горда...— Она не договорила, чем она была горда. Слезы стыда и отчаяния задушили ее голос».

О, если бы Анна действительно была горда!.. Будь она горда, уважай она свою любовь,— и она чувствовала бы себя «высоко и твердо», и понимала бы, что нельзя эту любовь волочить по грязи. Нет, она не горда. А гордости понадобится еще много, очень много.

Анна продолжает жить с мужем Видается с Вронским вне дома, и муж знает про это. И Анна ждет, придет «что-то», от чего все изменится. Вронский, невольно подчиняясь ей, тоже ожидает «чего-то не зависимого от него, долженствующего разъяснить все затруднения». С негодованием Анна говорит Вронскому о муже:

«Это не человек, это министерская машина. Он не понимает, что я твоя жена, что он чужой, что он лишний...»

Но как же сама-то Анна не понимает, что она не жена Каренина? Как не понимает своей обязанности не ждать, а действовать?

Каренин говорит ей: «Вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу, давши ей честный кров имени только под условием соблюдения приличий. Это жестокость?

— Это хуже жестокости, это подлость, если вы уже хотите знать! — со взрывом злобы вскрикнула Анна.

— Нет! — закричал он.— Подлость? Если вы хотите употребить это слово, то подлость — бросить мужа, сына для любовника и есть хлеб мужа!

Она нагнула голову. Она чувствовала всю справедливость его слов».

И все-таки остается жить у него! Живет, сама себя презирая, перенося скотские оскорбления от потерявшей регулятор министерской машины. И все менее способной становится она нести

свою любовь «достойно», все больше грязнится и отрепывается любовь. Что-то в Анне меняется. Широко и цельно полюбившая женщина вянет, ссыхается. «Анна была совсем не та, какою Вронский видел ее первое время. И нравственно, и физически она изменилась к худшему. Она вся расширела, и в лице ее, в то время как она говорила об актрисе, было злое, искажавшее ее выражение. Он смотрел на нее, как смотрит человек на сорванный им и завядший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую он сорвал и погубил его».

Уж ему и ей одновременно является во сне зловещий мужик со взъерошенною бородою, маленький и страшный; он копошится руками в мешке с железом и говорит какие-то непонятные французские слова. В ужасе оба смотрят друг на друга.

«— Какой вздор! Какой вздор! — говорил Вронский, но он сам чувствовал, что не было никакой убедительности в его голосе.

— Но не будем говорить. Позвони, я велю подать чаю...

Но вдруг Анна остановилась. Выражение ее лица мгновенно изменилось. Ужас и волнение вдруг заменились выражением тихого, серьезного и блаженного внимания. Он не мог понять значения этой перемены. *Она слышала в себе движение новой жизни*».

Как будто луч ясного света вдруг озаряет тьму, в которой бьется Анна. Зловещие предчувствия, презрение к себе и ужас отступают перед этим пробуждением цельной женщины, перед любовью, вдруг углубившеюся, вдруг ставшею светлой и серьезной, как жизнь.

Тот, в чьих руках воздаяние, смотрит на Анну, колеблет весы и ждет.

Анна родила. Произошла знаменитая встреча мужа и Вронского у ее постели. Анна порывает с мужем и решает уехать с Вронским за границу.

«Неужели это возможно, чтобы мы были, как муж с женой, одни, своей семьей с тобой? — сказала Анна, близко вглядываясь в его глаза».

Может быть, это еще возможно. Но, во всяком случае, после всего, чем они так унизили и загадили свою любовь, для этого теперь требуется много, очень много силы и «гордости».

Они живут в Италии. Анна чувствует себя «непростительно-счастливою и полною радости жизни». «Разлука с сыном, которого она любила, и та не мучила ее первое время. Девочка, его ребенок, была так мила и так привязала к себе Анну, что Анна редко вспоминала о сыне». Но глубоко в душе воспоминание это

непрерывно живет у нее. Они возвращаются в Петербург. «И чем ближе она подъезжала к Петербургу, тем радость и значительность свидания с сыном представлялась ей больше и больше. Ей казалось натурально и просто видеть сына, когда она будет в одном с ним городе». Но оказалось не так. Та «грубая властная и таинственная сила», которая помешала Каренину проявить пробудившиеся в нем человеческие чувства,— сила окоченелых понятий людских о добре и зле,— загораживает Анне дорогу к сыну. Незабываемо мучительна сцена свидания Анны с Сережей, когда ранним утром, подкупив швейцаров и лакеев, Анна, как воровка, пробирается в спальню сына. Она по-детски рыдает и целует мальчика, впивая «милый, сонный запах и теплоту, которые бывают только у детей», и твердит: «милый, милый Кутик!» — и бежит, заслышав шаги Каренина.

Нужна была великая сила и гордость, чтоб выдержать это надругательство над материнским своим чувством и не сломиться. У Анны этой силы не хватило. И вот происходит окончательный перелом на том месте, которое давно уже было надломлено: люди считают ее «потерянной женщиной», заставляют стыдиться перед собственным сыном,— хорошо! Ну да, она — «потерянная женщина». Пусть все смотрят!

Встает Достоевский, упивающийся муками и позором. Встает безвольный Дионис. Пропадает воля к борьбе с ужасами и тьмою жизни, тьма эта неудержимо тянет к себе, как огонь тянет ночную бабочку.

Анна решает ехать в оперу, где будет «весь свет». Вронский тщетно пытается отговорить ее. Она как будто ничего не понимает и удивленно спрашивает:

— Отчего же мне не ехать?

«В блестящих глазах было напряженное внимание, и в речи и в движениях была та нервная быстрота и грация, которые в первое время их сближения так прельщали его, а теперь тревожили и пугали». Анна одета в светлое парижское платье, с открытой грудью и с дорогим кружевом на голове, особенно выгодно выставляющими ее яркую красоту. Вронский думает:

— В этом наряде появиться в театре — значит не только признать свое положение погибшей женщины, но и бросить вызов свету, то есть навсегда отречься от него.

— Как может она не понимать этого, и что с ней делается? — говорил он себе. Он чувствовал, как в одно и то же время *уважение его к ней уменьшилось, и увеличивалось сознание ее красоты*».

Анна появляется в театре. Сидит, гордая и улыбающаяся, под перекрестным огнем насмешливых взглядов и шепотов. Наконец, дама в соседней ложе громко заявляет, что позорно сидеть рядом с Анной, и уходит из ложи.

«Анна собрала свои последние силы, чтобы выдержать взятую на себя роль». Кто не знал, что происходит, «те любовались спокойствием и красотою этой женщины и не подозревали, что она испытывала чувства человека, выставленного у позорного столба».

Объяснение с Вронским после театра. Слезы, жадное впивание в себя уверений в любви, «которые ему казались так пошлы, что ему совестно было выговаривать их». И, совершенно примиренные, они уехали в деревню.

Но уже совершилось. Огненная рука пишет над Анною: «т е к е л,— ты взвешена на весах и найдена очень легкою». Начинается «отмщение».

Вронские живут в деревне. Долли приезжает проведать их. Она поражена «тою временною красотой, которая только в минуты любви бывает в женщинах, и которую она застала теперь на лице Анны. Все в ней было особенно привлекательно; и, казалось, она сама знала это и радовалась этому».

Анна сообщает Долли, что она непростительно-счастлива, еще раз повторяет, что она счастлива, и при этом с робкою улыбкою вопроса глядит на Долли. У Анны появилась новая привычка — щуриться, и Долли заметила, что щурится она, как только разговор касается задушевных сторон ее жизни.

«Точно она на свою жизнь щурится, чтоб не все видеть,— подумала Долли».

Они заходят в детскую. Общий дух детской очень не понравился Дарье Александровне. Видно было, что Анна, кормилица, нянька и ребенок не сжились вместе и что посещение матерью было дело необычное.

«— Мне иногда тяжело, что я как лишняя здесь,— сказала Анна, выходя из детской.— Не то было с первым.

— Я думала, напротив,— робко сказала Долли.

— О, нет!»

Анна щурится и обрывает разговор.

За столом Долли замечает, что все хозяйственные заботы по дому лежат на самом Вронском. Анна же, как и все другие присутствующие,— одинаково гости, весело пользующиеся тем, что для них приготовлено. Дарью Александровну неприятно поражает в Анне «какая-то новая черта молодого кокетства». Между Анною и, молодыми мужчинами чувствуется в разговоре «тон какой-то игривости». «Это щекотит Алексея»,— позднее объясняет Анна. Дни усиленно заполняются всевозможными удовольствиями, но чувствуется страшная пустота и скука. И ложь. «Долли все казалось, что она играет на театре с лучшими, чем она, актерами, и что ее плохая игра портит все дело».

Оставшись наедине с Долли, Вронский обращается к ней с чрезвычайно странною и неожиданною просьбою: он просит ее помочь ему уговорить Анну... потребовать от мужа развода! «Я пробовал говорить про это Анне. *Это раздражает ее».* А между тем Каренин и раньше был не против развода, и теперь, можно надеяться, не откажет,— стоит только Анне написать ему.

Анна не хочет развода!.. Почему? Ведь казалось бы, как все хорошо устраивается; они поженятся, Анна восстановит свое положение в свете — и будет прекрасный брак, основанный на любви.

Долли заводит с Анною разговор и пытается убедить ее в необходимости развода. Анна возражает «умышленно поверхностным и легкомысленным тоном», приводит странные возражения, указывающие как раз на ложность и тяжесть ее теперешнего положения. Долли говорит:

«— Ну, и самое законное: он хочет, чтоб дети ваши имели имя.

— Какие же дети? — не глядя на Долли и щурясь, сказала Анна.

— Ани и будущие...

— Это он может быть спокоен: у меня не будет больше детей».

Причину этого решения Анна объясняет так:

«— Подумай, у меня выбор из двух: или быть беременною, то есть больною, или быть другом, товарищем своего мужа, все равно мужа... Ты пойми, я не жена; он любит меня до тех пор, пока любит. *И что же, чем же я поддержу его любовь? Вот этим?*

Она вытянула белые руки перед животом».

Долли все время с удивлением возражает:

«— Но ведь для этого-то и нужен развод».

Но Анна не слушает и продолжает приводить свои ничего не опровергающие возражения. Наконец, ссылается на сына.

«— Ведь они мне не отдадут его. Только эти два существа (Вронского и сына) я люблю, и одно исключает другое. Я не могу их соединить, а это мне одно нужно. А если этого нет, то все равно. Все, все равно».

Как все равно? Ложностью их положения одинаково мучаются и она сама, и Вронский. Если ей вправду все равно, то отчего же не согласиться на просьбу Вронского *для него?* А ведь если развода она не попросит, то сына ей тем более не отдадут.

Рана в душе Анны от потери сына, конечно, очень тяжела, но не смертельна, как она утверждает. В Анне слишком много силы жизни, чтобы погибнуть от такой раны. Настоящей причины своего отказа Анна так и не высказывает.

«Ты не можешь понимать. *Это слишком ужасно.* Я стараюсь вовсе не смотреть... Ты говоришь,— выйти замуж за Алексея, и что я не думаю об этом... Я не думаю? Нет дня и часа, когда бы я не думала и *не упрекала себя за то, что думаю...* потому что мысли об этом могут с ума свести. Когда я думаю об этом, то я уже не засыпаю без морфина».

Что же она думает такого, что способно свести с ума? За какие мысли она упрекает себя?

По-видимому, Анна уже совершенно ясно понимает то, чего не понимает ни Долли, ни сам Вронский и что сама Анна вскоре выскажет всеми словами: что теперь ни разводом и браком, ни даже отдачею ей сына *ничему не поможешь.* И в наизаконнейшем браке они с Вронским будут теми же любовниками, та же между ними будет *внешняя* любовь, где самым важным остается чувственное наслаждение, красота, «круглые колени» и «выпуклые бедра», та темная арцыбашевщина, которая в самой себе несет гибель, взаимную ненависть и разъединение. Анна чувствует это и бессознательно противится браку; тогда уж нельзя будет себя обманывать, банкротство их любви станет очевидным.

Толстой пишет: «Жизнь, казалось, была такая, какой лучше желать нельзя: был полный достаток, было здоровье, был ребенок, и у обоих были занятия». Анна много читает по вопросам, занимающим Вронского, является незаменимым помощником в его делах. Все между ними есть. Чего же нет? Вот чего:

«Кити крепче оперлась на руку Левина и прижала ее к себе. Он наедине с нею испытывал теперь, когда мысль о ее беременности ни на минуту не покидала его, то еще новое для него и радостное, совершенно чистое от чувственности наслаждение близости к любимой женщине. Ему хотелось слышать звук ее голоса, изменившегося теперь при беременности. В голосе, как и во взгляде, была мягкость и серьезность, подобная той, которая бывает у людей, постоянно сосредоточенных над одним любимым делом».

Только этого нет между Анной и Вронским. Но в том глубоко серьезном и важном деле жизни, каким для Толстого является любовь, это — все. Мрачною погребальною песнью над умершею женщиною звучит безобразный ответ Анны: «Чем я поддержу его любовь? Вот этим?» И кощунственным поруганием светлого таинства кажется ее циничный жест.

Все быстрее и быстрее Анна катится по откосу вниз. «Как Анна ни старалась, она не могла любить свою девочку, а притворяться в любви она не могла». Всем существом, всею душою Анна уходит в свою хищную, противоестественно-самодовлеющую любовь. Она спрашивает:

«— Для чего ты желаешь развода?

«Боже мой, опять о любви!» — подумал он, морщась.

— Ведь ты знаешь, для чего: для тебя и для детей, которые будут,— сказал он.

— Детей не будет.

— Это очень жалко,— сказал он.

Вопрос о возможности иметь детей был давно спорный и раздражавший ее. Его желание иметь детей она объясняла тем, что он не дорожил ее красотой».

Перед нами совсем другая женщина, чем в начале романа. Не узнаешь прежней Анны, как будто кто-то подменил ее. Когда-то с вызовом отчаяния Анна называла себя «любовницей», шла на признание себя «погибшей женщиной». Теперь она действительно становится такою.

«Бессознательно в это последнее время в отношении ко всем молодым мужчинам Анна делала все возможное, чтоб возбудить в них чувство любви к себе». Она старается вскружить голову Левину. Прощаясь, удерживает его за руку и глядит ему в глаза притягивающим взглядом. Сообщает Кити, «очевидно, с дурным намерением», что Левин был у нее и очень ей понравился.

Как два прикованных к одной цепи врага, стоят теперь друг против друга Анна и Вронский. Между ними — «мрачная, тяжелая любовь», ужасающая обоих. «Рядом с любовью, которая связывала их, установился между ними злой дух какой-то борьбы, которого она не могла изгнать ни из его, ни, еще менее, из своего сердца... Она не хотела борьбы, упрекала его за то, что он хотел бороться, но невольно сама становилась в положение борьбы... Какая-то странная сила зла не позволяла ей отдаться своему влечению, как будто условия борьбы не позволяли ей покориться».

Анна решает покончить с собою.

«Смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей. С наслаждением стала она думать о том, как он будет мучиться, раскаиваться и любить ее память».

Анна едет на вокзал, в поездку, которая кончится ее смертью. Новыми глазами смотрит на все кругом, думает, думает... И вдруг — «она открыла рот и переместилась в коляске от волнения, возбужденного в ней пришедшею ей вдруг мыслью: «Если бы я могла быть чем-нибудь, кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки: *но я не могу и не хочу быть ничем другим.* И я этим желанием возбуждаю в нем отвращение, а он во мне злобу, и это не может быть иначе. Разве я не знаю, что он не стал бы обманывать меня, что он не изменит мне? Я все это знаю, но мне от этого не легче... Ну, пусть я придумаю себе то, чего я хочу, чтобы быть счастливой. *Ну, я получу развод и буду женою Вронского. Какое же я придумаю между нами новое чувство?* Возможно

ли какое-нибудь,— не счастье уже, а только *не*мучение! Нет и нет! Невозможно! Мы жизнью расходимся, и я делаю его несчастье, и переделать ни его, ни меня нельзя. Все попытки были сделаны, винт свинтился».

И Анна бросается под колеса вагона,— «жестоко-мстительная, торжествующая, свершившая угрозу никому ненужного, но неизгладимого раскаяния»...

«Мне отмщение, и Аз воздам».

Для Толстого живая жизнь не знает ошибок. Она благостна и велика. Ею глубоко заложена в человеке могучая, инстинктивная сила, ведущая его к благу. И горе тому, кто идет против этой силы, кто не повинуется душе своей, как бы это ни было тяжело и трудно. На него неотвратимо падает «отмщение», и он гибнет.

В браке с Карениным Анна была только матерью, а не женою. Без любви она отдавала Каренину то, что светлым и радостно-чистым может быть только при любви, без любви же превращается в грязь, ложь и позор. Живая жизнь этого не терпит. Как будто не зависимая от Анны сила — она сама это чувствует — вырывает ее из уродливой ее жизни и ведет навстречу новой любви. Если бы Анна чисто и честно отдалась этой силе, перед нею раскрылась бы новая, цельная жизнь. Но Анна испугалась,— испугалась мелким страхом перед человеческим осуждением, перед потерею своего положения в свете. И глубокое, ясное чувство загрязнилось ложью, превратилось в запретное *наслаждение*, стало мелким и мутным. Анна ушла только в любовь, стала духовно-бездетною «любовницею», как раньше была только матерью. И тщетно пытается она жить своею противоестественною, пустоцветною любовью. Этого живая жизнь также не может терпеть. Поруганная, разорванная надвое, она беспощадно убивает душу Анны.

И здесь нельзя возмущаться, нельзя никого обвинять в жестокости. Здесь можно только молча преклонить голову перед праведностью высшего суда. Если человек не следует таинственно-радостному зову, звучащему в душе, если он робко проходит мимо величайших радостей, уготовленных ему жизнью, то кто же виноват, что он гибнет в мраке и муках? Человек легкомысленно пошел против собственного своего существа,— и великий закон, светлый в самой своей жестокости, говорит:

«Мне отмщение, и Аз воздам».

Сам Толстой, разумеется, не так смотрит на свой роман. Григорович в своих воспоминаниях рассказывает: однажды, на обеде в редакции «Современника», присутствующие с похвалою отозвались о новом романе Жорж Занд; молодой Толстой резко объявил

себя ее ненавистником и прибавил, что героинь ее романов, если бы они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам.

Такую позорную колесницу Толстой, по-видимому, хотел сделать из своего романа и для Анны. Анна изменила мужу, бросила сына — и сделалась «потерянной женщиной». Никакая новая любовь, никакие разводы не в состоянии снять с нее грязного клейма. Левин, приехавший в гости к Анне, долго раздумывает, хорошо это или дурно. Наконец «сомнения его были окончательно разрушены. Он знал теперь,— говорит Толстой,— *что этого не надо было делать»*. Облонский заговаривает с Карениным о разводе, при этом теряется и чувствует робость. Толстой от себя объясняет: «это был *голос совести, говоривший ему, что дурно то, что он был намерен сделать»*. Достойный выход для Анны был только один: принять прощение мужа, задавить отвращение к нему и возвратиться в прежнюю ложь, мрак и узаконенный позор. Анна этого не сделала — и гибнет. Но люди не должны бросать в нее камнями. «Высший нравственный закон» и без того карает ее жестоко.

Для самого Толстого смысл романа как будто сводится к следующему разговору светской старухи, матери Вронского, с Кознышевым:

«— Да, она кончила, как и должна была кончить такая женщина. Даже смерть она выбрала подлую, низкую.

— Не нам судить, графиня,— со вздохом сказал Сергей Иванович».

В отношении Толстого к своему роману замечается та же рассудочная узость и мертвенность, как в его отношении, например, к «Крейцеровой сонате». Каждая строка «Сонаты» кричит о глубоком и легкомысленном поругании человеком серьезного и светлого таинства любви. Сам же Толстой уверен, что показа́л в «Сонате» как раз противоположное — что сама любовь есть «унизительное для человека животное состояние», есть его «падение».

Нет, прав, сто раз прав был Сократ, когда говорил: «Ходил я к поэтам и спрашивал у них, что именно они хотели сказать. И чуть ли не все присутствующие лучше могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, чем они сами. Не мудростью могут они творить то, что они творят, а какою-то прирожденною способностью и в исступлении, подобно гадателям и прорицателям».

Чрезвычайно характерно толкование, которое дает «Анне Карениной» Достоевский:

«Во взгляде Толстого на виновность и преступность людей ясно усматривается, что никакой муравейник, никакое торжество «четвертого сословия», никакое уничтожение бедности не спасут человечество от ненормальности, а следственно и от виновности и преступности. Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что *ненормальность и грех исходят из нее самой,* и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны и таинственны, что нет и не может быть еще судей окончательных, а есть тот, который говорит: «Мне отмщение, и Аз воздам». Ему одному лишь известна вся тайна мира сего... Сам судья человеческий должен знать о себе, что весы и мера в руках его будут нелепостью, если сам он не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу — к милосердию и любви. А чтоб не погибнуть в отчаянии от непонимания путей и судеб своих, от убеждения в *таинственной и роковой неизбежности зла,* человеку именно указан исход. Он гениально намечен поэтом в сцене смертельной болезни героини, когда преступники и враги вдруг преображаются в существа высшие, в братьев, все простивших друг другу .. Но потом, в конце романа, в мрачной и страшной картине падения человеческого духа, когда зло, овладев существом человека, парализует всякую силу сопротивления, всякую охоту борьбы с мраком, падающим на душу и сознательно, излюбленно, со страстью отмщения принимаемым душою вместо света,— в этой картине — столько назидания для судьи человеческого, что, конечно, он воскликнет в страхе и недоумении: «Нет, не всегда мне отмщение, и не всегда Аз воздам», и не поставит бесчеловечно в вину мрачно павшему преступнику того, что он пренебрег указанным вековечно светом исхода и уже сознательно отверг его».

Удивительно, как в отзыве этом отразился сам Достоевский. В мире царит «таинственная и роковая неизбежность зла», «ненормальность и грех исходят из самой души человеческой»... Но ведь у Толстого как раз обратное! Весь роман светится несокрушимою верою в то, что душа человеческая нормальна, свята, что «грех» приходит к ней *снаружи.* Как раз ярко опровергается «убеждение в таинственной и роковой неизбежности зла». Перед «отмщением» Толстой преклоняется не «в страхе и недоумении», не как перед высшею тайною, о которой человек не смеет рассуждать. «Отмщение» для него вполне понятно, законно и неотвратимо: если человек накинет себе на шею петлю и затянет ее, то задохнется он неизбежно.

XII

СМЕРТЬ

Левин, отвергнутый любимою девушкою, встречается со своим неизлечимо больным братом Николаем.

«Смерть, неизбежный конец всего, в первый раз с неотразимой силой представился ему... Не нынче, так завтра, не завтра, так через тридцать лет, разве не все равно!.. Все яснее ему становилось, что он забыл, просмотрел в жизни одно маленькое обстоятельство,— то, что придет смерть, и все кончится, что ничего не стоило начинать, и что помочь этому никак нельзя».

«Мне умирать пора!» — мрачно говорит он знакомым. Мрачно продолжает заниматься хозяйством: «надо же было как-нибудь доживать жизнь, пока не пришла смерть». И мрачно говорит Стиве: «В сущности, ты подумай об этом, ведь весь этот мир наш — это маленькая плесень, которая наросла на крошечной планете. Когда это поймешь ясно, то как-то все делается ничтожно».

Конечно, Левин переживает все это вполне искренно. Но как все это не глубоко, как не страшно! Как мало разъедают его душу эти чисто умственные вопросы!.. Кити снова полюбила его. И со снисходительною улыбкою взрослого над ребенком мы готовы спросить Левина, как спрашивает Стива Облонский:

«— Что ж, не пора умирать?

— Н-н-е-ет! — сказал Левин».

Женившись, Левин после смерти брата опять начинает мучиться вопросом о ничтожности жизни и неизбежности смерти.

«Всю эту весну он был не свой человек и *пережил ужасные минуты.*

Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить»,— говорил себе Левин.

«И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что *спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться*».

Не правда ли, как ужасно? Не правда ли, как глубоко запустила смерть свои когти в душу Левина? Ему приходится прятать от себя шнурок, чтобы не повеситься! Но как же возможно спрятать что-нибудь самому от себя? Возможно это только тогда, когда спрятавший не хочет найти; а тогда незачем и прятать. Курильщик, когда ему захочется курить, без малейшего труда найдет табак, который он от себя спрятал. А если не найдет, то это не курильщик.

Толстой *уверяет:* «Левин пережил ужасные минуты», «Левин был близок к самоубийству»... Художник требует, чтоб мы поверили ему на слово. Но такая уж странная вещь искусство: когда оно требует от нас, чтоб мы ему верили,— мы именно поэтому и не можем верить.

Десятки страниц Толстой посвящает описанию того, как охотится Левин. Мы там живо чувствуем с Левиным и тайное общение его с собакою, и утренние запахи трав, и проснувшегося на копне ястреба, недовольно глядящего на болото. Здесь же — одна страничка сухих и неубедительных уверений. Мы ничего не чувствуем и безучастно смотрим на «ужасные» мучения Левина.

Достоевский не говорит, что Свидригайлов или Ставрогин были «близки к самоубийству». Дух смерти ощутимо носится над ними, и, когда они вдруг убивают себя, нам кажется: мы давно уже ждали этого. И не нужно Достоевскому говорить, что Ипполит в «Идиоте» переживал «ужасные минуты»: обессмысленный мир въявь превращается перед нами в огромного и отвратительного тарантула, и мы вместе с Ипполитом задыхаемся в кошмарном ужасе. Левин случайно услышал слово «по-божьи» — и воскрес. Смешно даже представить себе, чтобы голое *слово* способно было воскресить в жизнь Свидригайлова, Ставрогина или Ипполита.

Отчего же это так у Толстого?

Графиня С. А. Толстая рассказывает в своих записках: «Тургенев наивно сознается, что боится страшно холеры. Потом нас было тринадцать за столом, мы шутили о том, на кого падет жребий смерти, и кто ее боится. Тургенев, смеясь, поднял руку и говорит:

— Que celui qui craint la mort lève la main!

Никто не поднял, и только из учтивости Лев Николаевич поднял и сказал:

— Eh bien, moi aussi je ne veux pas mourir».

Толстой с очевидною намеренностью совершенно изменяет смысл вопроса. Тургенев говорит: *«кто боится смерти,* пусть поднимет руку!» Смерти боится все падающее, больное, лишенное силы жизни. Толстой же отвечает: «да, *и я не хочу умирать».* Умирать не хочет все живое, здоровое и сильное.

Загадка смерти, несомненно, остро интересует Толстого. «Какой в жизни смысл, если существует смерть?» В процессе своих исканий почти все герои Толстого проходят через этот этапный пункт. Но никогда сам художник не застревает на этом пункте, как застряли Тургенев или Достоевский.

Для Достоевского живая жизнь сама по себе совершенно чужда и непонятна, факт смерти уничтожает ее всю целиком. Если нет

бессмертия, то жизнь — величайшая бессмыслица; это для него аксиома, против нее нечего даже и спорить. Для стареющего Тургенева весь мир полон веяния неизбежной смерти, душа его непрерывно мечется в безмерном, мистическом ужасе перед призраком смерти.

Никогда этот мистический ужас смерти не ложится прочным гнетом на душу Толстого. Только на мгновение смерть способна смять его душу тем же животным испугом, с каким лошадь шарахается от трупа. Вспомним для примера сцену в «Детстве и отрочестве», где Николенька с воплем ужаса бросается прочь от трупа матери.

Но есть в глубине души художника какое-то прочное бессознательное знание, оно высоко поднимает его над этим минутным ужасом. И из мрачной тайны смерти он выносит лишь одно — торжествующую, светлую тайну жизни.

Смерть, в глазах Толстого, хранит в себе какую-то глубокую тайну. Смерть серьезна и величава. Все, чего она коснется, становится тихо-строгим, прекрасным и значительным — странно-значительным в сравнении с жизнью. В одной из своих статей Толстой пишет: «все покойники хороши». И в «Смерти Ивана Ильича» он рассказывает: «Как у всех мертвецов, лицо Ивана Ильича было красивее, главное,— значительнее, чем оно было у живого».

Стоит смерть в своей величавой, таинственной серьезности; а перед нею в мелком испуге мечется цепляющийся за жизнь человек. Умирает в рассказе «Три смерти» барыня. Вся она полна ужаса перед надвигающейся смертью, вся полна одною собою и своею тяжбою со смертью. Ее возмущает, что муж, зная о ее состоянии, способен есть. Даже детей своих она не хочет видеть перед смертью: «это расстроит ее». Все вокруг чувствуют себя под ее взглядами как бы виноватыми в том, что живут. Умирает она, *она,*— ведь этим опровергается вся жизнь, разрушается весь мир. Как же у людей хватает совести жить и думать о жизни перед лицом совершающейся величайшей мировой катастрофы?

Барыня в гробу. Дьячок читает над нею псалтырь.

«Сокроешь лицо твое,— смущаются. Возьмешь от них дух,— умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой,— созидаются и обновляют лицо земли. Да будет господу слава во веки».

«Лицо усопшей было строго и величаво. Ни в чистом, холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. *Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти?»*

В ямской избе в это время умирает больной ямщик дядя Федор. Умирает спокойно и как будто просто — до того просто, что ужасом трогает душу эта необычайная простота. Ямщик Серега просит больного отдать ему свои сапоги и просьбою этою ясно обнаруживает уверенность, что самому Федору их уже не носить. Кухарка подхватывает:

«Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хоронить не станут».

И больной не пугается, как барыня, упоминания о смерти, умоляюще и вопросительно не смотрит кругом. Как будто совсем не о его смерти идет речь. Он спокойно отдает сапоги, под условием, чтоб Серега поставил на его могиле камень. Спокойно говорит кухарке:

«Ты на меня не серчай, Настасья: скоро опростаю угол-то твой».

Умирает покорно, тихо и неслышно. В народе про такую смерть говорят: «умер, как трава отцвела».

Но барыня про эту смерть сказала бы: «мужицкая тупость и грубость духа, отсутствие тонких чувств».

Через месяц ямщик Серега идет на заре в рощу срубить ясень на крест умершему дяде Федору.

«Топор низом звучал глуше и глуше. Дерево погнулось, послышался треск его в стволе, и, ломая сучья, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли... Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями. Первые лучи солнца пробежали по земле и небу. Роса, блестя, заиграла на зелени. Сочные листья радостно и спокойно шептались на верхушках, и ветви живых дерев медленно, величаво зашевелились над мертвым поникшим деревом».

Дерево умерло. Но пред нами не ужас, не опровержение жизни, а светлое таинство «созидания и обновления лица земли». Живые деревья еще радостнее красуются на новом просторе, сочные листья радостно шепчутся, ветви шевелятся величаво... «Возьмешь от них дух»,— умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой,— созидаются и обновляют лицо земли». Понял ли бы дядя Федор, умирая, великие слова эти? *Слов,* конечно, не понял бы, и текста растолковать не сумел бы. Но весь он был полон тем же настроением, которое создало и эти слова. Тайными, неуловимыми для сознания путями душа его слита с общею жизнью, жизнь свою он ощущает как частицу этой единой жизни. И с высоты ощущаемого единства далеко внизу кажется собственная смерть, она теряет свои огромные заслоняющие жизнь очертания, перестает быть мировой катастрофой. И не тупость в этом, не грубость духа, а такая тонкость и глубина жизнеощущения, которой барыне даже не понять.

В «Воскресении» Толстой рассказывает про революционера Набатова, крестьянина по происхождению: «В религиозном отношении он был типичным крестьянином; никогда не думал о метафизических вопросах, о начале всех начал. О будущей жизни он тоже никогда не думал, в глубине души неся то унаследованное им от предков твердое, спокойное убеждение, общее всем земледельцам, что, как в мире животных и растений ничто не кончается, а постоянно переделывается от одной формы в другую,— навоз в зерно, зерно в курицу, головастик в лягушку, желудь в дуб,— так и человек не уничтожается, но только изменяется. Он верил в это, и потому бодро и даже весело всегда смотрел в глаза смерти и твердо переносил страдания, которые ведут к ней».

Что это? Утешительная уверенность в незыблемости законов сохранения материи или энергии? Я умру, а закон сохранения энергии будет существовать вечно. Я умру, но не уничтожусь, а превращусь... в навоз, на навозе же пышно распустится базаровский «лопух». Какое же это утешение? Как с такою «верою» возможно «бодро и даже весело смотреть в глаза смерти»?

Так возражают сыны Достоевского. У самого Достоевского «смешной человек», собираясь застрелиться, пишет: «Жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере, для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, весь этот мир и все эти люди — я-то сам один и есть». Людям с подобным жизнеощущением никогда не понять Толстого. Нет в отъединенной душе их живого чувствования мира, связи с жизнью оборваны. Только издалека мир отражается в душе, как в холодном зеркале. Разбилось зеркало,— и где мир? Его нет. Совершилась мировая катастрофа. Какое там еще «созидание и обновление лица земли»! Просто школьные законы физики. Вздор все это. Одним только можно предотвратить мировую катастрофу — сохранением навеки моего личного «я». И одним только можно уничтожить идущий от смерти ужас — уничтожением самой смерти.

Тенеромо вспоминает, как раннею весною он работал с Толстым в его саду. Они присели отдохнуть на межу у дороги.

«Нет, вы прислушайтесь,— сказал Лев Николаевич,— прислушайтесь к этой немолчной работе жизни, какая здесь идет во всех углах и впадинах... Мне кажется, будто я сижу и чувствую движение соков, как они тянутся тонкими струйками по мочкам и корням к стволу, ветвям и почкам. Я чувствую, как земля внизу, оттаивая, шлет свои пары кверху, и дышит, и вздыхает, как вздыхает человек после долгого, тяжелого сна. Это не метафора, не уподобление, а так оно и есть. Земля живет несомненною, живою, теплою жизнью, как и все мы, взятые от земли».

Если мы поймем, если душою почувствуем это жизнеощущение, то мы поймем также, почему Набатов способен «бодро и даже весело всегда смотреть в глаза смерти». Уж конечно, дело тут не в законе сохранения энергии и не в умственных каких-либо убеждениях. Тесно со всех сторон душа охвачена жизнью, жизнь как будто непрерывно переливается из души в мир и из мира в душу. Ушла жизнь из души,— и как будто сама душа вместе с нею растворилась в жизни мира. «И ты,— как выражается Марк Аврелий,— ты легко оторвешься от жизни, как созревший плод с дерева, благословляя ветвь, на которой висел».

Толстой рассказывает про Платона Каратаева:

«Жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла, как отдельная жизнь. Она имела смысл только, как частица целого, которое он постоянно чувствовал». Больной и слабый, Каратаев сидит в своей шинельке, прислонившись к березе. Идти он не может. И он знает, что французы сейчас его пристрелят. «В лице Каратаева, кроме выражения вчерашнего радостного умиления, светилось еще выражение тихой торжественности».

Если есть в душе жизнь, если есть в ней, в той или другой форме, живое ощущение связи с общею жизнью, то странная перемена происходит в смерти, и рассеивается окутывающий ее ужас.

В Севастополе умирает раненый поручик Козельцов.

«— Что, я умру? — спросил Козельцов у священника, когда он подошел к нему.

Священник не отвечая, прочел молитву и подал крест раненому.

Смерть не испугала Козельцова. Он взял слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал.

— Что, выбиты французы?

— Везде победа за нами осталась,— отвечал священник.

— Слава богу,— проговорил раненый, не чувствуя, как слезы текли по его щекам. Мысль о брате мелькнула на мгновение в его голове.— «Дай бог ему такое же счастье»,— подумал он».

Однажды Конфуция спросили: «Как надо служить духам, и что такое смерть?» Мудрец ответил: «Когда не умеют служить людям, то где же уметь служить духам. *Когда еще не знают, что такое жизнь, то где же знать, что такое смерть*». Удивительная мысль эта близка и родна душе Толстого. Разрешения загадки смерти он все время ищет в разрешении загадки жизни.

Под влиянием смерти брата «Левин ужаснулся не столько смерти, сколько жизни, без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что он такое».

Устрашающе-властно ставит перед нами смерть загадку жизни в «Смерти Ивана Ильича».

XIII

MEMENTO VIVERE!

Иван Ильич умер. «Прошедшая история жизни Ивана Ильича,— говорит Толстой,— была самая простая и обыкновенная и самая ужасная».

В продолжение всей своей жизни он был умным, живым, приятным и приличным человеком. Всегда строго исполнял свой долг, долгом же считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Везде он умел устраивать себе «легкое и приятное положение»; не уставая, «приятно и прилично веселился»; строго следил за тем, чтобы у него все было, «как у других». Легко и приятно он женится на приятной девице.

Страшною своею кистью Толстой ярко рисует жизнь этого двигающегося трупа. Самого слабого биения жизни нет ни в самом Иване Ильиче, ни вокруг него. Все, чего он коснется, омертвевает, все превращается в ложь, пошлость и самодовольную обыденщину.

И вдруг перед ним встает смерть. «Нельзя было обманывать себя: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичем, совершалось в нем». Что бы он теперь ни делал — «вдруг боль в боку начинала свое сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: *неужели только она правда?»*

А кругом прежняя ложь и пошлость. Чуждая жена. Она уговаривает Ивана Ильича съездить к знаменитому доктору, принять новое лекарство, просит сделать это *для нее,* давая понять, что это делается для него, тогда как в действительности она это делает для себя. Красавица дочь. Она спешит в театр и с усилием присаживается на стул, чтобы послушать «эту скуку»,— мнение доктора о болезни отца. Важные и приличные сослуживцы. «Ивану Ильичу хотелось, чтобы его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей... Вместо этого Иван Ильич делает серьезное, строгое, глубокомысленное лицо и по инерции говорит свое мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нем».

«Главное мучение Ивана Ильича была ложь,— та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали и он знал, и хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения. *Ложь, ложь, эта совершаемая*

над ним накануне его смерти ложь, долженствующая низвести этот страшный, торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин. осетрины к обеду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича... Он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положения».

А смерть наваливается все плотнее. Ивану Ильичу кажется, что его с болью суют куда-то в узкий и глубокий черный мешок, и все дальше просовывают и не могут просунуть. Он плачет детскими слезами о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости бога, об отсутствии бога.

«Может быть, я жил не так, как должно? — приходило ему вдруг в голову. Но он тотчас же отгонял от себя *это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти,* как что-то совершенно невозможное.

Чего же ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: «суд идет»? Суд идет, идет суд. Вот он — суд. Да я же не виноват! — воскликнул он со злобой.— За что? И он перестал плакать, и, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же: *зачем, за что весь этот ужас?*

Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила мысль о том, что все это происходит от того, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль».

Но однажды ночью ему вдруг приходит в голову: «а что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была не то?»

«Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя,— что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то.

Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь, все то, чем он жил, и ясно увидел, что все это было не то, все это был *ужасный, огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть.* Это сознание увеличило, удесятерило его физические страдания».

Умирающий живой мертвец мечется в муках и вопит:

«Суд идет! Вот он суд... зачем, за что весь этот ужас?»

И ясен ответ того, кто раз уже сказал: «Мне отмщение, и Аз воздам».

Ивана Ильича ужасает совершаемая над ним ложь. Ложь эта низводит страшный, торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду. Но что же такое была вся его жизнь? — Эти же самые визиты, гардины и осетрины к обеду. К ним он свел великий и торжественный *акт жизни.*

Перед нами раскрывается загадка смерти. «Неужели только о н а правда?» — спрашивает Иван Ильич. Да, перед *его* жизнью правда — одна смерть, всегда величавая, глубокая и серьезная. Но в обманный призрак превращается смерть, когда перед нею встанет подлинная жизнь, достойная померяться с нею в глубине и величавой своей серьезности.

И так огромна, так всепобеждающа для Толстого сила этой подлинной жизни, что стоит только почувствовать ее хоть на миг, только прикоснуться к ней просветленным своим сознанием,— и смерть исчезает.

Три дня Иван Ильич кричит на разные интонации: «у! уу! у!» Он начал кричать: «не хочу!» и так продолжал кричать на букву «у». Крик этот был так ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его.

«Он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая, непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись... Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавила ему дыхание, он провалился в дыру, и там в конце дыры засветилось что-то... И ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, *но что это можно еще поправить.* Он спросил себя: что же «то»? и затих, прислушиваясь.

— Смерть?.. Где она?

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

— Так вот что! — вдруг вслух проговорил он.— Какая радость!

Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стали клокотание и хрипение.

— Кончено! — сказал кто-то над ним.

Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. *«Кончена смерть,— сказал он себе.— Ее нет больше».*

Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер».

Так кончается этот удивительный рассказ — торжественный гимн во славу великой, все просветляющей жизни.

И замечательно вот что. «Смерть Ивана Ильича» написана в середине восьмидесятых годов, когда написано было большинство народных рассказов и повесть из времен древних христиан «Ходите в свете, пока есть свет». В этот период Толстой-про-

поведник с пуритански суровым и холодным осуждением относился к живой жизни с ее блеском и радостью, с наибольшею настойчивостью втискивал ее в узкие рамки «добра». Но «Смерть Ивана Ильича» писалась не для поучения, как упомянутые рассказы, а свободно вылилась из свободной души художника. Для Толстого же художника жизнь есть нечто гораздо более широкое, чем добро, и есть единственное прочное основание самого добра.

«Чем дальше назад,— думает Иван Ильич,— *то больше было жизни. Больше было и добра в жизни, и больше было самой жизни. И то, и другое сливалось вместе».* Когда он вспоминает то, «с чем можно было бы жить, если бы оно вернулось»,— перед ним встает не специально «добро», а именно жизнь во всем ее глубоком и живом разнообразии. «Поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим», рядом же с этим,— конечно, прежде всего детство, так высоко стоящее для Толстого за бьющее через край, пенящееся сознание жизни. В училище у Ивана Ильича тоже было «кое-что истинно хорошее: *веселье, дружба, надежды».* В дальнейшей жизни — *«любовь к женщине»...* Даже любовь к приятной девице Прасковье Федоровне — и в ней, оказывается, было зерно чего-то истинно хорошего!

Также и напоминанием Ивану Ильичу об «истинно хорошей жизни» является не благочестивый какой-нибудь старец из народного рассказа, не доброжелательный юноша Памфилий — ходячий труп, набальзамированный ароматами всех христианских добродетелей. Живым напоминанием о жизни перед Иваном Ильичем стоит обыкновеннейший буфетный мужик Герасим. У него ловкие, сильные руки, улыбка оскаливает белые, сплошные мужицкие зубы. На лице сияет «радость жизни», и он старается сдерживать ее, чтобы не оскорбить ею умирающего. Вся сила Герасима — в этой радости жизни, в живом соприкосновении со всем окружающим, в отсутствии лжи, в глубоко серьезной и простой значительности жизни перед такою же серьезною и простою значительностью смерти. В нем есть то же бессознательное знание, что в Агафье Михайловне и Кити, ухаживающих за Николаем Левиным,— знание, которое Константин Левин так неудачно объясняет откровением христианства. Как те две женщины, Герасим тоже «несомненно знает, что такое жизнь и что такое смерть».

«Божья воля. Все там будем,— улыбаясь, говорит он».

Легко, охотно и просто он ухаживает за Иваном Ильичем, выносит судно, сидит целыми ночами, держа на плечах ноги Ивана Ильича. «И Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Один Герасим не лгал; по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать это, и просто жалел

исчахшего слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:

«Все умирать будем. Отчего же не потрудиться?»

Светлое, неуловимое и неопределимое «что-то», чем пронизана живая жизнь, мягким своим светом озаряет темную смерть, смерть светлеет, и исчезает ее извечная противоположность жизни. «Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляли Ивана Ильича; сила и бодрость жизни Герасима не огорчали, а успокаивали его».

В предисловии к отрывкам из дневника Амиеля Толстой, горячо восхваляя этот дневник, пишет: «В продолжении всех тридцати лет своего дневника Амиель чувствует то, что мы все так старательно забываем,— то, что *мы все приговорены к смерти, и казнь наша только отсрочена*».

Толстой-проповедник все время весьма озабочен тем, чтобы побольше напугать нас смертью, чтобы мы ходили в жизни, как приговоренные к смертной казни. Помни о смерти! Помни о смерти! Если ты всегда будешь помнить о ней, тебе будет легко и радостно «жить по-божьи». А жить по-божьи, значит — *«отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым»* («Исповедь»). Отсекай от себя жизнь, умерщвляй ее, и смерть перестанет быть страшной. Смерть попирается смертью.

Но, слава богу, кроме Амиеля и проповедника Толстого, мы имеем еще Толстого-художника. И одно слово этого художника тяжелее и полноценнее, чем многие томы тех двух писателей. Художник же этот говорит:

«Не смертью попирается смерть, а жизнью. Не то помни, что нужно умирать, а помни, что нужно жить. Если есть жизнь, то «кончена смерть, ее нет больше».

XIV

«БУДЬ ВСЯК САМ СЕБЕ»

Подпольный человек Достоевского пишет: «С чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно-выгодного хотения? Человеку надо — одного только самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела».

Мы достаточно видели, что к *добродетельному хотению* резко отрицательно относится и художник Толстой. Добродетельное

хотение — это смерть для души. Выбившись из-под власти добродетельного хотения, Оленин пишет: «Я был мертв, а теперь только я живу!» И Кити в волнении восклицает: «Ах, как глупо, как гадко!.. Нет, теперь уже я не поддамся на это! Быть дурною, но по крайней мере не лживою, не обманщицей! Пускай они живут, как хотят, и я, как хочу. Я не могу быть другою!» И так все.

Будь свободен, будь самим собою,— одинаково говорят и Достоевский и Толстой. Но мы уже знаем, к чему ведет свобода у Достоевского. Дать душе проявляться свободно — это значит выпустить на простор чудовищные, хаотические силы, клокочущие в недрах души. Они вырвутся вулканическими взрывами, сшибутся, завьются вихрями и в клочья разнесут бессильную душу, посмевшую вызвать их из глубин. И с ужасом, с отчаянием убедится человек, что свобода, которой он так страстно желает, не для него, что «не в силах слабая человеческая душа вместить столь страшного дара». «Никогда,— говорит Великий Инквизитор,— ничего и никогда не было для человека невыносимее свободы!»

То самое, что перед Достоевским стоит мрачною, неразрешимою, безысходно трагическою задачею, для Толстого есть светлая, радостная заповедь. И это потому, что для него душа человека — не клокочущий вулкан, полный бесплодными взрывами огня, пепла и грязи, а благородная, плодородная целина, только сверху засоренная мусором жизни. Действительно из недр идущее, действительно *самостоятельное* хотение человека только и может заключаться в стремлении сбросить со своей души этот чуждый ей, наносный мусор.

«Тогда Нехлюдов был честный, самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое доброе дело; теперь он был развращенный, утонченный эгоист, любящий только свое наслаждение. Тогда мир божий представлялся ему тайной, которую он радостно и восторженно старался разгадывать, теперь в этой жизни все было просто и ясно и определялось теми условиями жизни, в которых он находился... И вся эта страшная перемена совершилась с ним *только оттого, что он перестал верить себе, а стал верить другим*».

В Сибири, при переезде на пароме через реку, князь Нехлюдов знакомится со стариком бродягой.

«— Никакой веры у меня нет. Потому никому я, никому не верю, окроме себе,— быстро и решительно сказал старик.

— Да как же себе верить? — сказал Нехлюдов.— Можно ошибиться.

— Ни в жизнь,— тряхнув головой, решительно отвечал старик.

— Так отчего же разные веры есть? — спросил Нехлюдов.

— Оттого и разные веры, что *людям верят, а себе не верят*. И я людям верил и блудил, как в тайге; так заплутался, что не чаял

выбраться... Значит, верь всяк своему духу, и вот будут все соединены. *Будь всяк сам себе, и все будут за едино*».

Быть самим собою, отыскать в глубине своей самого себя — в этом вся жизненная задача человека. Но, конечно, для Толстого смысл этой задачи совсем не тот, что, например, для Макса Штирнера. Штирнер пишет: «Во всякий момент мы бываем всем, чем мы быть можем, и не должны быть чем-то бо́льшим». Для Толстого мы очень редко бываем «всем, чем мы быть можем», а можем мы быть чем-то гораздо большим, чем мы есть. Жизнь — это нечто более трудное, чем думает человек. Более трудное,— но также более глубокое и более ценное. Добрые гении светлым сонмом окружают человека и шепчут ему внятные, радостные призывы. Чутко вслушиваться в них, смело следовать им — и жизнь засияет чудесным, неслыханно ярким светом. «Иго мое благо, и бремя мое легко».

Но опять и опять следует подчеркнуть: голоса эти призывают *не к добру*. К живой жизни они зовут, к полному, целостному обнаружению жизни, и обнаружение это довлеет само себе, в самом себе несет свою цель,— оно *бесцельно*. Из живой же жизни — именно потому, что она — живая жизнь,— само собою родится благо, сама собою встает цель. «Каждая личность,— говорит Толстой в «Войне и мире»,— носит в самой себе свои цели и между тем носит их для того, чтобы служить недоступным человеку целям общим».

Цели эти настолько недоступны человеку, что даже само добро, истинное добро, бывает результатом его деятельности только тогда, когда человек не ставит себе добро целью.

Николай Ростов хозяйничает в деревне. «Когда жена говорила ему о заслуге, состоящей в том, что он делает добро своим подданным, он сердился и отвечал: «Вот уж нисколько; для их блага вот чего не сделаю. Все это поэзия и бабьи сказки — все это благо ближнего». *И должно быть, потому, что Николай не позволял себе мысли о том, что он делает что-нибудь для других, для добродетели, все, что он делал, было плодотворно*».

То же и с Левиным. «Прежде, когда он старался сделать что-нибудь такое, что сделало бы добро для всех, для человечества, он замечал, что мысли об этом были приятны, но самая деятельность всегда бывала нескладная; теперь же, *когда он стал более и более ограничиваться жизнью для себя, он чувствовал уверенность, что дело его необходимо и что оно все становится больше и больше*».

Живи для себя, не думай о других и о добродетели — и дело твое будет плодотворно, будет необходимо для жизни... Это значит: не нужно, чтоб тебя механически вело узкое, намеренное добро — оно только сушит, обесцвечивает душу, и потому ничего не дает для жизни. Задача твоя: органически развивать себя из

самого себя, проявлять ту радостную, широкую, безнамеренную жизнь, которую заложила природа в тебе, как и во всех живых существах. Только живи подлинною своею сущностью, и само собою придет единение с миром, придет добро. Об этом уж без нас позаботится природа, благая и мудрая, которую не нам учить и не нам направлять.

XV

ПРИРОДА

Во время той же беседы, о которой я рассказывал, Толстой заговорил о присланной ему Мечниковым книге его «Essai de la philosophie optimiste». С негодованием и насмешкой он говорил о книге, о «невежестве», проявляемом в ней Мечниковым.

«Он, профессор Мечников, хочет... исправлять природу! Он лучше природы знает, что нам нужно и что не нужно!.. У китайцев есть слово — «шу». Это значит — *уважение*. Уважение не к кому-нибудь, не за что-нибудь, а *просто* уважение, уважение ко всему за все. Уважение вот к этому лопуху у частокола за то, что он растет, к облачку на небе, к этой грязной, с водою в колеях, дороге... Когда мы, наконец, научимся этому уважению к жизни?»

Природы с ее колебанием и противоборством разноречивых устремлений, с дисгармоническою несогласованностью и болезненными уклонениями ее инстинктов — такой природы для Толстого не существует. Она всегда блага, всегда божественно-мудра — тою глубокою мудростью, которой ум человеческий не должен дерзать даже касаться. Исправлять природу, пытаться направить ее по своему человеческому разумению — это для Толстого такое же смешное безумие, как если бы человек, желая улучшить форму цветка, стал вывертывать его из бутона и по своему вкусу обрезывать лепестки.

Отсюда — резкое и решительное отрицание, например, медицины. Доктора запретили жене Позднышева кормить ее ребенка. Для них это легко, просто и понятно: кормление истощает женщину,— не нужно кормить. Но они не видят, что этим они разрушают целый сложный, чудесный мир, в котором жизненно-неразрывно все связано одно с другим. «В это самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее это женское кокетство... Я особенно ревновал в это время, во-первых, потому, что жена испытывала то свойственное матери беспокойство, которое должно вызывать беспричинное нарушение правильного хода жизни; во-вторых, потому, что, увидав, как она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и бессознательно, заключил, что ей так же легко будет отбросить и супружескую».

Смешны и нелепы старания врачей устанавливать правила, как жить человеку, как есть, спать, как выхаживать детей. Глубоко и прочно все нужные правила заложены в человеке самою природою; только к ней нужно прислушиваться, к ее блаженному, непогрешимому голосу, а не к выведенным из ума, бесконечно разнообразным и постоянно сменяющимся правилам докторов. «Кормить так, тем; нет, не так, не тем, а вот этак; одевать, поить, купать, класть спать, гулять, воздух,— на все это мы с женой узнавали всякую неделю новые правила. Точно со вчерашнего дня начали рожать детей».

Подобное же отношение вызывает к себе со стороны Толстого и наше обычное воспитание. Оно до глубины души возмущает его «недостатком уважения к человеческой природе».

«Воспитание, как умышленное формирование людей по известным образцам, *не плодотворно, не законно, не возможно,*— говорит Толстой.— Воспитание портит, а не исправляет людей. Чем больше испорчен ребенок, тем меньше нужно его воспитывать, тем больше нужно ему свободы».

«Но ведь дети не всегда знают, что им нужно, дети ошибаются и т. д., слышу я. Я не вхожу в такой спор. Этот спор привел бы нас к вопросу: права ли перед судом человека природа человека? и проч. Я этого не знаю и на это поприще не становлюсь».

Толстой это знает, и знает совершенно определенно. Для него тут даже вопроса не будет. Конечно и конечно, природа права!

«Не бойтесь: человеку ничто человеческое не вредно,— пишет он.— Вы сомневаетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманет вас. Поверьте его природе».

Мудро, любовно и нежно ведет человека природа по его жизненной стезе. И даже в самых, казалось бы, ужасных, в самых жестоких своих проявлениях она все та же — по-всегдашнему мудрая, благая и великодушная.

Старая графиня Ростова, при вести о смерти сына Пети, сходит с ума. «В бессильной борьбе с действительностью, мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущий жизнью ее любимый мальчик, *спасалась от действительности в мире безумия*».

Умирает Николай Левин. Он страстно и жадно цепляется за уходящую жизнь, в безмерном ужасе косится на надвигающуюся смерть. Дикими, испуганными глазами смотрит на брата: «Ох, не люблю я тот свет! Не люблю». На лице его — «строгое, укоризненное выражение зависти умирающего к живому». Умирать с таким чувством — ужаснее всяких страданий. И благая природа приходит на помощь.

«Страдания, равномерно увеличиваясь, делали свое дело и приготовляли его к смерти... Вся жизнь его сливалась в одно чувство страдания и желания избавиться от него. В нем, очевидно, совершался *тот переворот, который должен был заставить его смотреть на смерть, как на удовлетворение его желаний, как на счастие».*

Замечательно,— и навряд ли это случайность: страдания предсмертные выпадают у Толстого как раз на долю людей, боящихся смерти, не могущих оторваться от жизни. Мы видели это и на Иване Ильиче, как в конце его мук вдруг исчезает страх смерти и вместо смерти является свет. Видим мы это и на Андрее Болконском. Холодным, укоризненным взглядом он встречает приехавшую сестру, и взгляд этот говорит: «Ты виновата в том, что живешь и думаешь о живом, а я!..» И вот с ним случается то, о чем Наташа говорит: «Два дня назад вдруг это сделалось с ним». Сделалось *это*,— и все для князя Андрея изменилось: «он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной, и странной легкости бытия».

XVI

ИСТОРИЯ ДВУХ БЕСКОНЕЧНОСТЕЙ

1) Бесконечность и князь Андрей

В аустерлицком бою князь Андрей бежит со знаменем впереди батальона на выручку русской батареи и падает, раненный в голову.

«Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего, кроме неба,— высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого с тихо ползущими по нему серыми облаками.

«Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал», подумал князь Андрей: «не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. *Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба.* Ничего, ничего нет, кроме его. Но и *того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу!..»*

Едет мимо Наполеон, смотрит на него,— и любимый герой кажется князю Андрею ничтожным и мелким «в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял».

«Да и все казалось так бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и величественным строем мысли, который вызывали в нем *ослабление сил от истекшей крови, страдание и близкое ожидание смерти.* Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о *ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих...* Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего».

Рядом и как будто в противоречие с этим Андрей радуется тому, что над ним остановились люди. «Он желал только, чтобы эти люди помогли ему и возвратили его к жизни, которая казалась ему столь прекрасною, потому что он так иначе понимал ее теперь».

Его возвратили к жизни. Он приезжает домой к отцу,— «бледный и худой, с измененным, *странно-смягченным, но тревожным выражением лица*». Как раз в это время родит его жена, маленькая княгиня Lise. От родов она умирает, и на лице ее застывает жалкое, испуганное выражение: «ах, что и за что вы это со мной сделали?»

Князь Андрей живет в деревне. На аустерлицком поле жизнь ему «показалась прекрасною»; под влиянием вечного неба он «так иначе понимал ее теперь». Но приехавший к Андрею в деревню Пьер удивленно смотрит на своего друга: «Слова были ласковы, улыбка была на губах, *но взгляд был потухший, мертвый, которому, несмотря на видимое желание, князь Андрей не мог придать радостного и веселого блеска*».

В беседе с ним Пьер начинает чувствовать, что «перед князем Андреем восторженность, мечты, надежды на счастье и добро — неприличны». Андрей желчно высмеивает мечты Пьера о жизни для других, о самопожертвовании.

«Я знаю в жизни только два настоящих несчастия: это — угрызение совести и болезнь. И единственное благо есть отсутствие этих зол. Жить для себя, избегая только этих двух зол: вот вся моя мудрость теперь».

Они едут в имение старика Болконского, переезжают на пароме реку. Пьер восторженно говорит о необходимости любви, веры, о вечной жизни.

«Князь Андрей вздохнул и лучистым, детским, нежным взглядом взглянул на раскрасневшееся восторженное лицо Пьера.

— Да, коли бы это так было! — сказал он. Выходя из парома, он поглядел на небо, на которое указывал ему Пьер, и в первый раз, после Аустерлица, он увидал то высокое, вечное небо, которое

он видел, лежа на аустерлицком поле, и что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе».

Толстой прибавляет:

«Чувство это исчезло, как скоро князь Андрей вступил опять в привычные условия жизни, но он знал, что это чувство, которое он не умел развить, жило в нем. *Свидание с Пьером было для князя эпохой, с которой началась хотя по внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь*».

Так уверяет Толстой. Но в дальнейшем мы нигде не видим ничего, что говорило бы об этом обновлении Андрея. Приходится верить Толстому на слово. А мы уже знаем: когда художник требует, чтоб ему верили на слово,— это верный знак, что верить ему не следует.

И после встречи с Пьером князь Андрей остается таким же мертвецом, каким был до встречи. Проходит два года. Раннею весною он едет по опекунским делам в рязанские имения своего сына. Все вокруг зеленеет, и трава, и деревья. На краю дороги высится огромный дуб. «Старым, сердитым и презрительным уродом стоял он между улыбающимися березами».

«Весна, и любовь, и счастье! — как будто говорил этот дуб,— и как не надоест вам все один и тот же глупый и бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья... Стою и не верю вашим надеждам и обманам».

«Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб,— думал князь Андрей.— Пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь,— наша жизнь кончена!» Во время этого путешествия князь Андрей как будто вновь обдумал всю свою жизнь и *пришел к тому же прежнему успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая*».

Вот он, двухгодовой итог той новой внутренней жизни, которая началась для князя Андрея после свидания с Пьером! Вот только к чему привело Андрея «высокое, *вечное небо*»!

И вдруг в эту тусклую, унылую и холодную пустоту, как горячий поток солнечного света, врывается богиня жизни и счастья — Наташа Ростова.

«Князю Андрею вдруг стало отчего-то больно. День был так хорош, солнце так ярко, кругом все так весело; а эта тоненькая и хорошенькая девушка не знала и не хочет знать про его существование и была довольна и счастлива какой-то своей отдельной,— верно глупой,— но веселой и счастливой жизнью. «Чему она рада?

О чем она думает? Не об уставе военном, не об устройстве рязанских оброчных. О чем она думает? И чем она счастлива,— невольно с любопытством спрашивал себя князь Андрей».

Ночью Андрею не спится, он сидит у открытого окна, смотрит в сад, залитый лунным светом. И над ним, из окна верхнего этажа, слышится тоскующий от избытка счастья голос Наташи.

«— Я не буду, я не могу спать, что же мне делать!.. Соня, Соня! Ну, как можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Да проснись же, Соня! — сказала она почти со слезами в голосе.— Ведь этакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало!

Соня неохотно что-то отвечала.

— Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда! Ну, видишь? Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки,— туже, как можно туже,— натужиться надо, и полетела бы. Вот так!

— Полно, ты упадешь...

Послышалась борьба и недовольный голос Сони: «Ведь второй час».

— Ах, ты только все портишь мне! Ну, иди, иди.

Опять все замолкло, но князь Андрей знал, что она все еще сидит тут, он слышал иногда тихое шевеление, иногда вздохи.

— Ах, боже мой! Боже мой! Что ж это такое! — вдруг вскрикнула она.— Спать, так спать! — и захлопнула окно».

Совсем другой мир, чем в душе князя Андрея. «Высокое, вечное небо», презирающее землю, говорящее о ничтожестве жизни, вдруг опускается на землю, вечным своим светом зажигает всю жизнь вокруг. И тоска в душе не от пустоты жизни, а от переполнения ее красотою и счастьем.

Князь Андрей едет обратно. Перед ним прежний лес.

«Да, здесь в этом лесу был этот дуб, с которым мы были согласны,— подумал князь Андрей.— Да, где он? — подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги, и сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной темной зелени, млел, чуть колыхаясь, в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя — ничего не было видно. Сквозь жесткую, столетнюю кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. «Да, это тот самый дуб»,— подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему.

«Нет, жизнь не кончена в тридцать один год,— вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей.— Мало того, что я

знаю все то, что есть во мне, надо, чтобы все знали меня, чтоб не для одного меня шла моя жизнь, чтоб не жили они так независимо от моей жизни, чтоб на всех она отражалась, и чтобы все они жили со мною вместе!»

«Высокое, вечное небо» научило его только одному: что в мире все ничтожно, что нужно доживать свою жизнь, «не тревожась и ничего не желая». Чего не могло сделать высокое небо, сделала тоненькая девушка с черными глазами: отравленного смертью князя Андрея она снова вдвинула в жизнь и чарами кипучей своей жизненности открыла ему, что жизнь эта значительна, прекрасна и светла.

Князь Андрей входит в жизнь. Портрет покойной жены, в котором он раньше читал горькое обвинение жизни, теперь изменился. «Она уже не говорила мужу прежних страшных слов, она просто и весело с любопытством смотрела на него. И князь Андрей, заложив назад руки, долго ходил по комнате, то хмурясь, то улыбаясь, передумывая те неразумные, невыразимые словом, тайные, как преступление, мысли, которые изменили всю его жизнь».

«Оставим мертвым хоронить мертвых, а пока жив, надо жить и быть счастливым»,— решает он.

Любовь к Наташе. Увлечение Наташи Анатолем. Разрыв Андрея с Наташей. И Андрей снова сваливается в темную яму. «Прежде были все те же условия жизни, но прежде они все вязались между собою, а теперь все рассыпалось. Одни бессмысленные явления, без всякой связи, одно за другим представлялись князю Андрею».

Накануне Бородинского сражения он лежит в сарае. «Мысли самые простые, ясные и потому страшные мысли, не оставляли его в покое». Все время живущая в его душе смерть поднимает голову. «И с высоты представления о смерти все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным, белым светом без теней, без перспективы, без различия очертаний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг без стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалеванные картины. «Да, да, вот они, те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы»,— говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом холодном, белом свете дня,— ясной мысли о смерти. «Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись чем-то прекрасным и таинственным. И все это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается

для меня... Отечество, погибель Москвы! А завтра меня убьют, и придут французы, возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтоб я не вонял им под носом».

И повторяется то же, что мы видели у Достоевского. Смерть разрушает жизнь, делает ее мертвенно-тусклой, бессмысленной,— и тут-то как раз человек жадно начинает цепляться за эту обесцененную жизнь.

«Умереть,— думал князь Андрей.— Чтобы меня убили... завтра... Чтобы меня не было... Чтобы все это было, а меня бы не было...»

Тяжело раненного, его приносят на перевязочный пункт. Очнувшись после мучительной перевязки, князь Андрей видит плачущего, как женщина, красивого человека, у которого отрезали ногу, узнает в нем своего врага Анатоля.

«Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями.

Сострадание, любовь к братьям, к любящим; любовь к ненавидящим нас, к врагам; да, та любовь, которую проповедывал бог на земле,— вот отчего мне было жалко жизни, *вот оно то, что еще оставалось мне,* ежели бы я был жив».

Бесчувственного, умирающего князя Андрея везут из покидаемой Москвы. В первый раз он очнулся в Мытищах, в избе. Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье. «Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека,— думал он.— Счастье, находящееся вне материальных сил, счастье одной души, счастье любви. Да, любовь. Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и *для которой не надо предмета.* Я теперь испытываю это блаженное чувство. Любить ближних, любить врагов своих. Все любить,— любить бога во всех проявлениях»...

«Чем больше он вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, *тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни.* Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви *значило — никого не любить, значило — не жить этою земною жизнью.* И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни».

Несомненно, это есть та самая любовь, «которую проповедывал бог на земле». Но не тот бог, который воплотился в Христа, а тот, который воплотился в Будду. Сила этой любви — именно в ее бессилии, в отсечении от себя живых движений души, в глубоком безразличии одинаково ко всем явлениям жизни. Чем дальше от жизни, тем эта любовь сильнее. Соприкоснувшись с жизнью, она умирает.

И вот в царство этой мертвенно-безжизненной любви — холодной, как заоблачные пространства,— опять врывается носительница живой, горячей жизни — Наташа.

Андрей хотел воротиться к «прежнему миру чистой мысли», но не мог. «Когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные, и тревожные мысли стали приходить ему». Начало вечной любви, жившее лишь в мире чистой мысли, не коренившееся в жизни, исчезает под дыханием действительности. «Вспоминая ту минуту на перевязочном пункте, когда он увидел Курагина, *он теперь не мог возвратиться к тому чувству;* его мучил вопрос о том, жив ли Курагин. И он не смел спросить этого».

Живая жизнь борется в нем с холодною вечностью, брезгливо отрицающею жизнь. Андрей смотрит на сидящую у его постели Наташу. «Неужели только за тем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть?» И сейчас же вслед за этим думает: «*Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи?* Я люблю ее (Наташу) больше всего в мире. *Но что же делать мне, ежели я люблю ее?»*

Грозная, высокомерная вечность не в силах терпеть рядом с собою такого ничтожного пустяка, как жизнь. И князь Андрей говорит Наташе:

«— Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины... того света. Мне так и хочется плакать от радости... Наташа, *я слишком люблю вас.*

— А я? — Она отвернулась на мгновение».

И живая жизнь, которою полна Наташа, с непонимающим недоумением спрашивает:

«— Отчего же слишком?

— Отчего слишком?.. *Ну как вы думаете, как вы чувствуете по душе, по всей душе, буду я жив?»*

Князь Андрей засыпает и все время думает о жизни и смерти, и больше о смерти: «он чувствовал себя ближе к ней». И опять созидается безжизненный «мир чистой мысли».

«Что такое любовь? Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Любовь есть бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику. Мысли эти показались ему утешительны. Но *это были только мысли.* Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне-личное, умственное,— не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул».

Ему снится, что в дверь ломится *оно;* он изо всех сил держит дверь, но усилия напрасны, дверь отворилась. *Оно* вошло, и оно есть *смерть.* Андрей умер — и в то же мгновение проснулся.

Но проснулся другим, чем был раньше. «Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и — по той странной легкости бытия, которую он испытывал,— почти понятное и ощущаемое».

Для князя Андрея началось *«пробуждение от жизни»*. Приезжает княжна Марья с его сыном. Она поспешно подходит к брату, давя рыдания,— и вдруг замедляет шаг, и рыдания замирают. «Уловив выражение его лица и взгляда, она вдруг оробела и почувствовала себя виноватою.

«— Да в чем же я виновата? — спросила она себя.— «В том, что живешь и думаешь о живом, а я!..» — отвечал его холодный, строгий взгляд.

В глубоком, не из себя, а в себя смотревшем взгляде была почти враждебность, когда он медленно оглянул сестру и Наташу.

— Здравствуй, Мари, как это ты добралась? — сказал он голосом таким же ровным и чуждым, каким был его взгляд.

Ежели бы он завизжал отчаянным криком, то этот крик менее бы ужаснул княжну Марью, чем звук этого голоса.

В словах, в тоне его, во взгляде чувствовалась страшная для живого человека отчужденность от всего мирского. Он, видимо, с трудом понимал все живое; но вместе с тем чувствовалось, что он не понимал живого не потому, что он был лишен сил понимания, но потому, что он понимал что-то другое, такое, чего не понимали и не могли понимать живые, и что поглощало его всего».

Просто и равнодушно, с поразительным отсутствием чуткости, он говорит о Наташе, о зарождающейся любви между сестрою и Николаем Ростовым. Совсем так говорила всегда графиня Вера — старшая сестра Наташи: все правильно, верно, неоспоримо, а у всех мысль: к чему это было говорить? «Одно объяснение только могло быть этому,— это то, что князю Андрею было все равно, и все равно от того, что что-то другое, важнейшее, было открыто ему».

Ему сообщают, что Москва сгорела. Он рассеянно отвечает: «Да, сгорела, говорят... Это очень жалко». Подводят сына проститься. Андрей чуть заметно улыбается, с тихой и кроткой насмешкой над тем, что княжна Марья употребляла, по ее мнению, последнее средство для приведения его в чувство. Без радости и нежности целует он сына, смотрит на плачущую сестру и с усилием соображает, что плачет она о том, что Николушка останется без отца.

«Да, им это должно казаться жалко! — подумал он.— А как это просто! «Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но отец ваш питает их!» — сказал он сам себе и хотел то же сказать княжне; но нет, они поймут это по-своему, они не поймут! *Этого они не могут пони-*

мать: что все эти чувства, которыми они дорожат, все наши, все эти мысли, которые кажутся нам так важны, что они н е н у ж - н ы. Мы не можем понимать друг друга!»

Всю свою жизнь князь Андрей ощущал над собою что-то «грозное, вечное, неведомое и далекое». Теперь оно стало ему близко,— но не тем, что спустилось к нему, а тем, что унесло его к себе, в ледяное свое царство, куда не достигнуть ни одному звуку жизни.

Вечность, бесконечность... При самом большом усилии воображения способны ли мы во всем объеме охватить жуткий для жизни смысл этих понятий?

Вот мировое пространство. В нем мириады пылинок-солнц. Вокруг каждого солнца свои миры. Их больше, чем песчинок в пустыне. Века, как миги. То на той, то на другой песчинке жизнь вспыхнет, подержится миг-вечность и бесследно замрет. На одной крохотной такой песчинке движение. Что это там? Какая-то кипит борьба. Из-за чего? Вечность-миг,— и движение прекратилось, и планета-песчинка замерзла. Не все ли равно, за что шла борьба!

Все в жизни одинаково ничтожно, жалко и ненужно с точки зрения вечности. Трагедия Прометея, трагедия Гракха, трагедия земляного червя, окруженного муравьями,— все равноценно в своем ничтожестве. Скорбным клочком мутного тумана колеблется над могилою тень похороненного бойца.

Помню я толпу без счета,
Ряд ступеней, столб, топор..
Умирать я шел за что-то,
Но за что,— забыл с тех пор

И понятно, что всегдашний клич всех ненавистников жизни, всех больных и падающих,— один и тот же:

«Sub specie aeterni!»

Князь Андрей умер. Смерть его распахнула перед Наташею двери в вечность. Вместе с княжной Марьей «они, нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни». Все, что шло из жизни, «все казалось оскорблением и нарушало ту необходимую тишину, в которой они обе старались прислушиваться к незамолкшему еще в их воображении страшному, строгому хору, и мешало вглядываться в те таинственные, бесконечные дали, которые на мгновение открылись перед ними».

«Наташе все казалось, что она вот-вот сейчас поймет, проникнет то, на что с страшным, непосильным ей вопросом устремлен был ее душевный взгляд. Она смотрела туда, куда ушел он, на ту сторону жизни. И та сторона жизни, о которой она прежде

никогда не думала, которая прежде казалась ей такою далекою, невероятною, теперь была ей ближе и роднее, понятнее, чем эта сторона жизни, в которой все было или пустота и разрушение, или страдание и оскорбление».

Все близкие становятся для Наташи чуждыми. «Она не только была равнодушна, но враждебно смотрела на них». Безвыходно она сидит в своей комнате.

«Где он, и кто он теперь? И опять все застилалось сухим, жестким недоумением. И вот, вот, ей казалось, она проникает тайну»...

Но вдруг в комнату вбегает испуганная Дуняша, зовет ее поскорее к отцу: «несчастье... О Петре Ильиче... Письмо»...

Совсем как умирающий князь Андрей, Наташа брезгливо думает: «Какое там у них несчастие, какое может быть несчастие».

В зале она встречает рыдающего отца, узнает, что Петя убит.

«Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услышав из-за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе».

Наташа бросается к обезумевшей матери, ласкает ее, твердит бессмысленные ласкательные слова и через слова эти льет в душу матери любовь и жизнь.

Два дня Наташа не отходила от нее. «Любовь Наташи, упорная, терпеливая, *не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни,* всякую секунду как будто со всех сторон обнимала графиню... Три недели Наташа безвыходно жила при матери, и никто не мог ее заменить: она одна могла удерживать мать от безумного отчаяния.

Эта новая рана вызвала Наташу к жизни. Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни — любовь — еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь».

Но эта любовь — не та любовь, которая открылась князю Андрею,— «любовь вечная, свободная, не зависящая от этой жизни». Когда проснулась *та* любовь,— жизнь умерла. Проснулась *эта* любовь, проснулась и жизнь.

2) Бесконечность и Пьер

Параллельно с историей исканий князя Андрея в романе идет история исканий Пьера Безухова. Параллелизм этот не случаен. Именно в нем скрыта глубочайшая идея самого великого из творений Толстого.

Начинает Пьер с тех же вопросов, которыми мучается князь Андрей. «Что дурно? Что хорошо?.. Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем? — спрашивал он себя. И не было ответа ни на один из этих вопросов, кроме одного не логического ответа вовсе не на эти вопросы. Ответ этот был: «умрешь — все кончится». Смерть все кончит и должна прийти нынче или завтра,— все равно через мгновение, в сравнении с вечностью».

Временное удовлетворение Пьер находит в масонстве, но вскоре и в нем разочаровывается. Жизнь стоит перед ним в ужасе своей пустоты и бесцельности. Все люди чувствуют бессознательно этот ужас, и жизнь их заключается в одном,— в *«спасении от жизни»:* «все спасаются от жизни, кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто политикой, кто вином. Нет ни ничтожного, ни важного, все — равно: только бы спастись от нее, как умею! — думал Пьер.— Только бы не видеть ее, эту страшную ее» (смерть).

Накануне Бородинского сражения Пьер, выехав из Можайска, спускается пешком с крутой горы. Навстречу ему поднимается обоз с ранеными, сзади с песнями его нагоняет кавалерийский полк. «Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера».

Кругом, как вода в огромном котле, кипит жизнь с ее весельем, готовностью к борьбе, ужасами. А среди этой жизни — человек в белой шляпе, с вечным вопросом: «из-за чего хлопочут люди, когда все так кратко и неизвестно?»

«Пьер смотрел то на кавалерийский полк, то на телегу, на которой сидели двое раненых и лежал один, и ему казалось, что тут, в них, заключается разрешение занимавшего его вопроса... Кавалеристы-песенники проходили над самой телегой.

— Ах, запропала... да ежова голова... Да на чужой стороне живучи...— выделывали они плясовую песню.

Как бы вторя им, но в другом роде веселья, перебивались в вышине металлические звуки трезвона. И, еще в другом роде веселья, обливали вершину откоса жаркие лучи солнца. Но под откосом, у телеги с ранеными, было сыро, пасмурно и грустно».

За Можайском Пьер узнает от знакомого доктора, что завтра нужно ждать тысяч двадцать раненых.

«Та странная мысль, что из числа тех тысяч людей, живых, здоровых, молодых и старых, которые с веселым удивлением смотрели на его шляпу, было наверное двадцать тысяч обреченных на раны и смерть (может быть, те самые, которых он видел),— поразила Пьера.

Они, может быть, умрут завтра; зачем они думают о чем-нибудь другом, кроме смерти? И ему вдруг, по какой-то тайной связи

мыслей, живо представился спуск с можайской горы, телеги с ранеными, трезвон, косые лучи солнца и песня кавалеристов.

Кавалеристы идут на сражение и встречают раненых, и ни на минуту не задумываются над тем, что их ждет, а идут мимо и подмигивают раненым. А из этих всех двадцать тысяч обречены на смерть, а они удивляются на мою шляпу. Странно,— думал Пьер».

Еще бы не странно. Где тут, действительно, логика? Что это за непонятное уму «забвение смерти»?

Но как могли про смерть они забыть?

Про смерть не помнят. Перед лицом ужаса и смерти только ярче и торжественнее горит в них жизнь, только теснее все сливаются в одно. На лице раненого вспыхивает выражение сознания торжественности наступающей минуты, он говорит Пьеру: «Всем народом навалиться хотят; одно слово — Москва». О том же говорят Пьеру лица мужиков-ополченцев, с громким говором и хохотом копающих траншеи. И с тем же выражением, давя друг друга, топчась, пыхтя и толкаясь, со взволнованными лицами лезут солдаты прикладываться к чудотворной иконе. Все живут одною общею, объединенною, торжественною жизнью. И непонятным становится не «забвение смерти», а как раз обратное — чудовищная «логика». Пьера и le dernier jour d'un condamné, тускло унылые мысли князя Андрея в сарае: «Умереть... Чтобы меня убили... завтра... Чтобы все это было, а меня бы не было»...

Начинается бой. Перед глазами Пьера растет и развертывается та могучая сила жизни, перед которою в бессильном недоумении стоит сухая логика. На батарее рвутся ядра, падают раненые.

«Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после каждой потери все более и более разгоралось общее оживление... Как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих людей, как бы в отпор совершающегося, молнии скрытого, разгорающегося огня».

Бой в разгаре. «Грозовая туча надвинулась, и ярко на всех лицах горел тот огонь, за разгоранием которого следил Пьер»

После боя Пьер спит на постоялом дворе; в ушах все еще звучат выстрелы, крики.

«Слава богу, что этого нет больше,— подумал Пьер.— О, как ужасен страх, и как позорно я отдался ему! А они... о н и все время до конца были тверды, спокойны... О н и,— эти странные, неведомые ему доселе... Войти в общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит все. *Самое трудное состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего...* Нет, не соединить. Нельзя соединять

мысли, а сопрягать все эти мысли, вот что нужно. Сопрягать,— *ну как сопрягать все?»*

Как все сопрягать? Как можно стремиться к жизни и в то же время не бояться смерти? Как можно вообще любить эту жизнь, которая полна таких мук и ужасов?

Пьер в плену. На его глазах французы расстреляли русских поджигателей. В глазах французов, совершавших казнь, Пьер прочел тот же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце. «Да кто же это делает, наконец?» — спрашивает себя Пьер.

«С той минуты, как Пьер увидел это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в бога. И он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах, и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь — не в его власти».

Пьера помещают в балаган военнопленных. Он знакомится с Платоном Каратаевым. От маленького старика солдата непрерывно лучится радостно-любовная жизнь, и жизнь эта освещает и согревает все вокруг,— от лиловой собачонки, спящей на ногах Каратаева, до самого Пьера, которого он кормит печеными картошками.

«Нет, мне все ничего,— сказал Пьер,— но за что они расстреляли этих несчастных!.. Последний лет двадцати.

— Тц, тц...— сказал маленький человек.— Греха-то, греха-то»...

И поспешно переходит разговором на другое. И во всех разговорах его светится вера в таинственное благообразие жизни, в конечную целесообразность даже ее скорбей.

«— Да теперь все равно,— невольно сказал Пьер.

— Эх, милый человек ты,— возразил Платон.— От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся... Рок головы ищет. А мы все судим: то не хорошо, то не ладно...

Наружи слышались где-то вдалеке плач и крики. Пьер долго не спал, и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте. Он чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, двигался в его душе».

Четыре недели Пьер в плену. Он испытывает с товарищами-солдатами «почти крайние пределы лишений, которые может переносить человек. *И именно в это самое время он получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился*

прежде. Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, что так поразило его в солдатах в Бородинском сражении: он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он искал этого путем мысли,— и все эти искания и попытки, все обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве».

На утренней заре Пьер выходит из балагана, смотрит на далекую Москву, на летящих через поле галок. Когда он ощутил прикосновение свежего воздуха и когда потом вдруг брызнуло светом с востока и — купола, и кресты, и роса, и даль, и река — все заиграло в радостном свете,— *«Пьер почувствовал новое, неиспытанное им чувство радости и крепости жизни.* И чувство это — *готовности на все, нравственной подобранности* — чувство это не только не покидало его во время плена, но, напротив, возрастало в нем по мере того, как увеличивались трудности его положения».

Французы отступают из сожженной Москвы и гонят с собою пленных. Новые ужасы развертываются перед Пьером. Отстающих пленных пристреливают. «Пьер чувствовал, что та роковая сила, которая смяла его во время казни и которая была незаметна во время плена, теперь опять овладела его существованием. *Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни.*

В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, *что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом,* в удовлетворении естественных человеческих потребностей... Но теперь, в эти последние три недели похода, *он узнал еще новую, утешительную истину,— он узнал, что на свете нет ничего страшного.*

Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму.

Он не видел и не слыхал, как пристреливали отсталых пленных, хотя более сотни из них уже погибли таким образом. Он не думал о Каратаеве, который слабел с каждым днем и, очевидно, скоро должен был подвергнуться той же участи. Еще менее Пьер думал о себе. Чем труднее становилось его положение, чем страшнее была будущность, тем независимее от того положения, в котором он находился, приходили ему радостные и успокоительные мысли, воспоминания и представления».

Он идет в толпе пленных под дождем. «Ему казалось, что он ни о чем не думает; но далеко и глубоко где-то что-то важное и утешительное думала его душа. Это что-то было тончайшее духовное извлечение из вчерашнего его разговора с Каратаевым». Каратаев рассказал ему про одного старика купца, безвинно сосланного на каторгу и там умершего. «Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, которая сияла на лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, это-то смутно и радостно наполняло теперь душу Пьера».

А Каратаев, больной и ослабевший, уж не в силах идти. Он знает, что его сейчас пристрелят. «В своей шинельке он сидел, прислонившись к березе. В лице его, кроме выражения вчерашнего радостного умиления при рассказе о безвинном страдании купца, светилось еще выражение тихой торжественности».

На ночном привале Пьер засыпает у костра. Но и во сне душа его думает и подводит итоги пережитому:

«*Жизнь есть все. Жизнь есть бог.* Все перемещается, движется, и это *движение есть бог.* И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. *Любить жизнь — любить бога.* Труднее и блаженнее всего — любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».

Любить жизнь — любить бога... А как раз в это время,— может быть, в эту же ночь,— за несколько сот верст от Пьера лежит в Ярославле князь Андрей, брезгливыми к жизни глазами смотрит на невесту, сына, сестру и, толкуя слова бога о птицах небесных, думает: «Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дорожат, все мысли, которые кажутся так важны,— что они не нужны».

Во сне Пьеру является давно забытый старичок учитель, который в Швейцарии преподавал ему географию. Старичок показывает Пьеру глобус.

«Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие.

— Вот жизнь,— сказал старичок учитель.— В середине бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, и сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез»...

Нам уже знакомо это высшее единство жизни, просветляющее и страдания, и смерть отдельных существ. Об этом высшем единстве говорили слова, звучащие в «Трех смертях» над умершею барыней:

«Сокроешь лицо твое,— смущаются. Возьмешь от них дух,— умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой,— созидаются и обновляют лицо земли».

Партизаны отбивают у французов партию пленных, в которой находится Пьер. Пьер на свободе.

«— Ах, как хорошо, как славно! — говорил он себе.— Как хорошо, как славно!

И по старой привычке он делал себе вопрос: «Ну, а потом что? Что я буду делать?» И тотчас же он отвечал себе: «Ничего. *Буду жить*. Ах, как славно!»

То самое, чем он прежде мучился, чего он искал постоянно, цели жизни — теперь для него не существовало. *Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него только в настоящую минуту, но он чувствовал, что ее нет и не может быть.* Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру,— *не веру в какие-нибудь правила, или слова, или мысли,* но веру в живого, всегда ощущаемого бога».

А мы знаем, что такое теперь для Пьера бог. *Жизнь есть бог.* Не будем спорить о словах.

Erfüll davon dein Herz, so gross es ist,
Und venn du ganz in dem Gefühle selig bist,
Nenn'es dann, wie du willst,
Nenn's Glück! Herz! Liebe! Gott!
Ich habe keinen Namen
Dafür! Gefühl ist alles
Name ist Schall und Rauch,
Umnebelnd Himmelsgluth [1]

Будем же вместе с Пьером жизнь называть богом.

«Прежде Пьер искал бога в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание бога. И вдруг он узнал в своем плену не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством то, что ему давно уже говорила нянюшка: что бог — вот он, тут, везде. Он в плену узнал, что бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами архитектоне вселенной. *Он испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя. Он всю жизнь свою смотрел туда куда-то поверх голов окружающих людей, а надо было не напрягать глаз, а только смотреть перед собой».*

Вспомним, что говорит у Достоевского Версилов про живую жизнь: «Я знаю только, что это должно быть ужасно простое,

---

[1] «До краев наполни этим сердце, и когда ты весь уйдешь в блаженство этого чувства, то называй его тогда, как хочешь,— называй счастьем, сердцем, любовью, богом! У меня для этого нет имени. Чувство — все, имя — звук и дым, заволакивающий сияние неба».— *«Фауст».*

самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтоб оно было так просто, и естественно проходим мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая».

«Пьер,— продолжает Толстой,— не умел видеть прежде великого, непостижимого и бесконечного ни в чем. Он только чувствовал, что оно должно быть где-то, и искал его. *Во всем близком, понятном он видел одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное.* Он вооружался умственной зрительной трубой и смотрел в даль, туда, где это мелкое, житейское, скрываясь в туманной дали, казалось ему великим и бесконечным оттого только, что оно было не ясно видимо... Но и тогда, в те минуты, которые он считал своею слабостью, ум его проникал и в эту даль, и там он видел то же мелкое, житейское, бессмысленное».

Князь Андрей, лежа на аустерлицком поле, думает: «Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его». И когда он умирает, бесконечное небо это делает всю жизнь вокруг мелкою, ничтожною и бессмысленною. Бесконечность, говоря философским языком,— трансцендентна; она — где-то там, далеко от живой жизни, в холодных и пустых высотах.

Пьер же теперь «*выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всем,* и потому естественно, чтобы видеть его, чтобы наслаждаться его созерцанием, он бросил трубку, в которую смотрел до сих пор через головы людей, *и радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь.* И чем ближе он смотрел, тем больше он был спокоен и счастлив».

XVII

БОГ

В 1871 году Толстой писал жене из самарских степей, где он лечился кумысом: «Больнее мне всего за себя то, что я от нездоровья своего чувствую себя одной десятой того, что есть... На все смотрю, как мертвый,— то самое, за что я не любил многих людей. А теперь сам *только вижу, что есть, понимаю, соображаю, но не вижу насквозь с любовью, как прежде».*

Вот в чем для Толстого основное отличие мертвого от живого. Мертвый видит, что есть, понимает, соображает,— и только. Жизнь для него анатомически проста, разрозненна, глаз всю ее видит в одной плоскости, как фотографию; душа равнодушна и безразлична.

Смотрит на ту же жизнь живой,— и взгляд его проникает *насквозь,* и все существо горит любовью. На живой душе Толстого

мы видим, как чудесно и неузнаваемо преображается при этом мир. Простое и понятное становится таинственным, в разрозненном и мелком начинает чуяться что-то единое и огромное; плоская жизнь вдруг бездонно углубляется, уходит своими далями в бесконечность. И стоит душа перед жизнью, охваченная ощущением глубокой, таинственной и священной ее значительности.

Дальше в жизнь, дальше, еще дальше! И перед изумленным взором раскрываются все новые дали, и все ярче они освещены, и уж начинает ощущать человек, что яркий свет этих далей — не от земного солнца, а от какого-то другого, ему неведомого. И под светом этого таинственного солнца равно преображаются и печали людские, и радости.

Старый князь Болконский сообщает дочери известие о гибели Андрея в аустерлицкой битве. «Княжна не упала, с ней не сделалось дурноты. Она была уже бледна, но когда она услыхала эти слова, лицо ее изменилось, и что-то просияло в ее лучистых, прекрасных глазах. Как будто радость, высшая радость, независимая от печалей и радостей этого мира, разлилась сверх той сильной печали, которая была в ней».

Кити рожает. «Левин чувствовал, что то, что совершалось, было подобно тому, что совершалось год тому назад на одре смерти брата Николая. Но то было горе, это была радость. Но и то горе, и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо, при созерцании этого высшего, поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде, и куда рассудок уже не поспевал за нею».

Родившая Кити лежит в постели. «Встретив Левина взглядом, она взглядом притягивала его к себе. Взгляд ее, и так светлый, еще более светлел, по мере того, как он приближался к ней. На ее лице была та самая перемена от земного к неземному, которая бывает на лице покойников: но там прощание, здесь встреча».

До глубочайших своих глубин преобразился мир,— чудесно оживотворенный, весь насквозь пронизанный светом. Свет земной сливается со светом небесным, «тайна земная соприкасается с тайною звездной»,— та земная тайна, которая всегда так мучительно чужда была душе Достоевского.

Когда скрытое существо жизни раскрывается перед душою в *таком* виде, то понятно, что и душа отзывается на него соответственным образом. Николенька Иртеньев рассказывает про себя: «Чем больше я смотрел на высокий, полный месяц, тем истинная красота и благо казались мне выше и выше, чище и чище, и ближе и ближе к Нему, к источнику всего прекрасного и благого,

и слезы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мне на глаза».

Оленин лежит в первобытном лесу, в логове оленя. «И вдруг на него нашло такое странное чувство безграничного счастья и любви ко всему, что он по старой детской привычке стал креститься и благодарить кого-то».

Кого? Бога?.. Как тут неважно слово в сравнении с ощущением той жизни, всеединства и счастья, которые слово это старается охватить!

> Erfüll davon dein Herz, so gross es ist,
> Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,
> Nenn'es dann, wie du willst...

Одно только можно сказать: к такому богу и к такой религии совершенно неприложимы слова Геффдинга о лазарете, подбирающем в походе усталых и раненых,— слова, которые так подходили к религии Достоевского. Скорее вспоминается Ницше: «Кто богат, тот хочет отдавать; гордому народу нужен бог, чтобы приносить жертвы. Религия, при таких предусловиях, есть форма благодарности. Люди благодарны за самих себя: для этого им нужен бог».

Призывать человека к такому богу, напоминать ему о нем — безумно, как безумно говорить горящему факелу: свети! Раз факел горит, он тем самым и светит... И художник Толстой не зовет к богу,— не зовет так же, как не зовет и к добру. Одно, одно и одно он только говорит: *живи!* Будет жизнь — будет добро, будет и бог.

«Жизнь есть все. Жизнь есть бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь — любить бога».

Можно ли представить себе две религии более противоположные, чем религия эта и религия Достоевского?

Жизнь сама по себе, жизнь непосредственная, для Достоевского темна, уродлива и безмерно ужасна. Чем глубже человек идет в нее, тем гуще мрак; и шевелится в этом мраке глухой, темный и немой властитель жизни — огромный, отвратительный тарантул. Прочь от жизни, кверху взоры, простри руки к небу,— и небо разверзнется, и небесный свет осияет темную землю, и понесется по ней исступленная «осанна»,— «громовой вопль восторга серафимов». И злой тарантул исчезнет. Но вправду ли исчезнет? Нет. Он только глубже спрячется в темноту и неподвижно будет смотреть на человека слепым, беспощадным своим взглядом. Снова и снова оборвется под этим взглядом осанна, и снова с содроганием, в неутоленном негодовании своем, просит человек: «Неужели нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело?»

Для Толстого в недрах жизни нет никакого мрака, никаких чудищ и тарантулов. Есть только светлая тайна, которую человек радостно и восторженно старается разгадывать. Не прочь от жизни, а в жизнь — в самую глубь ее, в самые недра! Не с далекого неба спускается бог на темную жизнь. Сама жизнь разверзается, и из ее светлых, таинственных глубин выходит бог. И он неотрывен от жизни, потому что жизнь и бог — это одно и то же. Бог есть жизнь, и жизнь есть бог.

Достоевский говорит: найди бога,— и сама собою придет жизнь. Толстой говорит: найди жизнь,— и сам собою придет бог. Достоевский говорит: отсутствие жизни — от безбожия; Толстой говорит: безбожие — от отсутствия жизни.

Что такое, на самом деле, жизнь, можно ли, видя ее «насквозь», испытывать любовь, или напротив, отвращение и ужас,— каждый решит сам в зависимости от степени своей жизненности. Мы же только отметим здесь один очень характерный эпизод в художественной жизни Достоевского.

Есть у него произведение, которое странно и резко выделяется из всех других. Как будто ясный луч солнца светится средь грозовой тьмы, сверкающей молниями. Произведение это — «Записки из мертвого дома». Существеннейшая особенность их заключается в совершенно необычном для Достоевского тонусе отношения к жизни.

Достоевский вообще «любит» людей. Он все им готов простить, в самых глубоких «безднах падения» способен находить «искру божию». Но что-то шаткое и непрочное ощущается в его порывистой, истерической любви. Лицо пламенного человеколюбца то и дело вспыхивает брезгливою ненавистью, губы злобно подергиваются, глаза начинают подмигивать с нехорошею улыбкою. Еще законнее можно приложить к Достоевскому отзыв Толстого о Тургеневе: «нет человечности и участия к лицам, а представляются уроды, которых он бранит, а не жалеет».

Таков у Достоевского злобно-пасквильный образ великого писателя Кармазинова, с намеренно-прозрачными намеками на Тургенева. Таковы у него повсюду нигилисты и «революционеры» — невероятно глупая и презренно-пошлая сволочь. Таковы, наконец,— *все инородцы*. И это особенно странно видеть именно у Достоевского: он так много говорит о «всечеловечности» русского человека, о его способности и призвании «вместить в свою душу с братскою любовью всех наших братьев». Инородцы Достоевского все сплошь — непроходимо тупы, пошлы, вообще, представляют какую-то низшую расу. Прямо перлами среди них кажутся два старичка доктора из немцев (в «Униженных и оскорбленных»

и «Братьях Карамазовых») — очень глупые, карикатурно-педантические, но, по крайней мере, с добрыми душами. Дальше же нескончаемою вереницею тянутся «гниленькие жидки», «гаденькие полячки», злобные чухонки и немки, поганые француженки. Альфонсинки. Доходит положительно до курьезов. В «Подростке» фигурирует умный, глубокий и интересный Крафт,— и Достоевский отмечает, что он не немец, а русский. Гаденький же и наглый мерзавец Ферфичкин в «Записках из подполья» оказывается — «из русских немцев».

Если мы теперь возьмемся за «Записки из мертвого дома», то получим впечатление, как будто писал их совсем другой человек. Ровным, мягким и любовным светом освещены здесь одинаково все люди; здесь действительно «вмещены в душу с братскою любовью все наши братья». Нет эллина, иудея. Не только кавказцев, не только поляков,— даже «жида» сумел здесь Достоевский с любовью вместить в свою душу. И какого еще жида! Нахального, хвастливого и трусливого ростовщика Исая Фомича. «Блаженнейший и незабвенный Исай Фомич»,— отзывается о нем Достоевский, с мягкою улыбкою вспоминая его незлобливое добродушие и комично-самодовольную хвастливость.

И всюду здесь жизнь, всюду ощущение этой жизни и уважение к ней — *то просто* уважение, которое так высоко ставит Толстой. Мы видели, например, что в чисто художественных произведениях Достоевского совсем нет животных. Если изредка животное и промелькнет, то непременно «противное», «паршивое», «скверное» — бесконечно униженное, с мертвою и мрачною душою. А вот как в «Записках из мертвого дома»:

«— Ишь, в самом деле: скотина, а понимает!

— Молодец Гнедко!

Гнедко мотает головой и фыркает, точно он и в самом деле понимает. И кто-нибудь непременно тут же вынесет ему хлеба с солью. Гнедко ест и опять закивает головою, точно приговаривает: «Знаю я тебя, знаю! И я милая лошадка, и ты хороший человек!»

И много есть животных — собака Шарик, гордый орел с подбитым крылом. Гуси выстраиваются на правом фланге арестантов и торжественно шествуют вместе с ними на работы. Милый козел Васька бодается с лезгином Бабаем и ловким ударом сшибает его с крыльца.

Как объяснить, что «Записки из мертвого дома» так странно и необычно выделяются из остальных произведений Достоевского? Я могу объяснить только одним. Здесь задачею художника было описать действительно виденное и пережитое, эта задача все время держала его близко к жизни, не давала ему уйти в мрачные глубины его духа, чтоб там соответственно претворить жизнь.

И вот — подошла вплотную к живой жизни даже такая угрюмо отъединенная душа,— и ясная, строгая правда этой жизни осияла душу. Недаром выше всех произведений Достоевского Толстой ставил именно «Записки из мертвого дома». Они, естественно, должны быть всего ближе живой душе Толстого.

XVIII

«НЕ Я, НО ВЫ УВИДИТЕ УЖЕ ЛУЧШУЮ ЗЕМЛЮ»

Знакомство с Каратаевым научило Пьера Безухова, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом и что на свете нет ничего страшного.

Сам Каратаев, действительно, глубоко счастлив — тихим, крепким счастьем, несмотря на все ужасы и скорби жизни.

«Жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла, как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал». Это-то ощущение единства с целым и делает Каратаева способным любить жизнь в самой «безвинности ее страданий», смотреть в лицо смерти с «радостным умилением и тихою торжественностью». Жизнь для него полна таинственной гармонии. «В его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия... Больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтобы уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали».

Во всем он находит это благообразие, подчеркивает его для себя; а на то, где благообразия нет, бессознательно закрывает глаза. Француз заказал Каратаеву сшить ему рубаху и требует оставшихся обрезков, но потом, устыдившись, возвращает обрезки Каратаеву.

«Вот поди ты,— сказал Каратаев, покачивая головой.— Говорят — нехристи, а тоже душа есть. Сам голый, а вот отдал же».

Когда же Пьер рассказывает ему о расстреле поджигателей, Каратаев качает головою, говорит: «Греха-то, греха-то!» — и поскорее переводит разговор на другое.

Есть в Платоне Каратаеве один из элементов жизни, составляющих необходимейшую ее часть. Кто готов принять жизнь лишь под условием устранения из нее ужасов и страданий,— тот никогда не сможет принять жизни. Всегда в жизни будут и ужасы, и страдания, никогда жизнь не скажет человеку: «Вот, страдание устранено из мира,— теперь живи!» Жив только тот, кто силою своей жизненности стоит выше ужасов и страданий, для кого «на свете нет ничего страшного», для кого мир прекрасен,

несмотря на его ужасы, страдания и противоречия. И как бы будущее ни было светло, принять его сумеет только тот, кто умеет принимать настоящее.

Но в таком жизнеприятии есть один чрезвычайно опасный уклон; попасть на него легко. Если жизнь прекрасна и благообразна, если прекрасна она даже в «безвинности ее страданий»,— то зачем добывать лучшую жизнь? Отчего с тихою радостностью не принимать ее такою, какая она есть?

На этом уклоне Каратаев и стоит. Деятельное вмешательство в жизнь, борьба за ее улучшение глубоко чужды его душевному строю.

Пьер разговаривает с женою об основанном им тайном обществе, о необходимости «тем, которые любят добро, взяться рука с рукою, и пусть будет одно знамя: *деятельная добродетель*».

«— Ты знаешь, о чем я думаю? — сказала Наташа: — о Платоне Каратаеве. Как он? Одобрил бы тебя теперь?

— Платон Каратаев... Он — не понял бы; а впрочем, может быть, что да... Нет, не одобрил бы! — сказал Пьер, подумав.— Что он одобрил бы, это нашу семейную жизнь. *Он так желал видеть во всем благообразие, счастье, спокойствие*»...

На этом же уклоне немалое время стоял и сам Толстой. Он тоже слишком желал видеть во всем благообразие и счастье. Чтоб удержать это благообразие, он бессознательно старался обманывать себя и закрывал глаза на многие темные стороны жизни. В «Первой ступени» Толстой делает характерное признание: «Когда я писал романы, то тогда для меня необъяснимое затруднение, в котором я находился, заключалось в том, чтобы изобразить тип светского человека идеально хороший, добрый и вместе с тем такой, который был бы верен действительности».

Еще характернее один полемический эпизод по поводу «Войны и мира». Толстого упрекали, что в его романе «недостаточно определен характер времени», не чувствуется, например, ужасов крепостного права. Толстой решительно возражает, что все эти ужасы — закладывание жен в стены, сечение взрослых сыновей, Салтычиха и т. п.— лишь единичные случаи. Об этих выступающих случаях мы узнаем из преданий, записок, повестей и решаем, что таков был преобладающий характер того времени. Но это совсем неверно. В общем, ужасов тогда было ничуть не больше, чем теперь или когда-либо.

Но вот самый обычный для того времени, повседневный эпизод. Мы узнаем о нем из черновых автобиографических заметок самого же Толстого.

«Отец мой в двадцать лет уже был не невинным юношей, а еще до поступления на военную службу, лет шестнадцати, был соединен родителями, как думали тогда, для его здоровья, с дворо-

вой девушкой. От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почтальоны и который при жизни отца жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал, когда этот, впавший в нищенство, брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10—15 рублей, которые давали ему».

Известно, что в «Войне и мире» под именем графа Николая Ильича Ростова выведен отец Толстого, граф Николай Ильич Толстой. В начале романа мы знакомимся с Ростовым как раз в то время, когда Николаю около шестнадцати лет и он только собирается вступить на военную службу. В гостиной сидят «большие» и чопорно разговаривают. Вдруг с бурною волною смеха и веселья врывается молодежь — Наташа и Соня, Борис и Николай. Мила и трогательна их детская, чистая влюбленность друг в друга.

«После того, как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез»,— графиня-мать, между прочим, говорит со вздохом:

«Все боишься, все боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей... Но я знаю, что Николенька, по своему пылкому характеру, ежели будет шалить *(мальчику нельзя без этого)*, то все не так, как эти петербургские господа».

И щекотливой этой темы Толстой больше не касается. Николай объясняется с огорченною, ревнующею кошечкою-Сонею, целует ее. Все так чисто, так светло, трогательно и «благообразно». Но мы знаем теперь: вечером заботливая мать приведет в спальню сына крепостную девушку с испуганными, неподвижными глазами, строго-настрого прикажет ей не противиться ласкам барчука. «Мальчику нельзя без этого». И где тогда весь тот светлый, радостно-чистый мир, в котором живет молодежь Ростовых.

Вот Стива Облонский. Человек он грешный, думает только о плотских удовольствиях; но чувствуется, что для художника он гораздо ближе и приемлемее, чем, например, самоотверженная Варенька или умный, корректный Кознышев. Ближе потому, что в Стиве есть жизнь, которой нет в тех, что весь он переполнен весельем и радостью жизни. Всех, с кем он встречается, он заражает неодолимою своею жизнерадостностью. «Степана Аркадьевича не только любили все за его добрый, веселый нрав и несомненную честность, но в нем, в его красивой, светлой наружности, было что-то физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним».

У Стивы — «чрезвычайная снисходительность к людям, основанная на сознании своих недостатков». Он «совершенно ровно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были». «Море добродушного веселья всегда

волновалось в душе Степана Аркадьевича». Неприятности и недоразумения скатываются с его души, не проникая вглубь, как вода с куска сливочного масла. «Все люди, все человеки, как и мы грешные: из чего злиться и ссориться?» — думает он.

Каренин приехал в Москву. Стива зовет его к себе обедать; он ничего еще не знает о семейной драме Карениных.

«Я не могу быть,— холодно, стоя и не сажая гостя, сказал Алексей Александрович.

Алексей Александрович думал тотчас стать в те холодные отношения, в которых он должен был быть с братом жены, против которой он начинал дело развода; но он не рассчитывал на то море добродушия, которое выливалось из берегов в душе Степана Аркадьевича... И Алексей Александрович почувствовал, что слова его не имели того действия, которое он ожидал, и что, какие бы ни были его объяснения, отношения его к шурину останутся те же».

Объяснение происходит, и Каренин едет-таки обедать к тому, с кем «должен быть» в холодных отношениях.

В том разнообразии, которым именно и прекрасна живая жизнь, имел бы свое место и Стива Облонский. Но уже чувствуется в окружающей его атмосфере что-то такое, что мешает нам принять его. В «Войне и мире» воздух вокруг героев кажется чистым и ясным; лишь собственными побочными изысканиями мы можем установить, что автор, подобно Платону Каратаеву, не хочет смотреть на то, что нарушает благообразие жизни. В «Анне Карениной» уж не то. Художник все еще старается удержаться на своей позиции, старается видеть гармонию в наличном мире. Но в глубине его души, пока еще несознаваемо для него самого,— беспокойство и смятение. Взявшись неизвестно откуда, по светлому миру скользят темные, оскорбляющие глаз тени. Помимо воли художника, в милом ему Левине проступает отталкивающий кулак-мещанин, поэзия его жизни с Кити, как сальными пятнами, загаживается мещанством. Левин старается оправдать себя, подыскать благородные основания для своей жизни; он говорит Стиве: «Нет, если бы это было несправедливо, я бы не мог пользоваться этими благами. Мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват». Но, глядя со стороны, мы видим, что он уже *чувствует себя виноватым* и что прав его умирающий брат, жестко говорящий ему: «Просто, тебе хочется показать, что ты не просто эксплуатируешь мужиков, а с идеей».

То же и относительно Стивы. Ничего не делающий начальник какого-то ненужного присутствия, законный член бездельного мира, на который сыпятся земные блага в виде мест, аренд и концессий,— он сидит на жизни как красивый чужеядный гриб. И мы видим, мы все время ощущаем эту его чужеядность, и из-за

нее совершенно неспособны почувствовать, как прекрасен, как *толстовски*-прекрасен он сам по себе. А между тем он прекрасен,— стоит его только представить себе в *других условиях жизни.* Будь это не князь Степан Аркадьевич Облонский, а, например, фабричный Степка Облонский! — и что это был бы за милый покоряющий образ! Пил бы он не шампанское, а казенку, путался бы не с балеринами и француженками, а с слободскими девицами,— грешный и забубенный носитель неодолимой радости жизни, всех кругом захлестывающий бушующим в нем морем добродушного, всепрощающего веселья.

Художественным своим аппаратом Толстой и раньше захватывал зло жизни, попадающееся ему на глаза. Поликушка вешается на перемете. Скорбная, неподступная мужицкая жизнь проходит перед глазами помещика-благодетеля. Богачи туристы наслаждаются пением нищего певца, а потом, не заплатив ему, над ним же смеются. Но все это, подобно «ужасам крепостного права», было для Толстого чем-то отдельным, случайным, исключительным. Настолько исключительным, что, например, поступок богачей туристов заслуживал опубликования на весь мир. Читатель помнит эту публикацию. *«7 июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергофом странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни. Около ста человек слушали его»* и т. д. Негодующим курсивом Толстой излагает происшедшее и предлагает желающим «исследовать» факт, справиться по газетам, кто были иностранцы, занимавшие Швейцергоф 7 июля. Ястреб задрал на глазах ребенка воробья. И ребенок целую неделю всем готов рассказывать об этом ужасном, небывалом в мире событии и удивляться равнодушию слушателей.

Но слишком велика в Толстом и слишком в то же время честна жажда гармонии, чтобы долго видеть в зле мира ряд отдельных случайностей. Постепенно все больше раскрываются детски-серьезные, вглядывающиеся глаза художника. Жизнь может быть безмерно прекрасна, люди могут быть захватывающе счастливы,— это он знает и чувствует крепко, «всем существом своим, жизнью». А вот — жизнь исковеркана до самого основания, люди жалки и несчастны. И тот, кто раньше обличал случайную кучку богачей туристов, примостившихся на балконе уродливого здания жизни, теперь всею силою своею бьет в самый фундамент здания, пишет «Воскресение», «не может молчать» и на весь мир кричит, что в уродство и грязь превращена священная жизнь, что нельзя людям мириться с таким кощунством.

Он видит, как люди устраивают себе внешне красивую, легкую, беструдовую жизнь, и видит, как миллионы других людей

принуждаются работать за них и на них, отрывая себя от всех радостей жизни. И люди, ослепленные привычкою, не замечают этой преступной нелепицы, думают, что иначе и не может быть.

«Как они все уверены,— и те, которые работают, так же как и те, которые заставляют их работать, что это так и-должно быть, что в то время, как дома их брюхатые бабы работают непосильную работу, и дети их, в скуфеечках, перед скорой голодной смертью, старчески улыбаются, суча ножками, им должно строить этот глупый, ненужный дом какому-то глупому и ненужному человеку, одному из тех самых, которые разоряют и грабят их».

Нужный для жизни, благородный, возвышающий душу труд заменяется бессмысленной работой на доставление всяческих удобств и радостей ненужным, оторвавшимся от жизни людям. «Собрались и пируют. Народу больше нечего делать, как пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях и ездят извозчиками».

И теперь, с широко раскрывшимися глазами, Толстой уже не сможет так легко, как прежде, видеть во всем благообразие. Тот же жизнерадостный, неистощимо добродушный Стива Облонский вызовет в нем только гадливый трепет. «Как их много, как ужасно их много и какие они сытые, какие у них чистые рубашки, руки, как хорошо начищены у всех сапоги, и кто это все делает?»

Тяжелые железные цепи наложены на свободную жизнь. Разнообразнейшие сложные учреждения плотно опутывают ее, въедаются в ее нежное, светлое существо. Учреждения эти отдают одних людей во власть другим, охраняют счастливых от несчастных, вносят в жизнь разъединение, страдания и неправду. Но они присвоили себе звучные, священные имена и требуют, чтобы люди служили им, видели в них цель и смысл жизни И в непонятном ослеплении люди верят обману, старательно работают над тем, что уродует и разрушает их жизнь, и не видят, как ничтожно и внутренне смешно их дело, снаружи такое важное и серьезное.

«Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди — не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира божия, данная для блага всех существ,— красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом. Так в конторе губернской тюрьмы считалось священным и важным не то, что всем животным и людям даны умиление и радость весны, а считалось священным и важным то, что накануне получена была за номером бумага».

Жизнь изуродована, исковеркана, загрязнена. А она, в свою очередь, уродует и грязнит людей. Судят молодого парня за

кражу со взломом. Толстой рассказывает его жизнь. «Ведь очевидно, что мальчик этот не какой-то особенный злодей, а самый обыкновенный (это видят все) человек, и что стал он тем, что есть, только потому, что находился в таких условиях, которые порождают таких людей. И потому, кажется, ясно, что для того, чтобы не было таких мальчиков, нужно постараться уничтожить те условия, при которых образуются такие несчастные существа».

Но врагам жизни невыгодно такое понимание зла. И, святотатственно облыгая жизнь, они утверждают, что развращенность людей истекает из самой их природы. «Узнав ближе тюрьмы и этапы, Нехлюдов увидел, что все те пороки, которые развиваются между арестантами: пьянство, игра, жестокость и все те страшные преступления, совершаемые острожниками, и самое людоедство — не суть случайности или явления вырождения, преступного типа, уродства, как это, на руку правительствам, толкуют тупые ученые, а есть неизбежное последствие непонятного заблуждения о том, что люди могут наказывать других. Нехлюдов видел, что людоедство начинается не в тайге, а в министерствах, комитетах и департаментах, и заключается только в тайге».

И без конца гибнут всюду люди,— люди, созданные для счастья, полные таких прекрасных, светлых возможностей.

В статье «Жизнь в городе» Толстой рассказывает историю одной больной прачки. Она задолжала в ночлежной квартире шестьдесят копеек; по жалобе хозяйки, городовой «с саблей и пистолетом на красном шнурке» выселил ее из квартиры. Весь день прачка просидела около церкви, а вечером воротилась к дому, упала и умерла. Толстой пошел на ее квартиру.

«Деревья Нескучного сада синели через реку; порыжевшие воробьи так и бросались в глаза своим весельем; люди как будто тоже хотели быть веселы, но у них у всех было слишком много работы». Покойница уже лежала в гробу. «Я взглянул на нее. Все покойники хороши, но эта была особенно хороша и трогательна в своем гробу: чистое, бледное лицо с закрытыми выпуклыми глазами, с ввалившимися щеками и русыми мягкими волосами над высоким лбом; лицо усталое, доброе и не грустное, но удивленное. И в самом деле, если живые не видят, то мертвые удивляются».

Но есть и живые, которые видят. Это — те, в ком Достоевский усматривал «бесов» жизни, на кого неистово сыпал исступленные свои клеветы и ядовитые насмешки.

Нехлюдов знакомится в тюрьме с революционером Крыльцовым. Крыльцов рассказывает ему, как за случайные сношения с революционерами он попал в тюрьму, и как там, почти на его глазах, повесили двух людей; люди эти попались с польскими проклама-

циями и были присуждены к виселице за попытку освободиться от конвоя, когда их вели на вокзал. «Розовский, очевидно, не в силах был понять того, что его ожидало, и, будто торопясь, пошел, почти побежал, впереди всех по коридору. Но потом он уперся,— я слышал его пронзительный голос и плач. Началась возня, топот ног. Он пронзительно визжал и плакал. Потом дальше и дальше,— зазвенела дверь коридора, и все затихло... Да. Так и повесили. Веревками, задушили обоих. Сторож видел и рассказывал мне, что Лозинский не противился, но Розовский долго бился, так что его втащили на эшафот и силой вложили ему голову в петлю. Да. Сторож этот был глуповатый малый. «Мне говорили, барин, что страшно. А ничего не страшно. Как повисли они,— только два раза так плечами,— он показал, как судорожно поднялись и опустились плечи.— Потом палач подернул, чтобы, значит, петли затянулись получше, и шабаш: и не дрогнули больше. Ничего не страшно»,— повторил Крыльцов слова сторожа и хотел улыбнуться, но вместо улыбки разрыдался.

Долго после этого он молчал, тяжело дыша и глотая подступавшие к его горлу рыдания.

— С тех пор я сделался революционером. Да».

Теперь у Крыльцова чахотка. «В тех условиях, в которых он находился, ему, очевидно, осталось едва несколько месяцев жизни, и он знал это и не раскаивался в том, что он делал, а говорил, что, если б у него была другая жизнь, он ее употребил бы на то же самое, на разрушение того порядка вещей, при котором возможно было то, что он видел».

В практических путях к разрушению этого порядка вещей Толстой резко расходится с Крыльцовым. И это понятно. У Крыльцовых нет детской веры Толстого в изначальную святость человеческой души. Там, где Толстой считает нужным напоминать о жалости к себе и о добре, Крыльцовы считают нужным бороться. Толстого отталкивает от Крыльцовых ненависть, которою они полны; в Крыльцовых раздражение и насмешку вызывает вера Толстого в силу непротивящегося добра и любви. Но объединяет их и его главное — глубокое, неистовое отрицание «лика мира сего», неспособность примириться с ним, светлая вера в то, что гармония жизни доступна человеку и что она может быть, должна быть добыта.

Тенеромо приводит рассказ одного студента, как он с товарищами встречал на харьковском вокзале больного Льва Николаевича, когда его везли в Крым. Софья Андреевна поручила рассказчику принести для Льва Николаевича из буфета чашку кофе.

«Толстой лежал на диване головой к окну и подпирал рукой свою светившуюся, как мне казалось, лучистую, большую голову. Он улыбнулся глазами и приподнялся. И, принимая левой рукой у меня чашку, он правую подал мне и поздоровался. Меня охватило

никогда не испытанное волнение. Я почувствовал спазмы в горле, нагнулся к его руке и приложился губами. И чувствую, как он притягивает к себе мою голову и тоже целует ее.

— Вы передайте своим друзьям,— произнес он,— что хотел бы теперь многое сказать им. Но не могу сейчас. Время гонений скоро минет. Страна вздохнет... Не я, но вы увидите уже лучшую землю...

Я выбежал из вагона.

— Он приветствует вас! — крикнул я товарищам.

И сотни голосов загремели:

— Ура!

Многие чувствовали, что «ура» неподходящий возглас, и слышно было, как кое-где этот возглас заменялся другим:

— Слава духу!»

В отношении Толстого к злу жизни есть одна поразительная особенность, которая резко выделяет его из сонма обычных обличителей жизни. Для большинства их жизнь — это черная, глубокая пропасть; в ней из века в век бьется и мучается страдалец-человечество; зло давит его мрачною, непроглядною тучею, кругом бури, отвесные скалы, мрак и только где-то

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна.

В этой блаженной стране далекого будущего, там будет свет, радость, жизнь. Слабый отблеск золотого света чуть мреет в высоте, сквозь разрыв черных туманов. Рвись из пропасти, пробивай в скалах трудную дорогу вверх, верь в блаженную страну; мреющий золотой отблеск будет светить тебе сквозь мрак и бурю, даст тебе силы к жизни и борьбе.

Еще плотнее и несвержимее лежит над жизнью зло для Достоевского. Мечты об устроении жизни вызывают в нем только ядовитые насмешки. «Тогда выстроится хрустальный дворец,— иронизирует подпольный человек.— Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, никак нельзя гарантировать, что тогда не будет, например, ужасно скучно, зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Скверно то, что, чего доброго, и золотым булавкам тогда обрадуешься»,— булавкам, которые царица Клеопатра для развлечения втыкала в груди невольниц. «Не потому ли человек так любит разрушение и хаос, что *сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание?* Может быть, он здание-то любит только издали, и отнюдь не вблизи; может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом aux animaux

domestigues, как-то: муравьям, баранам и проч., и проч.». Как ни устраивай жизнь, этим для Достоевского ничего не изменишь: основное зло лежит не во внешней жизни, а в самом человеке. Над ним царит «таинственная и роковая неизбежность зла». «Никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следственно и от виновности и преступности. Зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, ни в каком устройстве общества не избегнете зла; ненормальность и грех исходит из самой души человеческой». Это Достоевский пишет в своей статье об «Анне Карениной», и это, по его мнению, ясно и понятно, до очевидности показывает... странно даже выговорить: Толстой!

Зло для Толстого, конечно, не таково. Оно для него не гнилая проказа, насквозь разъевшая неисцелимо больного, и не черная также туча, на долгие века закрывшая свет жизни от страдальца. На прекрасной земле — прекрасное, созданное для счастья человечество. Вокруг него — непроходящий свет и трепет радостной жизни. Жизнь эта со всех сторон окружает человека, надвигается на него, зовет к себе, хлещет в душу бурными потоками кипучей радости и счастья. А человек, в безумном каком-то помрачении, отворачивает глаза от света, строит вокруг себя какие-то стены и перестенки, опутывает себя веревками. Сбросить веревки, разметать преступные, разъединяющие стены,— и жизнь широко распахнется перед человеком в вечной, неисчерпаемой радости своего бытия.

«Не я, но вы увидите уже лучшую землю...»

Один из современных сынов Достоевского, поместившийся под знаком «вечности», пишет: «Над бездной всеобщего и окончательного небытия хотят позитивисты устроить жизнь, облегчить существование, ослабить страдания этого малого, короткого, узкого, призрачного в своей бессмысленности бытия. Веселые позитивисты, поющие хвалу жизни, должны понимать жизнь как «пир во время чумы»... Только опустошенные, плоские, лакейски-самодовольные души не чувствуют ужаса этой «чумы» и невозможности этого «пира».

Но вот другой современный писатель. По настроению, по темпераменту, по «верности земле» он — прямая противоположность первому. И вот что мы от него слышали в его гимне человеку:

«Иду, чтобы сгореть как можно ярче, и глубже осветить тьму жизни. *И гибель для меня — моя награда. Иных наград не нужно для меня.* Я вижу: власть — постыдна и скучна, богатство — тяжело и глупо, а слава — предрассудок, возникший из неумения людей ценить самих себя и рабской их привычки унижаться».

Награда в борьбе — гибель? Гибель, а не победа? Гибель, и иных наград ему не нужно? Очевидно, процесс борьбы обратился для него в цель, а обратился потому, что подлинная цель самого его ужасает своею пустотою и бессодержательностью.

Один брюзгливо ругается и пренебрежительно пожимает плечами: устроить жизнь, облегчить существование, ослабить страдания этого малого, бессмысленного бытия... Другой, пряча от себя пустоту цели, говорит: гибель для меня — моя награда, иных наград не нужно для меня.

Как и то, и другое чуждо духу Толстого! Подобно Пьеру, он крепко знает,— не умом, а всем существом своим, жизнью,— что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом и что на свете нет ничего страшного, никакой «чумы». «Пьер чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни». И если раньше эта сила жизни, лукавя перед собою, отодвигала для Толстого в тень уродства и ужасы жизни, то теперь та же сила, *по-прежнему не давая раздавить себя,* с естественною последовательностью направляется именно на эти самые уродства и ужасы. И цель ее — конечно, не «облегчить существование и ослабить страдания», цель — дать волю неиссякаемым источникам жизни и счастья, скрыто таящимся в человеческой душе. И награда этой силе — уж, конечно, не собственная ее гибель, а победа — победа широкая, окончательная, не боящаяся своего торжества, потому что сила эта хорошо знает, за что борется.

Настоящее сливается с будущим. Жизнь человечества — это не темная яма, из которой оно выберется в отдаленном будущем. Это — светлая, солнечная дорога, поднимающаяся все выше и выше к источнику жизни, света и целостного общения с миром.

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ

Трудно во всемирной литературе найти двух художников, у которых отношение к жизни было бы до такой степени противоположно, как у Толстого и у Достоевского; может быть, столь же еще противоположны друг другу Гомер и греческие трагики. Но они были отделены друг от друга веками. Гомеровский грек в негодующем недоумении пожал бы плечами, слушая стенания трагического хора, такого безудержного в отчаянии и такого бездейственного, такого умеренного в жизненной своей философии. Для грека трагической поры Гомер был уже не более, как «литературой». Здесь же, по поразительной, почти невероятной игре случая, на одном и том же поприще, с равною силою гения, сошлись два сверстника и соплеменника. И видеть их рядом более странно, чем было бы видеть рощу пальм бок о бок с полярным ледником, сверкающее солнце в черной глубине ночного неба.

Вводит нас в жизнь Достоевский. Перед нами жуткая, безгласная пустота, как будто из века еще не знавшая света,— та домировая пустота и тьма, о которой библия говорит: «земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною». И средь пустоты этой, в муках недовершенности, дергаются и корчатся странные, темные, одинокие существа, которым имя — люди. Жизнь каждого только в нем самом, все силы ушли в глубь души, на стремление согласовать и соединить то, что внутри. А соединить невозможно, потому что там — хаотическая замесь сил, лишь механически сплетшихся друг с другом,—

Non bene junctarum discordia semina rerum.
Связанных плохо вещей враждебные только зачатки.

Силы эти яростно борются, душат друг друга, одна поднимется, другая сейчас же ее опрокинет; все ползут врозь. Добро подсекается злом, зло добром, любовь поедается ненавистью, ненависть любовью; тоска по гармонии опрокидывается болезненно-судорожными порывами к хаосу; отвращение к жизни давится страхом смерти, стремление к смерти — исступленною любовью к жизни. И ум растерянно крутится над этой мешаниной, старается умственным, логическим путем создать хоть какое-нибудь единство, «идеей» обуздать ползущие врозь силы. Лишенный непосредственного ощущения жизни и счастья, он пытается собственными силами сознать жизнь, изобрести счастье. Но ничего не удается, и в безмерных муках душа снова и снова распадается на несоединимые, разрозненные силы.

И в неотвратимой неизбежности этих мук человек находит, наконец, своеобразный выход: броситься навстречу мукам, целиком отдаться им, растереть душу смертными противоречиями. В этом — сладко пронзающее душу сладострастие, грозная радость, темная, как кровь. Человеку открывается красота и счастье страдания, он начинает любить скорбь и жаждать мучения. И через скорбь он познает основную истину жизни — истину о высшем, трагическом призвании человека. Как победное знамя, высоко возносит свою истину обезумевший от страданий человек и с дергающеюся улыбкою насмешки и презрения смотрит вдаль: там видится ему что-то серенькое, пошленькое и убого-самодовольное, что зовется гармонией, счастьем и что пригодно только «aux animaux domestigues».

Не там обетованная земля человечества, не в этой серенькой дали. «Царство божие внутри нас». Только еще усилить страдания, еще больше раскачать душевный хаос — горячкою, эпилептическою аурою, безмерностью мук — и темная пустота вдруг вспыхнет ослепляющим светом. Человек отвержется себя, расторгнет давящие грани своей личности и в вихре экстаза опрокинется в радост-

но сверкающий молниями хаос, принимая его за сияющий космос, за «высшую гармонию». И вот совершается чудо. Мир преобразился. Нет разъединения, нет мрака, нет ужасов, нет неподвижности. Все живет кипуче и радостно, все едино — огромным, стихийным, божественным единством, которого не постичь сознанию, замкнутому в своих гранях. Всей жизни можно сказать: «да, это правда!» Все оправдано одним этим мигом, «длящимся, как вечность». И в человеческом восторге сливается душа с единою первосущностью мира и из глубочайших глубин своих запевает «трагический гимн богу, у которого радость». А для жизни,— для жалкой, темной жизни,— что можно для нее сделать? «Закройте ваши питейные дома, если не можете всех, то хоть два или три». Это для настоящего. А для будущего: «бедный, видя смирение богатого, поймет и уступит ему».

И против Достоевского — Толстой. Светлый и ясный, как дитя, идет он через жизнь и знать не хочет никакого трагизма. Душа тесно сливается с радостною жизнью мира. Всюду вокруг эта близкая, родная душа, единая жизнь,— в людях, в животных, даже в растениях,— «веселы были растения»,— даже в самой земле: «земля живет несомненною, живою, теплою жизнью, как и все мы, взятые от земли». Не разумом, не умственным путем познает Толстой это единство, а проникновением другого рода, несравненно более полным и глубоким, чем проникновения разума. И в чудесном этом единении бледнеет, как-то странно теряет свою жгучую важность ряд вопросов, тяжко мучающих душу Достоевского,— вопросов о бессмертии, о боге. Сохранится ли в веках личное сознание человека после смерти, или единая жизнь сознала себя на миг в его жизни, а дальше будет сознавать себя в жизни других? Важно ли это, когда сознано само единство жизни? Важны ли храмы, когда вся жизнь есть один огромный, священный храм? Важно ли понятие «бог», когда в насущном, живом и беспрерывном единении душа молитвенно сливается с целым вселенной?

И не нужно человеку для этого единения отказываться от своего «я». Это «я» не давит его, не ужасает, не заставляет обращаться к небу с отчаянным воплем Бодлэра:

> Ah, Seigneur! Donnez moi la force et le courage
> De contempler mon coeur et mon corps sans degout!
> Боже! Дай мне силы и мужество
> Без отвращенья смотреть на мое сердце и мое тело!

Только сбросив с себя проклятую свою оболочку, в экстазе «исступив из себя», обезличившись, человек Достоевского способен слиться с миром, как капля, растворяясь, сливается с водою океана. Но зачем отрекаться от своего «я» толстовскому человеку, когда это «я» так певуче, светло и радостно? Зачем «исступать из себя», когда, и оставаясь собою, человек чувствует себя частью

единого? Живой клетке организма нет нужды распадаться и растворяться, чтоб стать частицею единого организма,— напротив, она тогда только и будет живою его частью, когда останется в то же время обособленною от него, останется сама собою.

И крепко, всей душою, всем существом своим Толстой знает, что человек сотворен для *счастья,* что человек может и должен быть прекрасен и счастлив на земле. Достоевский этого не знает. Не знает, кажется, и никто из нас. «Счастье»... Всем нам чуется в нем что-то, приличествующее только «aux animaux domestigues». Тот самый, «верный земле» современный писатель, который высшею наградою в борьбе считает собственную гибель, пишет: «Одно я знаю,— не к счастью нужно стремиться, зачем счастье? Не в счастье смысл жизни, и довольством собою не будет удовлетворен человек,— он все-таки выше этого».

Может быть, наибольшая упадочность человеческого рода сказывается именно в этой поразительной неспособности его даже представить себе какое-нибудь счастье. «Лучше быть несчастным человеком, чем счастливой свиньей». Мы так усвоили этот миллевский афоризм, что не можем мыслить счастье иначе, как в качестве предиката к свинье, и, выговаривая слова афоризма, понимаем под ними другое: «Лучше быть несчастным человеком, чем счастливым... *человеком*».

Вся красота, вся жизнь для нас, все достоинство — в страдании. Бессмертные песни спело человечество во славу страдания, вознесло его на такую высоту, что дух радостно бьется и тянется ему навстречу. К счастью же человек недоверчив и стыдлив. Он тайно берет его маленькими порциями для своего личного, домашнего обихода и стыдится счастья, как секретной болезни, и действительно превратил его в секретную болезнь, потерял способность *достойно* нести счастье.

Благословлять губительные стрелы
И проклинать живящие лучи,—
Вот страшные и тесные пределы.
К иным путям затеряны ключи...
Отравленной стрелы вонзилось жало,—
Лобзай ее пернатые края...

Да что это — безумие больного человечества? Кошмарный бред, от которого нужно очнуться и расхохотаться? Ведь даже борясь за будущее, мы в душе все как будто боимся чего-то. Сами неспособные на радость, столь далекие от нее, опасливо уже задаем себе вопросы: не окажется ли счастье и радость синонимом *статики?* Не тем ли так и прекрасно будущее, что оно... никогда не придет? (Ибсен). Как прав Моррис! «Старый, жалкий мир с его изношенными радостями и с надеждами, похожими на опасения!..»

Высшее, до чего способна подняться наша фантазия, лишенная жизненного инстинкта и чаяния гармонии, это — трагический человек. Но если не суждено человечеству окончательно выродиться, то оно поймет когда-нибудь, что смысл его существования — не в трагическом преодолении жизни, а в бестрагичном, гармоническом слиянии с нею. Основою же этой бестрагичной гармонии может быть только одно — *сила жизни,* та сила жизни, которая поборет всякую трагедию, для которой «на свете нет ничего страшного». Этою силою жизни несокрушимо крепок был Гомер. Ее требовал от человека прекраснейший из эллинских богов, действенный, солнечно-светлый Аполлон, бог жизни и счастья. Этой-то силы требует от человека и Лев Толстой.

Трудно себе представить живого человека, у которого могла бы лежать душа одновременно к Достоевскому и Толстому. Мне кажется, на это способен только «любитель литературы», для кого глубочайшие искания и нахождения человеческого духа — лишь предмет эстетических эмоций. Всякий, конечно, «отдаст должное» гению обоих. Но кому дорог Толстой, тому чужд будет Достоевский; кому близок Достоевский, тот равнодушен будет к Толстому. Всегда будет два враждебных стана, никогда одни не поймут других, всегда будут упрекать их в поверхностном понимании или даже в намеренном непонимании учителя. И иначе не может быть: вместить и Достоевского, и Толстого невозможно — так полно и решительно исключают они друг друга, так враждебно для одного все то, что дорого для другого.

Но тем чудеснее и поразительнее одно обстоятельство: третьего ноября смешной человек вдруг увидел сон.

Сон третьего ноября

Мало кто из читателей знаком с рассказом Достоевского «Сон смешного человека». Рассказ помещен в «Дневнике писателя» и теряется среди нудных рассуждений о том, что Константинополь непременно должен быть наш и что отличие России от европейских держав заключается во всегдашнем ее бескорыстии в политике.

А между тем рассказ этот поистине поразителен. В нем Достоевский как бы подводит итог самому себе, приходит в ужас от этого страшного итога,— и душе вдруг открывается что-то совершенно новое.

Герой рассказа — обычный для Достоевского одинокий человек, обычный дьяволов подвижник, отчасти даже человекобог,

в некотором роде достигший кирилловского идеала. Он решил убить себя, и вот почему:

«Меня постигло убеждение в том, что на свете везде в с е р а в н о. Я вдруг почувствовал, что мне в с е р а в н о было бы, существовал ли бы мир, или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что н и ч е г о п р и м н е н е б ы л о. И прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их... И добро бы я разрешил вопросы; о, ни одного не разрешил, а сколько их было? Но мне стало в с е р а в н о, и вопросы все удалились».

В мрачный и дождливый осенний вечер он возвращается домой. В темноте к нему подбегает испуганная девочка, в ужасе что-то кричит, просит о помощи, тянет его куда-то. Но ему теперь — «все равно». А для героев Достоевского «все равно» или «все позволено» значит лишь одно: «ломай себя, а обязательно будь зол». В душе смешному человеку жалко девочку, но он, конечно, грозно топает ногами и прогоняет ее.

Возвратившись к себе, он принимается за обычное извлечение квадратного корня. «Ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка, и какое мне тогда дело и до стыда и до всего на свете? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что, дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то т е п е р ь м о г у, потому что через два часа все угаснет. Мир теперь как бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня». Следует обычный вопрос: если сделать пакость на Марсе или на луне, то, очутившись на земле, буду ли я чувствовать, что мне в с е р а в н о?

С револьвером в руках смешной человек засыпает и видит сон.

«Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но неужели не все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне истину? Ведь если раз узнал истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она истина, и другой нет и не может быть. Ну, и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой,— о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь! Слушайте»...

Ему снится, что он убивает себя — и в могиле вдруг оживает. «А, стало быть, есть и за гробом жизнь! И если надо б ы т ь снова и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!»

«Темное и неизвестное существо» поднимает смешного человека и мчит сквозь межзвездные пространства. Перед ним открывает-

ся другая солнечная система, совсем как наша. Он узнает на одной из звездочек очертания Европы.

«Есть ли мучение на этой новой земле? — спрашивает смешной человек.— На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить. Я хочу, я жажду, в сию минуту, целовать, обливаясь слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной».

Дух опускает смешного человека на эту новую землю, в местности, соответствующей у нас греческому архипелагу.

«И, наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Дети солнца, дети своего солнца,— о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой... Я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле. Они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена... И я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу, на животных и на звезды. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих, и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с целым вселенной... Иных песен их, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им, безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившей подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего...

Знаете ли, я скажу вам секрет: все это, быть может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что *я развратил их всех!* Как это могло совершиться, не знаю, не помню ясно. Как скверная трихина, как атом чумы, я заразил собою всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюби-

ли ложь. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость... Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и *полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что истина достигается лишь мучением...* Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то наивны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Но странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, *они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желаниями сердца своего, как дети,* обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же «желанию», *в то же время вполне веруя в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая и поклоняясь ему.* (Сердечное «веселие» и благообразие старцев Макара Ивановича и отца Зосимы?) И, однако, если бы только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если бы кто вдруг им показал его вновь и спросил их: хотят ли они возвратиться к нему, то *они наверно бы отказались.* Они отвечали мне: «пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы з н а е м это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязуем себя и наказываем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. *Знание выше чувства, сознание жизни — выше жизни. Знание законов счастья — выше счастья».* (Психологические лаборатории «извлекателей квадратного корня»?) Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех... Чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве (Кириллов?). Наконец, эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что *страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль.* (Порфирий Раскольникову: «Не смейтесь над этим, в страдании есть идея!») Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними... Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один. Но они лишь смеялись надо мной. Они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть».

Вот этот сон. Я изложил его очень подробно, потому что с удивительною яркостью он подводит итог самым заветным думам и настроениям Достоевского. Автор как бы намеренно собирает их здесь все воедино,—

Чтоб произнесть им приговор
Последний, страшный и бесславный

«О, теперь жизни и жизни! — пишет смешной человек, проснувшись.— Я поднял руки и воззвал к вечной истине: не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь! Я иду проповедывать, я хочу проповедывать,— что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу».

В судорожном усилии человек на миг выкарабкался из мрачного своего подполья,— и увидел яркое солнце, увидел истину жизни.

«Потому, что я видел истину, *я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей.* И как мне не веровать: я видел истину,— не то что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не мог поверить, чтоб ее не могло быть у людей...»

Но ведь в этом — весь Толстой, весь целиком! У него видели мы эту истину, и «живой образ ее наполнил наши души». Разница только та, что прекрасные люди с земли-двойника куда более *скучно*-счастливы, чем люди с нашей земли у Толстого.

Кончается рассказ тоже совсем по-толстовски: «*И как это просто;* в один бы день, в один бы час — все бы сразу устроилось! Главное — люби других, как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо; тотчас найдешь, как устроиться».

Разве же это так просто? Для Толстого — да, просто. Но для Достоевского... Ведь счастливые люди с земли-двойника, они как раз любили друг друга, как себя. «Была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая». Однако довольно было появиться одной единственной «трихине» — и вся жизнь сразу оказалась отравленной и разрушенной. А защититься от одной вползающей трихины легче, чем уничтожить трихин, когда ими кишит вся жизнь.

Если в понимании человека прав Толстой, то дело, действительно, просто: нужно только вызвать на свет ту *силу жизни,* которая бесчисленными ключами бьет в недрах человечества. Но если прав Достоевский,— а самый факт существования его показывает, что, по крайней мере, до известной степени прав он,— то дело очень и очень не просто. В мертвых и бесплодных недрах человечества только чуть сочатся вялые струйки жизни, ничего из этих недр не вызовешь. Силу жизни человечеству предстоит еще *добывать.* А это — задача огромная и безмерно трудная.

Москва. Гелуан (Египет).
Калужск губ. 1909—1910.

«АПОЛЛОН И ДИОНИС»
(О Ницше)

I

«РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ»

В книге своей «О рождении трагедии» молодой Ницше воскресил из греческой старины колоссальные образы двух главных эллинских божеств — Аполлона и Диониса. Образы эти удивительно ярко и полно воплощают два полярно противоположных жизнеощущения, которыми живет человечество и которые непрестанно борются друг с другом на протяжении всей его истории. Вот почему книга, написанная, казалось бы, на такую узкую, только для специалистов интересную тему — «О рождении эллинской трагедии из духа музыки»,— стала книгою, которую должен знать всякий образованный человек.

Восстановим в общих чертах образы двух этих эллинских божеств, как их понимал Ницше.

Грек ранней стадии эллинской истории, грек гомеровский, воспринимал жизнь по-аполлоновски: он смотрел на блестящий мир явлений, на то, что индусы называют обманчивым покрывалом Маии, и принимал его за подлинную жизнь. Мир этот он мыслил во множественности, в формах времени и пространств,— в том, что Шопенгауэр называет principium individuationis. «В этой форме,— говорит Шопенгауэр,— человек видит не существо вещей, которое едино, а только его проявления,— особенные, раздельные, бесчисленные, многоразличные, даже противоположные». Человека с таким жизнеотношением Ницше, вслед за Шопенгауэром, уподобляет пловцу средь бурно ревущего моря. Беспредельное море, бушуя и воя, вздымает и опускает водяные горы, а пловец спокойно сидит в лодке, доверяясь утлому своему суденышку, не чувствуя ужаса от бушующей кругом беспредельности. Так посреди мира мучений спокойно живет в своей отдельности человек, доверчиво опираясь на principium individuationis, на восприятие жизни в формах времени и пространства: безграничный мир, всюду исполненный страдания, в бесконечном прошедшем, в бесконечном будущем, ему чужд, даже кажется ему фантазией; действительно для него только одно — узкое настоящее, ближайшие цели, замкнутые горизонты.

В этой иллюзии держит человека Аполлон. Он — бог «обманчивого» реального мира. Околдованный чарами солнечного бога, человек видит в жизни радость, гармонию, красоту, не чувствует

окружающих бездн и ужасов. Страдание индивидуума Аполлон побеждает светозарным прославлением *вечности явления.* Скорбь *вылыгается* из черт природы. Охваченный аполлоновскою иллюзией, человек слеп к скорби и страданию вселенной.

И вот в это царство душевной гармонии и светлой жизнерадостности вдруг врывается новый, неведомый гомеровскому человеку бог — варварский, дикий Дионис. Буйным исступлением зажигает он уравновешенные души и во главе неистовствующих, экстатических толп совершает свое победное шествие по всей Греции.

Бог страдающий, вечно растерзываемый и вечно воскресающий, Дионис символизирует «истинную» сущность жизни. Жизнь есть проявление божества страдающего. Создавая миры, божество освобождается от гнета избытка и преизбытка, от страдания теснящихся в нем контрастов. Вселенная есть вечно изменяющееся, вечно новое видение этого величайшего страдальца, исполненного контрастов и противоречий. Истинно существует только это первоединое, изначальное, наджизненное бытие; оно — вне всякого явления и до всякого явления. Явление же есть только уподобление (знаменитый Гетевский стих: «Все преходящее — только подобье»).

Взор, однажды проникший в сокровенную «истину» жизни, уже не в состоянии тешиться обманчивым покрывалом Маии, блеском и радостью призрачного реального мира. Он теперь видит ужасы и скорби жизни, видит мир раздробленным, растерзанным; видит и первопричину мирового страдания — principium in dividuationis, расчленение первоначального, единого Существа на отъединенные, несогласимые между собою «явления». В пределах прежнего жизнепонимания для человека нет уже возможности согласить чудовищные противоречия жизни, покрыть их каким-либо единством. Смысл жизни теряется. Однажды царю Мидасу, после больших усилий, удалось поймать в лесу мудрого Силена, спутника Диониса. Царь спросил его, в чем высшее счастье человека. Демон упорно отмалчивался, наконец, дико расхохотался и ответил:

— Злополучный, однодневный род, дети случая и нужды! Зачем заставляешь ты меня сказать то, чего самое лучшее для тебя не слышать? Высшее счастье тебе совершенно недоступно: *не родиться, не быть вовсе, быть ничем.* Второе же, что тебе остается,— скоро умереть.

Вот — безотрадная истина, подготовляющая человека к восприятию таинственной высшей истины бога-страдальца.

Дионис касается души человеческой, замершей в чудовищном ужасе перед раскрывшеюся бездною. И душа преображается. В священном, оргийном безумии человек «исходит из себя», впадает в исступление, в экстаз. Грани личности исчезают, и душе открывается свободный путь к сокровеннейшему зерну вещей,

к первоединому бытию. Это состояние блаженного восторга мы всего яснее можем себе представить по аналогии с опьянением. Либо под влиянием наркотического напитка, либо при могучем, радостно проникающем всю природу приближении весны в человеке просыпаются те дионисические чувствования, в подъеме которых его «я» исчезает до полного самозабвения. Этого «я» уже нет,— нет множественности, нет пространства и времени, все — где-то далеко внизу. Об этом именно состоянии говорит у Достоевского Кириллов: «Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда!»

Под чарами Диониса каждый чувствует себя не только соединенным, примиренным, слитым со своим ближним, но единым с ним; сама отчужденная природа снова празднует праздник примирения со своим блудным сыном — человеком — и принимает его в свое лоно. Все слилось в одном огромном мистическом единстве. В человеке теперь звучит нечто сверхприродное: он чувствует себя богом, он шествует теперь, восторженный и возвышенный; он разучился ходить и говорить, и готов в пляске взлететь в воздушные выси. Человек стал в собственных глазах как бы художественным произведением: словно огромная творческая сила природы проявляется здесь, в трепете опьянения, для доставления высшего блаженного удовлетворения Первоединому.

Таким образом, Дионис, точно так же, как Аполлон, убеждает нас в вечной радостности бытия; *только эту радостность нам надлежит искать не в явлении, а позади явлений.* Мы познаем, что все возникающее должно быть готово к горестной погибели, мы заглядываем в ужасы личного существования — и тем не менее не приходим в отчаяние: метафизическое утешение моментально вырывает нас из суетной сферы переменчивых явлений. Мы действительно становимся на краткие мгновения самим Первосущим и чувствуем его неукротимое желание и жажду бытия: борьба, мучение, уничтожение явления кажутся нам теперь необходимыми при этом избытке бесчисленных, врывающихся в жизнь форм бытия, при этой чрезмерной плодовитости мировой Воли. Мы как бы слились воедино с безмерною, изначальною мировою радостью и в дионисовском восхищении чувствуем неразрушимость и вечность этой радости. Несмотря на страх и сострадание, несмотря на жестокость мировой Воли, мы все же — счастливо-живущие, но не как индивидуумы, а как единое Живое, с желаниями которого мы слились.

Ницше хорошо видел опасность, которую несет для жизни его радостный Дионис. Для дионисического человека резкою пропастью отделяются друг от друга мир повседневной действительности и мир действительности дионисовской. Как только повседневная действительность снова вступает в сознание, она, как таковая, принимается с отвращением. Голое воспоминание о пережитом

ощущении единства с Первосущим не в силах нейтрализовать страданий человека в мире явлений. Человек теперь видит повсюду абсурды и ужасы бытия, чувствует душою страшную мудрость лесного бога Силена. «Ему становится тошно», им овладевает волеотрицательное настроение: он познал — и действовать стало ему противно. Для чего снова укреплять расшатанный мир? Человек ничего не в состоянии изменить в существе вещей.

Действительно, при каждом значительном распространении дионисовских возбуждений всегда замечается, что дионисовское освобождение от оков личности прежде всего дает о себе знать умалением политических и общественных инстинктов, доходящим до равнодушия и даже до враждебного отношения к ним. Из области оргиазма,— говорит Ницше,— для народа есть только один путь,— путь к индийскому буддизму; чтоб вообще быть выносимым с его влечением в Ничто, буддизм нуждается в этих редких состояниях экстаза с их подъемом над временем, пространством и индивидуальностью. А эти экстатические состояния, в свою очередь, требуют философии, учащей побеждать силою представления неописуемую безотрадность промежуточных состояний.

Однако дионисическому эллину не грозила опасность впасть в буддийское отрицание воли. Острым своим взглядом он видел страшное, разрушительное действие всемирной истории, видел жестокость природы, ощущал всю истинность мудрости лесного бога Силена — и тем не менее умел жить глубоко и радостно. Его спасала красота.

В сущности, та же красота спасала для жизни и додионисовского, гомеровского эллина. Когда ворвался в Грецию Дионис, уравновешенный с виду аполлоновский эллин смотрел на него с великим удивлением. Но к удивлению этому все больше примешивался ужас: сознание все сильнее говорило гомеровскому эллину, что дионисовское понимание жизни вовсе не так уже чуждо и ему самому. Он начинал чувствовать, что его бытие со всею красотою и ограничением покоится на скрытой подпочве страдания и познания, что его аполлоновское отношение к жизни, подобно покрывалу, только скрывает от него ясно им чуемую дионисову истину жизни.

Ницше вносит теперь значительную поправку в прежнюю картину отношения гомеровского эллина к жизни. Древний эллин,— говорит он,— всегда знал и испытывал страхи и ужасы бытия, ему всегда была близка страшная мудрость лесного бога Силена. Как,— спрашивает Ницше,— согласуется светлый мир Аполлона и остальных олимпийских божеств с этою зловещею мудростью? Так же, как восхитительные видения истязуемого мученика — с его страданиями. Чтоб вообще быть в состоянии жить, эллин должен был заслонить себя от ужасов бытия промежуточным художест-

венным миром — лучезарными призраками олимпийцев. Та «гармония» древнего эллина, на которую мы смотрим с такою завистью, вовсе не была простою цельностью и уравновешенностью духа. В этой гармонии мы должны видеть высшее действие аполлоновской культуры, которая, при помощи мощных и радостных иллюзий, вышла победительницей над страшною глубиною миросозерцания и над крайне восприимчивым чувством страдания. Гармония аполлоновского грека обусловливалась полнотою погружения в красоту иллюзии, она — цветок, выросший из мрачной пропасти, победа, одержанная эллинскою волею, посредством отражения своей красоты, над страданием и мудростью своей.

Этот целебный обман Аполлона спасал для жизни грека гомеровского. Позднейшего, дионисического грека спасала т р а г е д и я. В ней взаимодействие дионисовой «истины» и аполлоновой «иллюзии» достигло наибольшей глубины и гармоничности.

Но как же может трагедия вести к утверждению жизни? Ведь страдания трагического героя иллюстрируют все ту же безотрадную Силенову мудрость; трагедии великих трагиков, Эсхила и Софокла, кончаются гибелью героев и самым, казалось бы, безнадежным отрицанием жизни. Почему же трагедия не вселяет в нас отчаяния, а как раз напротив — очищает душу и примиряет с жизнью? Как может безобразное и дисгармоничное, составляющее содержание трагического мифа, каким бы то ни было образом примирять с жизнью? Достигается это тою таинственной силою, которая скрыта в искусстве,— силою, которая жизненный ужас претворяет в красоту и делает его предметом нашего эстетического наслаждения.

Удивительно глубоко, смело и оригинально Ницше рисует тот сложный душевный процесс, который, по его мнению, переживался эллином при созерцании трагедии.

В хоре трагедии, и особенно в ее музыке (кстати сказать, нам совершенно неизвестной), свободно проявлялась вся безмерность дионисовской скорби, радости и отчаяния. Эта музыка, разверзающая перед нами вихревые бездны дионисовской стихии, сама по себе заставила бы нас задохнуться от ужаса и пасть бездыханными. Но тут внезапно приходит Аполлон и несет с собою целебный бальзам благодатного художественного обмана в виде образа трагического героя. Мы созерцаем страдания и гибель Прометея или Эдипа, и это созерцание вырывает нас из нашего оргиастического самоуничтожения; частная картина мук гибнущего героя заслоняет от нас общность того, что нас заставила почувствовать дионисическая музыка: там, где прежде мы как бы слышали глухие вздохи из самого средоточия бытия, где, казалось, мы должны были погибнуть в судорожном напряжении всех чувств, и лишь немногое еще связывало нас с этим существованием,— там мы теперь видим

и слышим только страдания и стоны данных героев — Прометеев, Эдипов. Однако рядом с этим мы все время чувствуем, что эти пластические образы героев — лишь символическая картина, что за ними плещется необъятная дионисова стихия и говорит нам о высшей радости, к которой подготовляется трагический герой,— но не своими победами, а своею гибелью. Мы чувствуем всю отраду аполлоновской иллюзии и созерцания и, вместе с тем, отрицаем эту отраду и получаем еще более высокое удовлетворение от уничтожения видимого, кажущегося мира. Мы убеждаемся, что даже безобразное и дисгармоническое в жизни есть только художественная игра, которую Воля, в вечном избытке своей радости, ведет сама с собою,— игра созидания и разрушения индивидуального мира. Жизнь творится великим Художником, и конечная цель его творчества — красота. Для этой красоты одинаково необходимы радость и горе, добро и зло, свет и мрак. Перед нами раскрывается край, где в радостных аккордах замирает всякий диссонанс, тонет страшная картина мира и оправдывается существование даже нашего «худшего из миров».

Человек,— заключает Ницше,— это диссонанс в человеческом образе. Для возможности жить этому диссонансу требуется прекрасная иллюзия, облекающая покровом красоты его собственное существо. Бытие и мир являются оправданными лишь в качестве эстетического феномена.

В книге своей Ницше все время говорит о дионисовой «истине» и аполлоновом «обмане». Сами эллины никогда, однако, не смотрели на Аполлона как на бога «светлой кажимости» и «обманчивой иллюзии», в образе его нет ни единой черты, которая бы говорила о заранее предрешенной иллюзорности воплощаемого им жизнеотношения. Для эллинов как Аполлон, так и Дионис одинаково были живыми религиозными реальностями, каждый из них воплощал совершенно определенный тип религиозного отношения к жизни. Противополагать «истину» Диониса «обману» Аполлона может только убежденный приверженец Диониса. Мы будем осторожнее. Что есть истина? Тот бог, который царит в душе человека, для него и есть истина жизни. Жизнь же сама в себе нам недоступна.

Аполлон не будет для нас божеством, набрасывающим на истину блестящий покров «иллюзии», Дионис не будет божеством, сбрасывающим этот светлый, обманчивый покров с «истины». И тот, и другой бог будут для нас лишь фактами различного религиозного отношения к жизни.

Познакомимся же с обоими помимо Ницше, исследуем, каково было отношение к жизни у эллина аполлоновского и у эллина дионисовского, что такое представляли из себя боги Аполлон

и Дионис. По времени своего царствования над душами эллинов Аполлон предшествовал Дионису. Рассмотрим сначала и мы аполлоновский тип отношения к жизни, как он выражается в поэмах Гомера и лирике Архилоха, с одной стороны, в самом образе Аполлона — с другой.

II

СВЯЩЕННАЯ ЖИЗНЬ

Года три назад я был в Греции. Наш пароход отошел от Смирны, обогнул остров Хиос и шел через Архипелаг к Аттике. Солнце село, над морем лежали тихие, жемчужно-серые сумерки. В теплой дымке медленно вздымались и опускались тяжелые массы воды. Пароход резал волны, в обеденном зале ярко горели электрические огни, в салоне играли Шопена. Я стоял на палубе и жадно, взволнованно смотрел вдаль.

Вдруг, в нескольких саженях от борта, над волнами мелькнуло какое-то темное существо — изогнулось и бесшумно исчезло в воде. Я отчетливо различил длинное, блестящее, черное человеческое тело с рыбьим хвостом. Это был - Тритон... Да, не дельфин, а Тритон. В том волнении радости и ожидания, которое было в душе, я ясно увидел *его* — таинственного, темного бога морских пучин. И странный, необычный трепет пробежал по душе: он здесь! Мудрый, божественный сын Амфитриты, он, чья вещая речь звучит в смутном говоре волн,— он здесь, всего в нескольких саженях от меня. Вот опять мелькнул в воздухе темным своим телом и нырнул в волны. И море кругом вдруг стало другим — серьезным, священно-таинственным, таящим в недрах своих бога. И в мертвом говоре волн послышалась речь живая и значительная. И все кругом стало другим.

Утром в далекой дымке открылись бурые, пустынные берега Аттики, на юге синели под солнцем благородные очертания пелопоннесских гор. И я уже с другим настроением смотрел на прекрасную страну, медленно выраставшую из лазурной дали. Я чуял теперь не жившую там когда-то *красоту,* а что-то совсем другое.

Это настроение уже не покидало меня и в самой Греции. Все время во мне жило чувство, которое я испытал, когда в волнах Эгейского моря увидел живого Тритона... Отпечатки козьих копыт у ручья. Кто это был здесь? Вислоухие греческие козы с толстоногими козлятами пили воду, или веселые забияки-сатиры спускались сюда утром вон из той рощи?

Кажется, девичий громкий вблизи мне послышался голос
Что это,— нимфы ль играют, владелицы гор крутоглавых,
Влажных, душистых лугов и истоков речных потаенных?
Или достиг, наконец, я жилища людей говорящих?

(*Одисс* VI. 122—125).

Едем с проводником на ослах по горной тропинке. Ухнуло что-то в горах, где-то что-то откликнулось и покатилось раскатами. Камень ли это сорвался в ущелье, или увенчанный хвойным венком Пан дико крикнул с лесистой вершины, и ему откликнулась шаловливая нимфа?

Мне ясно стало, что ведь подобные вопросы каждую минуту *вправду* мелькали в голове древнего обитателя здешних мест. Для него вправду всюду кругом дышала таинственная, невидимая, но ясно им ощущаемая жизнь. В деревьях скрывались Дриады, Мелии и Кариатиды, на перекрестке дороги стоял благостный Гермес-Энодий, розоперстая, вечно бодрая Эос-Заря окропляла росою пробуждавшуюся от сна землю, и увенчанная фиалками Афродита внимала молитвам влюбленной девушки. Вся жизнь вокруг была священна и божественна.

В стихотворении своем «Боги Греции» Шиллер горько тоскует и печалуется о «красоте», ушедшей из мира вместе с эллинами. «Тогда волшебный покров поэзии любовно обвивался еще вокруг истины,— говорит он, совсем в одно слово с Ницше.— Тогда только прекрасное было священным... Где теперь, как утверждают наши мудрецы, лишь бездушно вращается огненный шар,— там в тихом величии правил тогда своей золотой колесницей Гелиос... Рабски служит теперь закону тяжести обезбоженная природа».

Мне раньше нравилось это стихотворение. Теперь я почувствовал, как чудовищно неверно, как фальшиво передает оно жизнеощущение древнего эллина. Вовсе он не обвивал истины священным покровом поэзии, не населял «пустой» земли прекрасными образами. Земля для него была полна жизни и красоты, жизнь была прекрасна и божественна,— не покров жизни, а жизнь сама. И не потому она была прекрасна и божественна, что

На горах мелькали Ореады,
И Дриада в дереве жила.

Вовсе нет! Божественно прекрасные Ореады и Дриады именно потому и наполняли мир, что сам мир был для эллина прекрасен и божествен. Только выражением переполнявшей душу эллина жизни и были его прекрасные боги. И если бы мудрецы объяснили ему, что по небу движется не Гелиос, а «бездушно вращающийся шар» это не сделало бы для него мир пустым. И если бы он узнал, что природа «рабски повинуется закону тяжести»,— она для него от этого не обезбожилась бы. Потому что неискоренимо крепко было в душе эллина основное чувствование живой жизни мира.

Перечитайте Гомера, откиньте всех богов, которых он выводит. Вы увидите, что, помимо них, божественная стихия священной жизни насквозь проникает гомеровы поэмы,— так проникает, что выделить ее из поэм совершенно невозможно. Ко всему, что вокруг,

человек охвачен глубоко религиозным благоговением,— тем *просто* уважением, которое так восхищает Толстого. Все для человека полно торжественной значительности.—

Все,— и излучины длинных дорог, и залив меж стенами
Гладких утесов, и темные сени дерев черноглавых

«Божественное море», «священные реки». «Святые долины», «священные города». Люди веют хлеб на «святых гумнах»; жаря на вертеле мясо, посыпают его «божественною солью»; кушанье готовят из «святого ячменя». Божественны «священный день», «священные сумерки»; божественна «бессмертная ночь», и сам Зевс страшится оскорбить ее, отыскивая ослушников под ее покровом. Люди — «благородные», «божественные», «богоравные»,— и не только цари и герои, но даже рабы-свинопасы; и не только друзья, но и враги,— «божественный Гектор», «богоподобный Парис». Свято основное существо человека — сила. И, вместо того, чтобы сказать: «Телемах», «Алкиной», Гомер говорит: Телемахова сила святая, Алкиноева сила святая. В более ранней священной поэзии это выражение — «сила святая» — прилагалось к богам. Гомер переносит его на людей.

Только тогда, когда мы почувствуем это основное, из душевных глубин идущее отношение древнего эллина к жизни,— тогда только нам станет понятна и его религия. Для нас станет очевидным, что не светлые его боги создавали в эллине описанное выше жизнеощущение, а, наоборот, само это жизнеощущение непрерывно рождало из себя богов. И в гомеровых поэмах мы живо ощущаем ту еще бесформенно-священную стихию, из которой как бы на наших глазах формируются боги. Амвросийная Ночь, розоперстая Заря-Эос — богини ли уже это, или только еще смутные олицетворения? Кто такая Необходимость (Ананке) — богиня или отвлечение? Вот перед нами уж совершенно бесформенная священность — домашний очаг (histia). Люди клянутся «гистией», поминают ее рядом с Зевсом, «высочайшим и лучшим из богов». Но это не богиня, это именно только священный домашний очаг. И лишь у последующих поэтов — у Гесиода и у автора гимна к Афродите — это бесформенное священное нечто формируется в богиню Гистию или Гестию (римск. Веста) — «целомудренную деву», дочь Крона и Реи.

Еще и еще раз: нет, не правы были Шиллер и Ницше, утверждая, что древний эллин радостно-светлым покровом поэзии обвивал темную, скорбную истину. Истина стояла перед ним без всякого покрова, и она сама, в подлиннейшей своей сущности, была для него божественно-светла и божественно-радостна

Но как может быть жизнь светла и радостна, когда в ней столько ужасов и скорбей? Возможно ли, чтоб человек не видел этих ужасов?

Нечего говорить, что для древнего эллина мир вовсе не был так идиллически благополучен, так неизменно ласков, как рисует Шиллер. Если бы это было так, то мы имели бы перед собою очень мало интересную религию блаженных идиотов, одинаково радостно улыбающихся на ласку и удары, на счастье и скорбь.

Шиллер восхищается:

Этот лавр о помощи молился,
Дочь Тантала в камне том молчит...

Но ведь в лавр была превращена нимфа, спасавшаяся от грубого насилия бога. В камень превратилась дочь Тантала Ниоба от безмерной скорби по убитым богами детям. Для верующего эллина это были не красивые легенды, украшавшие природу, это был самый подлинный ужас.

Несомненно, ужасы, скорби и несправедливости жизни тонко и остро чувствовались гомеровским эллином. Все сильное, прекрасное и героическое обречено у Гомера на печальный конец. Большинство героев Троянской войны гибнет либо под стенами Трои, либо по взятии ее, либо при возвращении домой. Грубо и самовластно вмешиваются боги в человеческую жизнь, портят ее и уродуют. В бедах людских виноваты не сами люди, а это вмешательство высших сил, мало доступных человеческому воздействию. Не было бы ни странствий Одиссея, ни самой Троянской войны, если бы боги оставили людей в покое и с жестоким равнодушием не пользовались ими для своих целей. А выше беспомощных людей и самовластных богов стоит слепой, могучий и беспощадный Рок, и все совершается так, как он заранее постановит. Понимание жизни — самое черное и безнадежное.

Действительно, попробуем прочесть гомеровы поэмы не как интересный «памятник литературы»,— попробуем поверить в то, во что верит Гомер, попробуем всерьез принимать то, что он рассказывает. Мы тогда увидим: что же это был за ужас — жить и действовать в тех условиях, в каких находились гомеровы герои!

Все время боги становятся людям поперек дороги, ни на одну минуту не дают возможности свободно развернуть свои силы. Боги предопределяют исход боя, посылают ужас на храбрых, сильными делают слабых, вырывают своих поверженных любимцев из под копья и уносят их в темном облаке. Зевс посылает Агамемнону лживый сон, чтобы побудить его к бою, в котором греки будут разбиты. Умирающий Патрокл знает, что поверг его не Гектор, с которым он сражался, а стоявший за Гектором Аполлон:

Боги меня победили
Им то легко. От меня и доспехи похитили боги

Непрерывно боги вмешиваются даже в невинные спортивные состязания и доставляют победу своим любимцам путями, для смертных совершенно непозволительными. Одиссей и Аякс Оилид состязаются в беге. Афина заставляет поскользнуться побеждающего Аякса и таким образом дает победу покровительствуемому ею Одиссею. И Аякс говорит:

«Дочь Громовержца, Афина, друзья, повредила мне ноги:
Вечно, как матерь, она Одиссею на помощь приходит!»
Так произнес он. И смех по собранью веселый раздался

Если бы смертный подставил ножку бегущему, чтоб доставить победу своему приятелю,— это вызвало бы, конечно, не веселый смех, а негодование.

Необходимо совершенно отрешиться от укоренившихся в нас религиозных представлений, чтоб понять такое отношение к божеству. Гомеровские боги — это религиозные символы окружающих нас в жизни сил. Достаточно было только смотреть прямо в глаза жизни, и человек мог видеть, что к силам этим неприложимы нравственные мерки. Они аморальны и не считаются с человеком. И в то же время они могучи и неодолимы. Мы эти силы называем законами природы, случайностью, необходимостью. Гомер видит в них проявление живой воли божества, действия реально существующей Судьбы. Но существо дела остается тем же. Человек окружен таинственными силами, не знающими справедливости, не подвластными человеку и все время влияющими на него. И не только снаружи действуют эти силы — они действуют и на душу самого человека. Храбро бьются ахейцы против Гектора; но потряс перед их глазами своею ужасною эгидою Аполлон,—

и смутились
Души в их персях, забыли Аргивцы кипящую храбрость...

Что-то случилось неведомое и таинственное, вырывающее из человека его волю,— мы это называем паникой,— и храбрый вдруг стал трусом.

И Пенелопа говорит об Елене, виновнице Троянской войны:

Демон враждебный Елену вовлек в непристойный поступок:
Собственным сердцем она не замыслила б гнусного дела.

С поразительною для того времени определенностью подчеркивает эту несвободу человека Архилох:

Настроенья у людей
Таковы, какие в душу в этот день вселит им Зевс;
И, как сложатся условья, таковы и мысли их

Не то же ли это самое «чувство зависимости», к которому, через века самообольщения насчет своей свободы, снова пришло теперь человечество?

Мы всесторонне зависим от выше нас стоящих сил. Это ощущение крепко сидит в гомеровском эллине. Каждый из героев знает: что бы он ни делал, как бы ни старался — случится то, что заранее определено судьбою:

претерпит он все, что ему непреклонная Участь
С первого дня, как рождался от матери, выпряла с нитью.

И не только каждый знает, что участи своей ему не изменить. Что еще ужаснее — ему известна ожидающая его участь. Гектор знает, что Троя будет взята; Ахиллес знает, что не воротится из-под стен Трои.

Да, безрадостное понимание жизни! Безрадостное и безутешное. «Жизнь человеческая,— говорит Нэгельсбах в своей «Гомеровой теологии»,— оказывается у Гомера глубоко несчастной в своей ограниченности и связанности. Напрасно спрашиваем мы при таких взглядах на жизнь о действительном и существенном утешении. Главное утешение, которое должно бы покоиться на предании себя воле милосердного и мудрого бога, отрезано с самого начала. Таким образом, остается только покорность, резиньяция, которая покоится на вере в судьбу».

Посмотрим же, так ли это,— резиньяцию ли вызывало в гомеровском эллине его понимание жизни.

Одиссей узнает от Кирки (Цирцеи), что ему предстоит встреча с чудовищем Скиллой. Он высказывает намерение сразиться с нею. Кирка возражает:

О, необузданный! Снова о подвигах бранных замыслил,
Снова о бое мечаешь, ты рад и с богами сразиться!
Знай же: не смертное зло, а бессмертное Скилла...
Мужество здесь не поможет, одно здесь спасенье — бегство.

Одиссей принимает ее слова к сведению. Но встречается со Скиллой — и, «вовсе забыв повеление строгой Цирцеи», вооружается для боя с бессмертным чудищем.

Гектор гонит греков к кораблям. Для всех одинаково очевидно, что сам Зевс дает победу троянцам. Нестор убеждает Диомеда бежать.

Или не чувствуешь ты,— не тебе от Кронида победа?

С Иды трижды грозно гремит на Диомеда молневержец,— и тем не менее трижды поворачивает Диомед своих коней против Гектора.

Колеблется и Менелай:

Кто, вопреки божеству, осмелится с мужем сражаться,
Богом хранимым, беда над главой того быстрая грянет.
Нет, аргивяне меня не осудят, когда уступлю я
Гектору сильному в брани· от бога воинствует Гектор.

Но послушаем дальше. Как противоречиво, как наивно — и как трогательно-прекрасно!

Если ж Аякса я где-либо, духом бесстрашного, встречу,
С ним устремимся мы вновь, и помыслим о пламенной битве
Даже и противу бога ..

Сломить и укротить дух таких людей было нелегко. Встретясь в схватке и с богом, они не бледнели и не отступали:

Ныне уже не троян и ахеян свирепствует битва,
Ныне с богами сражаются гордые мужи Данаи!

Подобным людям мало свойственно благоразумно считаться с роком, спрашивать себя, не противоречат ли их действия велениям судьбы. Сила и мужество их то и дело грозят опрокинуть предварительные решения рока, и богам все время приходится внимательно следить, чтобы люди не преступили этих решений, чтоб чего не случилось «вопреки судьбе» (hypèr móron, hypèr àisan). Боги находятся в положении возниц, держащих горячих коней на туго натянутых вожжах: всю силу, все свое внимание нужно сосредоточить на этих непокорных конях; только не догляди,— и они понесут так, что и не сдержишь.

Тою порой Аполлон вступил в священную Трою:
Сердцем заботился он, да твердынь благозданного града
Сила Данаев, *судьбе вопреки,* не разрушит в день оный.

И Зевс говорит про Ахиллеса:

Сам я страшусь, да, *судьбе вопреки,* не разрушит он Трои!

И опасения богов не напрасны. Предоставленные самим себе, сила и мужество человеческие, действительно, способны опрокинуть рок; дерзая на невозможное, они невозможное делают возможным.

Только лишь солнце склонилось к поре, как волов распрягают,
Храбрость Ахеян, *судьбе вопреки,* одолела противных.

Однако, понятно само собою, немногого может достигнуть человек «судьбе вопреки». Рок не одолеть, и непрерывно сыплет он на человека свои тяжкие удары. Как же относится к ним гомеровский эллин? Так, как относится всякий, в ком жива и крепка сила жизни:

Если беду на него посылают блаженные боги,
Волей-неволей беду переносит он твердой душою

Часто и любовно употребляет Гомер выражения: tlemosýne, talapenthès thymòs, talasifron, polýtlas. У нас их упорно переводят «христианскими» словами: долготерпение, многотерпеливый дух, многострадальный, страдалец. Но совсем другое обозначают эти

слова у Гомера — не смиренное долготерпение, а *стойкость,* закаленность души, ее здоровую способность обмозоливаться против страданий. Одиссей говорит:

Если же кто из богов мне пошлет потопление в темной
Бездне, я выдержу то отверделою в бедствиях грудью:
Много встречал я напастей, немало трудов перенес я
В море и битвах; пускай же случится со мною и это.

Великую защиту от бедствий дали боги человеку, одарив его «могучею стойкостью» (krateré tlemosýne). Архилох говорит, утешая друга в его горе:

Стойкость могучею в дух нам вложили бессмертные боги,
В ней нам средство дано против ужаснейших зол.
То одного, то другого судьба поражает. Сегодня
С нами несчастье, и мы стонем в кровавой беде,
Завтра в другого ударит. По-женски не падайте духом,
Бодро, как можно скорей, перетерпите беду.

Эту-то бодрую стойкость противопоставлял гомеровский эллин судьбе. И в этой стойкости — источник того своеобразного настроения, с которым он смотрел в лицо неизбежности.

«Предо мною — могущественная необходимость» (krateré moi éplet anánke). В жизненно-сильной душе аполлоновского эллина это сознание вызывает какую-то своеобразную примиренность и торжественную решительность. Это вовсе не резиньяция отчаяния, не скорбно-покорное подставление головы под занесенный удар, как думает Нэгельсбах. Настроение здесь совсем другого порядка: раз это неизбежно, раз предотвратить этого нельзя, то — *да будет так!* Человек, сколько хватает сил, борется, проявляет себя, не считаясь с судьбой; рядом же с этим — глубочайшее убеждение, что неизбежно все случится так, как угодно богам.

Знаю, что свыше
Жребий победы находится, в воле богов всемогущих.

И божественное существо этой неизбежности примиряет человека со случившимся. Нечего возмущаться, нечего проклинать богов и бросать им в лицо буйные обвинения.

Пред неизбежностью милый свой дух в груди укротивши,—

человек мужественно и стойко принимает свой жребий, поднимается душою как бы выше себя и сливается душою с велениями неизбежности. Он как бы ощущает тот таинственный ритм, которым полна мировая жизнь, в ощущении которого нестрашными становятся опасности и ужасы личного бытия. Ярко и полно выражает это ощущение великий Архилох:

Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой.
Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов!

Пусть везде кругом засады,— твердо стой, не трепещи;
Победишь,— своей победы напоказ не выставляй,
Победят,— не огорчайся, запершись в дому, не плачь.
В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй;
Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт

В этом гармоническом чувствовании мирового ритма, в этом признании божественной сущности судьбы коренится та любовь к року,— amor fati,— о которой в позднейших своих работах с таким восторгом говорит Ницше: «Моя формула для величия человека есть amor fati: не хотеть ничего другого ни впереди, ни позади, ни во всю вечность. Не только переносить необходимость, но и не скрывать ее,— любить ее... Являешься необходимым, являешься частицею рока, принадлежащим к целому, существуешь в целом»...

Такое настроение прежде всего совершенно исключает трагическое отношение к жизни и неизбежности. Раз что должно случиться, то и пусть случается,— нечего этим мучиться, нечего об этом даже думать. Людей, например, ждет смерть. Что может быть ужаснее этого? «Как могли про смерть они забыть?» Юноша-самоубийца в статье Достоевского «Приговор» пишет: «я не могу принять никакого счастья, просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля». Вот как воспринимает неизбежность смерти гнилокровный юноша, и со смертью-то никогда не встречавшийся. А Одиссей двадцать лет жизни провел в кровавых боях под Троей и в смертно-опасных скитаниях по миру; смерть несчетное число раз заглядывала ему в самые глаза. И он говорит:

Мыслью о смерти мое никогда не тревожилось сердце.

Ахиллес выезжает на последний бой с Гектором, убившим Патрокла. Он всходит на колесницу и обращается к своим бессмертным коням,— пусть они вынесут его сегодня из битвы иначе, чем Патрокла, брошенного на побоище мертвым. И вдруг разверзаются уста одного из коней, и человечьим голосом он отвечает Ахиллесу.

Вынесем, быстрый Пелид, тебя еще ныне живого
Но приближается день твой последний! Не мы, повелитель,
Будем виною, но бог великий и рок самовластный
Хоть бы бежать наравне мы с дыханием стали Зефира,
Ветра, быстрейшего всех,— но и сам ты, назначено роком,
Должен от мощного бога и смертного мужа погибнуть.

Перед нами вдруг как будто отдернулась какая-то завеса, мир потемнел, и из мрачных, холодных его глубин зазвучал железный голос судьбы. И вот сейчас, кажется, невидимые трагические хоры в мистическом ужасе зачнут свою песню о жалком бессилии и ничтожестве человека, об его обреченности, о страшных силах, стоящих над жизнью. Но... но трагедия на Элладе еще не родилась.

Вспыхнувши гневом, коню отвечал Ахиллес быстроногий:
«Что ты, о конь мой, пророчишь мне смерть? Не твоя то забота!
Знаю я сам хорошо, что судьбой суждено мне погибнуть
Здесь, далеко от отца и от матери. Но не сойду я
С боя, доколе троян не насыщу кровавою бранью!»
Молвил,— и с криком вперед устремил он коней звуконогих

И задернулась завеса, скрылись за нею мрачные силы жизни, оборвался на первом звуке невидимый трагический хор. И не трепет в душе, не ужас, а только гордость за человека и вера в необоримую силу его духа.

Для таких людей предопределенная необходимость всего, что должно случиться, не только не страшна, а даже служит источником бодрости. Гектор говорит Андромахе:

Против судьбы человек меня не пошлет к Аидесу;
Но судьбы, как я мню, не избег ни один земнородный
Муж, ни отважный, ни робкий, как скоро на свет он родится.

И та же необоримость божественного предопределения заставляет людей относиться к невольным носителям этого предопределения без злобы и ненависти. С какою мягкостью относится Гомер к Елене, виновнице войны! Приам говорит ей:

Ты предо мною невинна,— единые боги виновны
Боги с плачевной войной на меня устремили ахеян

Справедливо ли то, что творят с людьми боги и судьба? Гомеровский эллин об этом не спрашивает. Так есть, так должно случиться... Но всего замечательнее,— и это необходимо еще раз подчеркнуть,— не только сознание неизбежности не убивало в этих людях самостоятельного почина, но даже вполне определенное знание божеского решения и божеской угрозы не останавливало их перед тем, чтобы действовать по велениям собственного духа, хотя бы и вопреки божеской воле. Феакийцы хорошо знают: Поссидон жестоко гневается на них за то, что они на своих кораблях отвозят на родину странников, потерпевших кораблекрушение. И им известно предсказание, что некогда

феакийский корабль, проводивший
Странника в землю его, возвращаяся морем туманным,
Будет разбит Поссидоном, который высокой горою
Град наш задвинет. Исполнит ли то Поссидон-земледержец,
Иль не исполнит,— пусть будет по воле великого бога.

Пусть будет по его воле,— мы тогда благоговейно-покорно и без жалоб примем свой жребий, а пока... пока мы будем творить волю *свою,* будем делать то, что считаем хорошим *мы.*

От современного человека требуется огромное напряжение фантазии, чтобы представить себе такое состояние религиозного чувства. Мы слишком привыкли соединять с божеством представ-

ление о высшем нравственном совершенстве. Поэтому наличность в жизни зла и несправедливости властно ставит перед нами задачу теодицеи, задачу оправдания божества перед лицом мирового зла. И мы не смущаемся тем, что при каждой попытке такого оправдания неизменно упираемся в безвыходный тупик. Гомеровский эллин умел совмещать в своей душе настроения, казалось бы, совершенно несовместимые: глубоко религиозное отношение к жизни и полнейшее отсутствие потребности в теодицее или в космодицее. Жизнь божественна и в то же время с несомненною очевидностью *несправедлива*. И он этою несправедливостью не возмущается, он спокойно принимает ее, как наличный факт.

На деяния
Богов не негодую я,—

беспечно говорит Архилох. Существами совсем из другого мира должны представляться нам эти люди, радостно, бодро и религиозно жившие среди прекрасного мира, беззаботные к вечно нависшей над ними божественной угрозе и божественной несправедливости.

Мы начинаем нащупывать основной нерв гомерово-архилоховского отношения к жизни. Божественная сущность жизни вовсе не скрывала от человеческого взора ее аморального, сурового и отнюдь не идиллического отношения к человеку: жизнь была полна ужасов, страданий и самой обидной зависимости. И тем не менее гомеровский эллин смотрел на жизнь бодро и радостно, жадно любил ее «нутром и чревом», любил потому, что сильной душе его все скорби и ужасы жизни были *нестрашны*, что для него «на свете не было ничего страшного». Мрачное п о н и м а н и е жизни чудесным образом совмещалось в нем с радостно-светлым о т н о ш е н и е м к ней. Ужасы и скорби не в силах были опровергнуть в его глазах основной божественности жизни, которую он непрестанно чувствовал душою.

Перед лицом этого крепкого и здорово-ясного жизнеотношения странно и чуждо звучит утверждение Ницше, что мир и бытие оправдывались для древнего эллина лишь в качестве эстетического феномена, что он «заслонял» от себя ужасы жизни светлым миром красоты, умел объектировать эти ужасы и художественно наслаждаться ими, как мы наслаждаемся статуями «умирающего галла» или Ниобы, глядящей на избиение своих детей. Да ведь это психологическая бессмыслица! Самый вырождающийся эстет сможет претворить в «эстетический феномен» только чужую боль, чужой ужас, а не свой. И как сможет претворить в эстетический феномен, например, Ахиллес — смерть любимого друга, Гектор — прозреваемую им судьбу жены?

. .как тебя аргивянин, медью покрытый,
Слезы лиющую, в плен повлечет и похитит свободу.
И, невольница, в Аргосе будешь ты ткать чужеземке,
Воду носить от ключей Мессеиса или Гипперея,
С ропотом горьким в душе; но заставит жестокая нужда!

Ни в чем так ясно не сказывается кабинетная и декадентская душа Ницше, как в преклонении перед этим эстетическим оправданием жизни. «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из нее сладостную легенду»,— говорит русский декадент. Неспособный чувствовать силы и красоты подлинной жизни, изживший себя человек в своем уединении творит из жизни «мечту», «сладостную легенду» и ею оправдывает для себя жизнь. Для упадочного философа или поэта это естественно. Но бодрый и жизнежадный древний эллин смотрел на жизнь не из тиши кабинета, он боролся, радовался и страдал в самом водовороте жизни, он непрерывно творил — не сладостную легенду, а сильную, яркую жизнь, краше самой сладостной легенды. И силою, делавшею для него мир прекрасным, была не сила художественной фантазии, не сила красоты, а *сила жизни*. Из нее же сама собою рождалась красота.

И как сверкает, как кипит и пенится в гомеровском эллине эта сила жизни! Весь строй его души, весь *тонус* ее — совсем другой, чем у нас. Только в детях можем мы еще наблюдать это яркое, свежее, радостно-жадное переживание жизни во всех ее проявлениях.

Мы говорим: «когда они поели»... Гомер говорит: «когда насладились они едою и питьем». Мы «разговариваем», гомеровские люди «наслаждаются беседой взаимной».

Прежде сидящим поставила стол Гекамеда прекрасный,
Ярко блистающий, с черным подножьем; на нем предложила
Медное блюдо со сладостным луком, в прикуску напитка,
С медом свежим и ячной мукою священною; подле
Кубок прекрасный поставила, из дому взятый Нелидом.
В нем Гекамеда, богиням подобная, им растворила
Смесь на вине Прамнийском: натерла козьего сыра
Теркою медной, и ячной присыпала белой мукою.
Мужи, когда питием утолили палящую жажду,
Между собой говоря, наслаждались беседой взаимной.

Именно, как ребенок, с его неисчерпанною полнотою восприятия впечатлений жизни, Гомер жадно наслаждается всем, что вокруг, все для него прекрасно — и стол, и кубок, и богиням подобная рабыня Гекамеда, и какая-то гадость из лука, меда и ячной муки, наверно, не более вкусная, чем те маковки и рожки́, которые мы с таким непонятным наслаждением поедали в детстве.

В лесу работает тяжелую свою работу дровосек. В полдень, когда он уже устал, он садится за обед. «Когда он уже устал»... Это по-нашему. Гомер же говорит:

Когда он уж *руки насытил*,
Лес повергая высокий. .

Руки человеческие *голодают* по работе, и процесс работы для Гомера — сладостное утоление этого голода.

Сходятся друг с другом лютые враги — Ахиллес, убивший ненавистного Гектора, и Приам, осиротелый отец Гектора.

Долго Приам-Дарданид удивлялся царю-Ахиллесу,
Виду его и величью; казалося, бога он видит
Царь-Ахиллес удивлялся равно Дарданиду Приаму,
Глядя на образ почтенный и слушая старцевы речи.
Оба они наслаждались, один на другого взирая.

Сам Гомер совсем так же «наслаждается», взирая на врагов-троянцев. Как благороден и как прекрасен у него образ божественного Гектора, главного врага ахейцев! Как серьезно, как глубоко уважительно относится он вообще к троянцам! И как это необычно, как... почти противоестественно! Вспомним наши былины: «собака Калин-царь», «Татарва поганая», «поганáя Литва», «Корела проклятая». Вот это куда обычнее и естественнее. А попробуйте представить себе Гомера говорящим: «собака-Приам», «проклятый Гектор», «троянцы поганые»...

Отношение к жизни, которое так ярко сияет из произведений Гомера, мы вправе приписывать не одному только определенному художнику Гомеру, а вообще целому периоду эллинской жизни. То, что нам теперь известно под именем Илиады и Одиссеи, создано не одним певцом. Если Гомер когда-нибудь и существовал, то ему, можно думать, принадлежит только древнейшее ядро Илиады, песен из восьми, десяти. В эту основную поэму о гневе Ахиллеса последующие певцы вставляли новые стихи, новые эпизоды, целые песни, и в конце концов поэма разрослась в то неуклюжее целое, которое представляет из себя нынешняя Илиада, где отдельные части противоречат друг другу или связаны между собою очень слабо. Ядро Одиссеи, принадлежащее, вероятно, другому певцу, осталось более нетронутым. Но и в Одиссее очень много больших и малых вставок.

Может быть, не один десяток певцов участвовал в создании гомеровых поэм. Певцы эти были разных темпераментов, разной степени таланта, принадлежали к разным эллинским племенам (ионийскому, эолийскому, дорийскому). Но тем знаменательнее, что основное отношение к жизни у них у всех совершенно одинаково, настолько одинаково, что в этом смысле мы воспринимаем гомеровы поэмы как нечто вполне цельное и однородное [1]. Очевид-

[1] Исключение представляют некоторые вставки в «Одиссею», относительно которых доказано, что они принадлежат к другой, гораздо более поздней эпохе. Наиболее крупная из таких вставок — сошествие Одиссея в подземный мир (т. наз. «Некия»).

но, такое жизнеотношение было характерно вообще для той эпохи, оно невольно сказывалось в каждом из поэтов совсем так же, как определенные общие черты сказываются в лицах людей одной национальности, несмотря на все их отличия друг от друга.

Десятки творцов создали гомеровы поэмы. Сотни певцов разносили их по всей Элладе. С посохом в руках, с венком на голове, шел певец-аэд из города в город, из деревни в деревню. В пиршественных палатах князей и богачей, на рынке, в корчме или на деревенской улице в толпе мужиков и ремесленников, он пел о священной, прекрасной жизни, о «легко живущих» богах, о людях «с непреоборимым духом», гордо и твердо смотревших в лицо судьбе, о великой борьбе и великом преодолении страданий. Пели певцы, и слушали их люди свободной духом страны: жрецы не смели здесь накладывать путы на религиозное творчество народа; религия, не скованная догматами и кодексами, могла здесь развиваться и изменяться свободно. Вдохновение певцов ловило и воплощало в образы настроения, которыми жили все кругом, и расцветала на Элладе новая, бодрая, благородно-ясная религия. Жуткие образы догомеровских божеств, свирепых и злобных, рассеивались, как ночные призраки, мир очищался от населявшей его таинственной нечисти. Тайна жизни, прежде темная и грозная, становилась светлою и радостною.

III

БОГ СЧАСТЬЯ И СИЛЫ

Главенствующим богом этого периода эллинской религиозной жизни был Аполлон. Изображая его богом «светлой кажимости» и «обманчивой иллюзии», Ницше сильно грешил против истины. Но он был глубоко прав, помещая данный религиозный период под знаком именно Аполлона. Все существенные особенности тогдашнего жизнеотношения удивительно ярко и исчерпывающе символизируются прекрасным и могучим образом этого бога.

У Гомера Аполлон (рядом с Афиною) является подлинным царем и богом жизни. К нему со стороны Гомера ощущается более благоговейное отношение, чем даже к отцу его, царю богов Зевсу. Фантазия поэта не дерзает ни разу выставить Аполлона в сколько-нибудь сомнительном виде. А искушение к этому могло быть сильное: Аполлон держит в Илиаде сторону троянцев. Другие боги, борющиеся за троянцев,— Арес, Афродита, Артемида, речной бог Скамандр,— то и дело пападают в смешные или унизительные положения. Но выступает Аполлон, и от него лучится такое божественное, грозное величие, что невозможно представить себе его в положении Ареса или Артемиды. «Лучший из богов»,— называет его

Гомер (*Ил.* XIX, 413). Исключительно почтительное отношение к нему удерживается и в позднейшее время. Гесиод и Феогнид называют его «прекраснейшим из бессмертных». И даже разнузданная аттическая комедия, не щадившая ни богов, ни людей, не дерзала касаться своими насмешками Аполлона.

Подобно большинству крупных греческих богов, Аполлон создался из слияния целого ряда разнообразнейших местных божеств. Постепенно из бога стад, из бога растительности, из бога солнечного света образовался колоссальный образ-символ, вмещающий в себе все существеннейшие стороны одного цельного, определенного, всеисчерпывающего отношения к жизни.

Лучезарным воплощением несокрушимо крепкого, действенного и жизнелюбивого эллинского духа стоит перед нами этот образ. На прекрасном молодом лице — печать огромной силы воли. Стройное, мускулистое тело полно божественной мощи. Глаза смотрят твердо и зорко, в углах губ — энергичные складки. Улыбки нет на светлом лице бога: оно всегда строго и серьезно. Но ни тени скорби нельзя подметить в этой строгой серьезности; напротив, великая радостность светится в ней,— та строгая, глубоко-серьезная радостность, которая родится из ощущения божественной значительности жизни.

Страх человека перед жизнью, боязливое взвешивание возможных опасностей, бездеятельное преклонение перед необходимостью вызывают только нетерпеливое негодование в боге-«бойце»: нет и не должно быть в жизни никаких страхов, никаких душевных «стеснений».

Вечно вы ищете духом, нестойкие, глупые люди,
Тягостных мук для себя, и забот, и душевных стеснений!

Так говорит Аполлон в одном из гомеровых гимнов (*к Апол. Пиф.* 354—355). И в восторге смотрит он у Пиндара на могучую Кирену, «прекраснолокотную деву». Без оружия она схватилась и бьется со львом. Аполлон обращается к кентавру Хирону:

Выйди, Филирид, из священной пещеры,
И на смелый дух, на великую мощь
Девы порадуйся. В схватке
Грозной бестрепетным вижу
Лик ее. Выше страданий
Дух свой она вознесла,
И неведом сердцу страх
Кто ее родил из смертных?

(Пиф. эпиник. IX, 50—57).

И вот как учит людей Аполлон в «Илиаде» относиться к божественной неизбежности. Троянцы отступают. Аполлон является Энею и говорит:

Как же смогли б вы, Эней, защитить, вопреки и бессмертным,
Трою высокую, если теперь ниспослать вам победу
Хочет сам Зевс, а вы лишь трепещете, стоя без битвы?
Видел когда-то других я людей,— только собственной силе,
Собственной смелости духа и мощи они доверяли ..

Сам бессмертный, сам бог,— Аполлон упрекает людей за то, что они не смогли бы, в случае нужды, добиться своей цели «вопреки бессмертным»!

На свете не должно быть ничего страшного, нужно возносить свой дух выше страданий и нужно жить, жить и радоваться жизни. Радоваться жизни, не думать о смерти, как будто она еще очень далека, и в то же время жить жадно, глубоко и ярко, как будто смерть должна наступить завтра. В недавно найденной оде Вакхилида Аполлон говорит:

Ты смертен, человек Поэтому живи,
Как будто каждый день
Последний для тебя,
И вместе с тем, как будто впереди
Еще полвека глубоко-богатой жизни.
Законы божеские чти
И духом радуйся Нет блага выше

Радуйся духом!

На далеком Севере, где царит вечный день, лежала страна счастливых людей гиперборейцев. Царем этого «священного племени» был Аполлон, и туда, в гиперборейский край, улетал он на крыльях лебедей на зиму,— на время суровой зимы, когда тяжело приходится людям, когда не в силах они быть счастливыми и счастьем своим быть достойными светлого бога.

Опять нам приходится призвать читателя к самому усиленному напряжению фантазии, чтоб он мог себе представить тот религиозный строй души, который создал подобного бога. Человек должен собственными силами перестрадать горести свои и скорби, и лишь тогда идти к богу, с душою светлой, ясной и радостной.

Есть в этом отношении одно поразительное место в «Агамемноне» Эсхила. Кассандра, охваченная пророческим безумием, провидит приближающуюся гибель Агамемнона и свою собственную. В ужасе она взывает к Аполлону-Локсию.

Кассандра. О, горе мне, горе!
О, Аполлон, Аполлон!

Хор Зачем ты в скорби к Локсию взываешь?
Он не таков, чтоб плакальщиком быть.

Кассандра. О, горе мне, горе!
О, Аполлон, Аполлон!

Хор. Опять кощунственно зовешь ты бога!
Ему не подобает видеть слезы.

Почти страх охватывает душу, когда представляешь себе людей, смогших создать такого бога. Да кто же сами они, не к богу обращающиеся за поддержкой, а лишь от собственного духа своего ждущие разрешения своих скорбей? Для человека, сраженного тяжким ударом судьбы, так естественно стремление бессильно упасть на колени и в смирении отчаяния простирать руки к кому-то, Могучему, Скорбному и Любящему. И говорить: «Господи, да будет воля Твоя!» И чувствовать над собою высшую скорбь и любовь, и, отрешившись от своей воли, предать ее, не рассуждая, в руки высшей воли.

Здесь же совсем другой строй души. Перед человеком стоит задача:

Пред неизбежностью милый свой дух в груди укротивши,—

закусив губы, принять в грудь неизбежный удар, глубоко в душе переболеть своею болью и выйти из испытания с искусанными губами, но с гордым духом,— с духом, готовым на новую скорбь, способным на новую радость.

Самое высокое и самое прекрасное, чем может человек прославить бога, что он должен нести ему,— это собственная радость и счастье. Вот — основное положение аполлоновой религии. И чисто аполлоновскую, для нас такую чуждую мысль высказывает один поздний греческий писатель, географ Страбон, говоря так: «Хотя верно сказано, что люди тогда наиболее подражают богам, когда совершают добрые дела, но еще правильнее было бы сказать, что *люди наиболее уподобляются богам, когда они счастливы».*

На этом необходимо остановиться подробнее. Для нас — что такое для нас вообще счастье, радость? Конечно, всякий желает счастья, но всякий в то же время сознает, что оно касается только лично его, что только для него самого оно близко и ценно. Даже больше. Ощущение радости и счастья в большинстве случаев соединяется у нас с безотчетным чувством какой-то виновности, с сознанием мелкости и несерьезности счастья. Радость, блеск, красоту жизни мы способны трактовать только как веселое «удовольствие», как «наслаждение». И с большим только трудом можем мы представить себе радость как торжественную серьезность, как *таинство,* открывающее нам божественную сущность жизни.

А именно такой характер носила радость в религии аполлоновского эллина. В наших представлениях на этот счет царит большая

путаница. Конечно, кто же не знает, что древние эллины любили жизнь и ее радости? Ну, там — Анакреон, «утехи Вакха и Киприды», гедонизм киренаиков, эпикурейство. Но это все было выражением уже полнейшего разложения эллинской жизни, как и столь ненавистная Ницше «александрийская веселость». Глубокая, серьезная жизнь превратилась в предмет удовольствия, наслаждения. С этим плоским, мертвым, безрелигиозным смакованием жизни и ее мгновений не имеет решительно ничего общего та глубокая, светлая радость, которая составляет существо аполлоновой религии.

Эта радость носила характер глубоко религиозный. Она-то именно и была тою основною стихией, из которой рождались эллинские боги,— «блаженные», «легко живущие». Мы видели — с горем своим, с тяжкими ударами судьбы тогдашний эллин умел справляться силою собственного духа, не для этого ему нужны были боги. Несмотря на скорби, несмотря на несправедливость судьбы, он жадно любил жизнь «нутром и чревом», детская радость жизни переполняла его душу. Эта радость не вмещалась в плоскость видимого, осязаемого мира, жизнь углублялась и начинала как бы светиться изнутри таинственным светом: за нею — точнее, в ней — чувствовалось нечто значительное, бесконечно огромное, нечто *божественное* (theion). И это «божественное» составляло для эллина основную сущность жизни.

Через радость свою эллин приобщался божеству. Не с покаянными вздохами шел он к своим богам, не с мольбами о помиловании. Он шел к ним в белой одежде, с венком из цветов на голове — символом радости; танцами молился им и хороводами.

И, рожденные из радости, боги его шли навстречу радости человека. Нам трудно это представить себе: в жизни древнего эллина не было радости, которая, говоря нашим языком, носила бы *светский* характер. В любви к женщине и в мирном покое домашнего очага, в красоте мужского и женского тела, в состязаниях в силе и ловкости, в веселом пире и танце — везде эллин чувствовал присутствие и благословение божества. На саму радость это накладывало торжественный, серьезный отпечаток и создавало такой тип религиозной жизни, которого мы, может быть, уже не в состоянии даже представить себе.

Олеарий рассказывает про московитов XVII века: когда муж ложится со своею женою в постель, он предварительно завешивает в спальне иконы. Что это значит? Божество не должно видеть того, что творится, это оскорбляет его взор. Любовь переживается человеком как нечто *свое,* узко личное, как секретное «баловство», очень, конечно, сладкое, но поганое и грязное У эллина же над ложем его любви стояла золотовенчанная Афродита, радовалась на ласки и соприкасающуюся наготу и, как светлую жертву себе, принимала блаженные стоны и судороги любви.

И московит, и древний эллин любили как будто одинаково. Но отношение их к любви было глубоко различно, поэтому и переживания имели очень мало общего. Для московита любовь была приятным, но нечистым удовольствием, для эллина — божественно радостным таинством.

И так было у эллина со всякою радостью.

Мир — этот, здешний мир — был для эллина прекрасен и божествен, боги составляли неотрывную его часть. Столь же неотрывную часть этого мира составлял и человек. Только в нем, в здешнем мире, была для него истинная жизнь. По смерти человек, как таковой, исчезает, он становится «подобен тени или сну» (*Одисс*. XI. 207). Нет и намека на жизнь в уныло-туманном царстве Аида,

где мертвые только
Тени отшедших, лишенные чувства, безжизненно веют.

Лучше жить жалким поденщиком на земле, чем царствовать над тенями мертвых

Душа человека неотрывно связана с телом и с этою жизнью. У Гомера слово «психе» (ψυχή) не обозначает души в нашем смысле. «Душа»-психе противополагается не телу, а *самому* человеку. Ахиллес

Многие *души* могучие славных героев низринул
В мрачный Аид, а *самих* распростер их на снедь плотоядным.

Психе, как указывает Нэгельсбах, есть у Гомера принцип животной, а не духовной жизни, это, сообразно первоначальному значению слова,— «дух», дыхание человека. Покинув тело, эта психе-душа улетает в подземное царство в виде смутного двойника умершего человека, в виде тени, подобной дыму. (Она лишена чувства, сознания, хотения,— как раз всего того, что составляет «я» человека, его душу в нашем смысле.)

Бессмертие было для древнего эллина желанно и ценно, но бессмертие вовсе не этой бескровной, вяло-призрачной «души», лишенной жизни. Было желанно бессмертие человека, *как такового*. Та же жизнь, только уярченная и облегченная, тот же *тип* жизни, удлиненный навеки, вот что было наградою любимцам богов. Бессмертие не представлялось чем-то противоположным этой жизни. В Элизий, царство блаженных, перенесены не души любимых богами, а сами они, все целиком. Находится он не в потустороннем каком-нибудь мире, а здесь же, на нашей земле, только у крайних ее пределов, близ океана Там ведут блаженные ту самую «легчайшую жизнь» (reïste biotè. — *Одисс*. IV. 565), какую ведут и «легко

живущие» олимпийские боги,— легко живущие жизнью здешнего, земного типа. Какой желать другой жизни, если эта жизнь может быть так чудесно ярка и прекрасна?

Человек неотрывно связан с жизнью, душа его неотрывно связана с телом. И весь целиком человек должен быть прекрасен и светел. Тело, как душа, тоже должно быть «добродетельно». И душевные, и телесные достоинства для древнего эллина одинаково были добродетелями. Красота, сила и ловкость телесная, это тоже были добродетели. Пенелопа в Одиссее говорит:

Боги мою добродетель,— мой вид и наружность,— сгубили.

Даже быстроту в беге Пиндар называет «добродетелью ног». Совершенство телесное и душевное, гармоническое соединение прекрасного тела и прекрасной души — знаменитая «калокагафия» — было основным идеалом эллина.

Прекрасное тело — и прекрасная душа... Достоевский говорит: «ненормальность и грех исходят из самой души человеческой». Для древнего эллина грех, преступление не вытекали из существа человека, они только снаружи ложились на душу пачкающим пятном. «На преступление,— говорит Преллер,— древние эллины смотрели как на осквернение (μίασμα,) как на следствие и причину внутреннего расстройства и тяжелого повреждения духа. Когда грешник в раскаянии прибегает к Аполлону, то находит у него очищение и искупление. Аполлон — истинный спаситель и очиститель. В этом отношении он — полная противоположность тем темным силам судьбы и мести, которые живут во мраке и действуют из мрака. Существо Аполлона — блеск и ясность. Он не терпит ничего угрюмого и злого, озаряет это злое своим мягким светом и находит средство к исцелению и примирению. «Поистине сияющий», как выражается о нем Плутарх».

Нельзя лучше охарактеризовать всю сущность гомерово-аполлоновского отношения к жизни, чем это сделал Гёте в своей статье о Винкельмане.

«Чувство и созерцание не были еще в то время раздроблены на куски, в здоровой человеческой силе еще не произошло едва исцелимого разобщения. Натуры эти были в высшей степени способны не только к наслаждению счастьем, но и к перенесению несчастия. Как здоровое волокно сопротивляется вредному влиянию и при каждом болезненном поражении поспешно восстанавливается, так способен был и здоровый дух этих людей быстро и легко восстанавливаться по отношению ко всем внутренним и внешним бедствиям. Таков был античный дух — в деятельности, наслаждении и лишении, в радости и горе, в обладании и потере, в возвы-

шении и уничижении всегда довольный прекрасной землею, на которой царит над нами такая переменчивая судьба».

Однако Гёте относил эту характеристику не специально к Аполлону, не к определенному, весьма ограниченному периоду эллинской жизни. Он относил ее к античному духу вообще. В этом он разделял всеобщее для XVIII века заблуждение, созданное, между прочим, как раз Винкельманом.

В действительности было совсем не так.

IV

ВОКРУГ ЭЛЛАДЫ

В то время как над Элладою безраздельно царил светлый, радостный и кипучий Аполлон, в дикой и суровой Фракии, к северу от Эллады, жили племена, поклонявшиеся странному, неведомому эллинам богу.

На жизнь эти люди смотрели как на тяжкое несчастье. Рождение ребенка встречалось у них плачем. «Близкие,— рассказывает Геродот,— сидели вокруг новорожденного и оплакивали его, и скорбели о несчастиях, которые ждут его в жизни, и перечисляли все человеческие страдания. Умерших же они погребали с радостью и ликованием и говорили: теперь он избавился от всех зол и живет в блаженстве». Жены умершего ссорились друг с другом за честь быть зарезанною на могиле мужа. Люди с радостным одушевлением шли в бой навстречу смерти, потому что смерть казалась им прекрасною.

А еще выдавались фракийцы своим пьянством. Даже женщины пили у них неразбавленное вино. Формы дикого и тяжелого разгула еще Гораций называет «свойственными фракийцам». Опьянялись фракийцы также дымом бросаемых в огонь зерен — очевидно, конопли (гашиш).

Так жили эти люди в мрачном отъединении от жизни, от ее света и радости. Но наступил час — и из другого мира, из царства духов, приходил к ним их бог Сабазий. И тогда все преображалось.

Темною ночью, при мелькающем свете факелов, двигались по горам толпы людей, встречавших бога; особенно всегда бывало много женщин. Заливались флейты, оглушительно гремели литавры и медные тазы. Люди с пронзительными криками бешено плясали и кружились под музыку. На головах их были рога, в руках извивались живые змеи; мелькали в воздухе кинжалы и обвитые плющом копья. Жуткая тьма ночи, дикая музыка, бешеная пляска и кружение,— может быть, еще вино и гашиш,— зажигали душу пьяным безумием. В экстазе человек «исступал из себя», душа втягивалась в какой-то огромный вихрь всеединого, безумного бла-

женства, далеко уносивший его от обыденной жизни. Собственное тело человека становилось для него чуждым, не своим. Он жег себя огнем, колол кинжалами — и боли не было; а если была боль, то она давала только радость. И далеко была внизу вся обычная жизнь с ее страхами, нуждою и привязанностями. Мать в таком состоянии могла растерзать собственного сына — и не было жалости, а была та же радость.

И всё гремели литавры, неистово кружились люди, священное безумие росло. Приводили жертву; в более ранние времена это был человек — выбранный по жребию или военнопленный; позднее — бык. Люди бросались на жертву, живьем разрывали ее на части, пили льющуюся кровь, пожирали кровавое мясо. И творилось тут великое чудо и великая тайна: растерзанная жертва — это был сам бог Сабазий. Но и те, которые разрывали его на части, сами участники радений,— они теперь уже не были людьми: через плоть и кровь жертвы они приобщались к великому, страждущему богу Сабазию, становились его частью,— становились богами, «Сабазиями» или «Сабами».

Эрвин Роде так рисует душевное состояние, переживавшееся участниками радений. «Человек чувствовал сверхчеловеческую жизненную силу, которая царила вокруг него, над ним, и распространялась на собственную его личную жизнь. В другое время, заключенный в отдельное свое существование, он мог только противопоставлять себя этой силе, робко поклоняясь ей; но в эти часы высшего подъема пламенное переполнение духа разбивало все грани и вело к целостному единению с этою силою; здесь собственная жизнь человека терялась на мгновение в жизни божества».

Греческие наблюдатели, как характернейшую особенность фракийцев, отмечают их веру в бессмертие души. Роде тонко указывает на тесную связь, в которой эта вера находится с экстатическим характером религий, подобных религий фракийцев. В опьянении экстаза человек сам «испытал», как душа, освобожденная от тела, способна принимать участие в блаженствах и ужасах божественного бытия,— и именно она одна, душа, а не весь человек, состоящий из души и тела. В мгновения экстаза душа высоко поднималась над земною жизнью и жалким своим телом. Как блеском молнии, она озарялась ощущением своей божественности и вечности. И естественно было убеждение, что, когда душа вырвется из тесноты земной жизни, когда сбросит с себя оковы тела, то длительною станет для нее та жизнь, которую она мгновениями испытывала в состоянии экстаза.

Та жажда бессмертия, которою горел фракиец, носила характер глубоко отличный от жажды бессмертия эллинской. Эллин хотел жить вечно, потому что жить — хорошо. Фракиец хотел жить

вечно, потому что... жить — скверно. Какое, казалось бы, противоречие: жизнь темна, жизнь ужасна и невыносима,— как же можно желать ее удлинения в вечность? Дело тут в совмещении двух противоречивых начал — страстной жажды жить и неспособности жить. Мы это самое видели у Достоевского. Как примирить противоположные начала? У человека нет сил жить, что-то мешает жизни. Что же именно? Очевидно, мешает тело, мешает этот темный, разъединенный мир. Значит, надо избавиться от них, надо сбросить их с себя, и тогда начнется настоящая жизнь. Об ней человек знает по тем мгновениям экстаза, когда душа его высоко поднималась над телом и жизнью. Отрицание жизни, боязнь ее — вот источник такой жажды бессмертия.

Жизнь была для фракийца чем-то противоположным и враждебным божеству, тело — душе. Живая жизнь есть страдание и унижение божества, есть его растерзание; тело — темница, в которой томится душа, отторгнутая от своей родной, божественной стихии, тяжко страдающая в своем обособлении. Жизнь божества — вне нашей низменной жизни, жизнь души — вне нашего темного тела. Конечно, не в таких мудреных, отвлеченных выражениях изложил бы свое религиозное жизнеотношение дикий, пьяный и задавленный жизнью фракиец,— он даже не понял бы их. Но именно таково было его основное чувствование мира, и в бессознательном этом чувствовании было больше глубины и силы, чем в холодных философствованиях какого-нибудь благополучного современного мистика.

Именно с севера, из Фракии,— по крайней мере, по мнению многих исследователей,— вступил в Элладу этот новый, дотоле неведомый эллинам бог. Но царствовал он не в одной Фракии. И к югу, и к востоку от Эллады, среди богов мрачных и грозных, жил этот же таинственный, вечно страдающий бог. У вавилонян имя ему было Таммуз, у лидийцев — Аттис, у финикиян — Адонис.

Разные у него были названия, разные облики. Но страдальческая судьба везде была одна. В определенное время темные, чудовищные силы растерзывали на части прекрасного бога, он умирал в муках и исчезал в подземном мире. Богиня-мать или богиня-возлюбленная блуждала по земле, напрасно разыскивая бога, и оплакивала его в безмерной скорби. И все люди скорбели тою же великою скорбью,— скорбью о мире, лишившемся бога, об ужасе, мраке обезбоженной жизни. На что она была теперь нужна? Люди приносили в жертву свои волосы (по восточным представлениям, в волосах скрыта жизненная сила человека). Мужчины оскопляли себя, девушки отдавали свое целомудрие презираемым

чужестранцам. Постами и страшными муками люди истязали свое тело, обреченное на смерть и тление. В глиняные сосуды сеялся особый подбор семян; растения быстро вырастали и так же быстро увядали, лишь на короткое время порадовав взоры зеленью своею и цветами. Эти «садики Адониса» — вот была человеческая жизнь,— непрочная, скоропреходящая, обреченная на быстрое увядание.

Но наступал таинственный, священный, великий час — и умерший бог воскресал. В диких оргиях, в экстатических плясках люди приветствовали возвращение жизнедателя-бога, возрождение поникшей жизни, благовествование о великом единстве всего сущего. «Жив Господь-Адонаи, Господь воскрес! Будьте утешены вы, благочестивые! Бог избавлен от смерти!»

Тот же бог, облеченный в несколько иные формы, жил и в далеком Египте. Злой бог Сет-Тифон растерзал на части кроткого Озириса, и душа мира Изида, плача, блуждала по нильским болотам, собирая рассеченные части бога-страдальца.

В основе всех этих разнообразных мифов лежит, всего вероятнее, факт чисто натуралистического характера — гибель растительности под влиянием зимних холодов. Люди оплакивали смерть бога растительности, убитого чудовищами зимы. Приходило время — и бог воскресал в блеске весенней радости и преизбытка сил, и люди восторженно приветствовали прекрасного бога-жизненосца.

В первобытные времена человек был еще вполне беспомощен перед природою, наступление зимы обрекало его, подобно животным или нынешним дикарям, на холод и голодание; иззябший, с щелкающими зубами и подведенным животом, он жил одним чувством — страстным ожиданием весны и тепла; и когда приходила весна, неистовая радость охватывала его пьяным безумием. В эти далекие времена почитание страдальца-бога, ежегодно умирающего и воскресающего, естественно вытекало из внешних условий человеческой жизни.

Но условия изменились, человек не так рабски стал зависеть от природы, ее умирание уже не грозило ему и собственною его гибелью; он мог жить в тепле, свете и сытости, когда все вокруг дрожало во мраке от стужи и голода. И если сила почитания загадочного бога все же не ослабевала, а даже усиливалась, то причину этого теперь следует видеть в другом: за изменчивого в своих настроениях, страдающего от жизни бога жадно ухватилась душа человека, потому что бог этот отображал существо собственной души человеческой — растерзанной, неустойчивой, неспособной на прочное счастье, не умеющей жить собственными своими силами.

V

«ЛУЧШЕ ВСЕГО — НЕ РОДИТЬСЯ»

И вот вступил этот бог в светлую, благословенную Элладу. И было ему здесь имя Дионис,— Дионис или Вакх,— тот самый Вакх, Бахус, который обычному представлению рисуется беззаботным кутилою, веселым богом вина и пиров.

Гомеровский эллин почти еще не знал этого бога (Стих 325 *Ил.* XIV, где говорится о «радости людей Дионисе»,— позднейшая вставка). Дионис чужд олимпийским богам, он не вмешивается в жизнь гомеровских эллинов. Гомер мимоходом упоминает о Дионисе лишь в рассказе о борьбе с ним фракийского царя Ликурга, где Дионис назван безумствующим; да еще смутно упоминается мэнада, с которою Гомер сравнивает обезумевшую от горя Гекубу. «Безумствование» — вот что с самого начала является основным, характернейшим признаком Диониса.

Но для грека аполлоновского безумие было только карою, налагаемою богами на человека, было несчастием. На фронтоне храма Аполлона в Делосе была надпись:

Самое желанное — быть здоровым

И понятно, каким чуждым,— может быть, даже смешным,— должен был казаться древнему эллину этот новый бог, в основу служения себе полагавший именно безумие, и безумие это признававший священным. Как Пенфей в еврипидовых «Вакханках», гомеровский грек должен был видеть «великий позор для эллинов» в загоравшемся пожаре вакхических неистовствований. Но время было уже не то. И, как Тиресий Пенфею, это новое время могло бы ответить негодующему гомеровскому эллину:

Не смейся, друг, над этим новым богом
Я не нашел бы слов, чтоб рассказать,
Как будет он могуч по всей Элладе

Во главе неистовствующих, истерических женщин медленно, но неуклонно завоевывал страдалец-бог прекрасную, мужественную и жизнерадостную Элладу. Век за веком власть его расширялась и углублялась, светлые олимпийцы отступали перед ним и сдавали ему свои троны. Сбывалось предсказание Диониса врагам его и противникам:

Вы побежите все,— и медные щиты
Поворотятся вспять пред тирсами вакханок

Для нас не новая религия служит причиною изменения народного богочувствования. Скорее наоборот: только изменившееся

отношение народа к божеству и жизни делает возможным не формальное, а действительно внутреннее усвоение новой религии. Рассмотрим же прежде всего те внутренние изменения в эллинском духе, которые сделали возможным завоевание Эллады Дионисом. Ярко и цельно эти изменения выражаются в послегомеровской литературе.

Перед лицом этой безнадежно-пессимистической литературы, потерявшей всякий вкус к жизни, трудно понять, как можно было когда-либо говорить об эллинстве вообще как о явлении в высокой степени гармоническом и жизнелюбивом. Ни в одной литературе в мире не находим мы такого черного, боязливо-недоверчивого отношения к жизни, как в эллинской литературе VII—IV веков.

Нет средь людей никого, кто был бы счастлив на свете
Все несчастны, над кем солнце на небе блестит.

Так говорит Солон. Представление о положительном счастье вообще совершенно отсутствует в этой литературе. «Без страданий нет никого; у кого меньше всего страданий, тот — счастливый», учит Софокл. И в одно с ним говорит Еврипид: «Страдать должны мы все; мудр тот, кто всего благороднее несет посланный жребий».

Если на этих людей спускалось даже счастье, то и оно отравлялось мыслью: прочно ли оно? «Мудрый» должен был непрестанно помнить, что «человек есть чистейший случай»,— как выражается Солон. Он говорит у Геродота Крезу: «Счастливым я не могу тебя назвать прежде чем я не узнал, что ты счастливо кончил свою жизнь. В каждом деле нужно смотреть на окончание, которым оно увенчивается; ибо многих людей божество поманило счастьем, а потом ввергло в погибель».

Как? Да неужели счастье не есть счастье только потому, что через год или через двадцать лет оно сменится несчастьем? Неуверенными руками человек принимает счастье, боится даже посмотреть на него, а робко заглядывает вперед, не таится ли там где-нибудь беда. Да в конце концов — что же из того, что там беда? Придет время — пускай она обрушится на меня. Но разве когда-нибудь сможет она опровергнуть то счастье, которое у меня было, которое светом и движением заполнило мою жизнь? Пусть придет горе, пусть придет смерть скорбная и одинокая,— одно только можно будет сказать жизни: «Спасибо тебе, жизнь! Ты много дала мне, я видел от тебя ласку и счастье,— пусть же теперь будет то, что будет!»

Но не так для этой литературы. Вся она насквозь пропитана беспричинно мрачным, теснящим душу настроением только что проснувшегося неврастеника. Счастье? Какое же это счастье, если существует на свете несчастье? Какое это счастье, если

его может сменить несчастье? И душа не только не борется с таким настроением, не только не старается с негодованием стряхнуть его с себя,— в нем она, напротив, видит высшую мудрость, глубочайшее прозрение и понимание жизни. Если живой человек ярко и непосредственно ощущает счастье, то это — затмение ума, которое следует рассеивать. Блажен и удачлив был Эдип,— и вот какие беды обрушились на него!

Учитесь люди,
И пока пределов жизни не достигнет без печали,
И пока свой день последний не увидит тот, кто смертен,
На земле не называйте вы счастливым никого.

(Софокл)

Человек не только перестает верить в счастье — он начинает бояться его. Уже лицом к лицу со счастьем, даже в промежутке «между краем чаши и губами», он не перестает чувствовать угрозу. Завистливо-подстерегающими глазами следит за человеком божество, прочная радость смертного, его счастье для божества невыносимы. Поэтому смущением и страхом встречает человек выпадающее на его долю счастье. «Всякое божество завистливо и тревогою преисполняет человека»,— говорит Геродот. Он же рассказывает легенду о кольце счастливца Поликрата, самосского тирана,— легенду, всем нам известную по балладе Шиллера. Друг Поликрата Амазис порывает с ним отношения и в письме к нему объясняет это так: «Меня пугает твое великое счастье, ибо я знаю, как завистливо божество».

Ферамен, один из тридцати афинских тиранов, пировал однажды с многочисленными друзьями. Вдруг крыша дома обрушилась и раздавила всех, и один только Ферамен остался невредим. Что же он, обрадовался своему спасению? О, нет! Он... испугался. Чего? Вот чего:

— О, судьба!— воскликнул он в ужасе,— для каких же будущих бед бережешь ты меня?

Глядя на этих трепещущих перед жизнью людей,— уж не с улыбкою, как в гомеровском гимне, а с отвращением и брезгливым негодованием воскликнул бы лучезарный Аполлон:

Вечно вы ищете духом, нестойкие, глупые люди,
Тягостных мук для себя, и забот, и душевных стеснений!

Грек гомеровский, не отступавший стойким своим духом ни перед какими ужасами жизни, уж, конечно, сумел бы снести на своих плечах и счастье:

Много встречал я напастей, немало трудов перенес я
В море и битвах, пускай же случится со мною и это!

Та «истина», которую открыл царю Мидасу лесной бог Силен, становится теперь для эллина основною истиною жизни.

Величайшее первое благо — совсем
Не рождаться, второе,— родившись,
Умереть поскорей. —

скорбно поет хор в софокловом «Эдипе в Колоне». То же самое говорят лирик Феогнид, трагик Еврипид, историк Геродот. Неведомый автор поэмы «Состязание Гомера и Гесиода» эту же мысль кощунственно вкладывает даже в уста Гомера:

Лучшая доля для смертных — на свет никогда не родиться;
Если ж родился,— войти поскорее в ворота Аида

«У других народов,— правильно замечает Якоб Буркгарт,— проклинание дня рождения представляет собою только редкое слово крайнего отчаяния».

Двое аргивских юношей, Клеобис и Битон, совершили высокий подвиг сыновней любви. Мать их, жрица Геры, обратилась к своей богине с мольбою, чтоб она ниспослала ее сыновьям самый лучший человеческий жребий. Богиня вняла ее мольбе и послала юношам — смерть. «И этим божество показало,— говорит Геродот,— что для человека лучше умереть, чем жить». И когда Фивы послали к оракулу посланцев с поручением вымолить для знаменитого Пиндара «то, что в человеческой судьбе самое лучшее для любимого богами»,— боги послали Пиндару смерть.

Жизнь глубоко обесценилась. Свет, теплота, радость отлетели от нее. Повсюду кругом человека стояли одни только ужасы, скорби и страдания. И совершенно уже не было в душе способности собственными силами преодолеть страдание и принять жизнь, несмотря на ее ужасы и несправедливости. Теперь божество должно держать ответ перед человеком за зло и неправду мира. Это зло и неправда теперь опровергают для человека божественное существо жизни. Поэт Феогнид говорит:

Милый Зевс! Удивляюсь тебе; всему ты владыка,
Все почитают тебя, сила твоя велика,
Взорам открыты твоим помышленья и души людские,
Высшею властью над всем ты обладаешь, о, царь!
Как же, Кронид, допускает душа твоя, чтоб нечестивцы
Участь имели одну с тем, кто по правде живет,
Чтобы равны тебе были разумный душой и надменный,
В несправедливых делах жизнь проводящий свою?
Кто же, о кто же из смертных, взирая на все это, сможет
Вечных богов почитать?

Прежнему эллину — мы это уже видели — подобные вопросы были глубоко чужды. Жизнь и божество он умел оправдать из силы собственного духа.

Смертью несло теперь от жизни. И начинает шевелиться в душе вопрос: не есть ли жизнь именно смерть? Не есть ли жизнь что-то чуждое для человека, что-то ему несвойственное, что-то мертвящее его? Еврипид спрашивает:

Кто скажет нам,— не смерть ли жизнь земная,
И смерти час — не жизни ли начало?

И философ Гераклит Ефесский учит: «Мы живем смертью наших душ, а души наши живут нашею смертью».

Жизнь — это что-то призрачное, колеблющееся, обманчивое. Для Гомера *умерший* человек становится «подобен тени или сну». Теперь иначе. Для Пиндара *живой* человек есть «сновидение тени». И Софокл говорит:

Я вижу: все мы на земле — не больше,
Как призраки иль трепетные тени.

Жизнь, как таковая, мир сам по себе начинают представляться человеку отягченными какою-то великою виною. Анаксимандр Милетский в своей натур-философской системе учит, что видимый наш мир, выделяясь из Беспредельного, совершает как бы прегрешение. «Из чего произошли все вещи, в это они, погибая, превращаются по требованию правды, ибо им приходится в определенном порядке времени претерпеть за неправду кару и возмездие».

Глубокая пропасть ложится теперь между телом человеческим и душою. Для Эмпедокла тело — только «мясная одежда» души. Божественная душа слишком благородна для этого мира видимости; лишь выйдя из него, она будет вести жизнь полную и истинную. Для Пифагора душа сброшена на землю с божественной высоты и в наказание заключена в темницу тела. Возникает учение о переселении душ, для древнего эллина чуждое и дико-непонятное. Земная жизнь воспринимается как «луг бедствий».

Все подобные настроения ярко концентрируются в так называемом о р ф и з м е — тайном учении, возникшем или, вероятнее, только вышедшем на поверхность эллинской жизни в VI веке до Р. Х.,— как раз в то время, когда в Индии возникал буддизм.

Мир лежит глубоко во зле,— учит орфизм. Жизнь есть тяжкое страдание растерзанного божества. Лишь какое-то великое прегрешение могло низвергнуть нашу божественную душу в низменную земную жизнь. Тело — могила души (soma—sema), и душа заключена в тело для искупления какой-то вины. И нелегко достигнуть этого искупления; одной земной жизни мало, чтоб освободить душу от первородного греха, тяготеющего над нею. Долгим и скорбным путем, переселяясь из тела в тело, душа

должна очиститься от земной скверны, пока, наконец, не удостоится полного освобождения от оков земной жизни и не сольется с божеством.

Цель жизни человека должна заключаться в очищении. Бывали обстоятельства, когда в очищении нуждался и гомеровский эллин; но там оно имело задачею снять со светлого существа человека случайно загрязнившее его пятно преступления. Здесь же совсем другое: нужно было очищаться от жизни, от жизни самой по себе. Дело не в каком-нибудь определенном прегрешении,— человек грешен уже с самого рождения, он изначально нечист и греховен. В строгих трудах, посте и лишениях «орфической жизни» может он искупить эту свою греховность. Совершенно чуждое для эллина начало, аскетизм, кладется в основу благочестивой жизни. Суть этого благочестия — в обращении к божеству, в отречении от земной жизни, от всего, что привязывает к ней. «Душе, от бога пришедшей и стремящейся назад к богу, нечего делать на земле (и именно поэтому не к чему служить морали); она должна очиститься от всего земного» (Э. Роде).

Не следует думать, что орфизм был только случайною, маленькою заводью у края широкого потока эллинской духовной жизни. Правда, в эпоху расцвета эллинской культуры он не имел широкого распространения в народе,— это случилось позже, в века упадка и разложения, перед появлением христианства. Но с орфизмом,— как и с пифагорейством, во многом родственным с орфизмом,— крепкими нитями были связаны лучшие духовные силы послегомеровской Греции, ее величайшие мыслители и художники.

Однако уже и в широкой публике тогдашних зрителей трагедии не вызывали смеха и недоумения образы, подобные еврипидову Ипполиту. Целомудренный юноша-постник, «ученик Орфея», Ипполит глубоко презирает богиню любви Афродиту. Прежнему эллину было понятно целомудрие как противоположность разврату, и он чтил целомудренную Пенелопу, жену Одиссея. Но целомудрие, отрицающее саму любовь, было для него чем-то совершенно нелепым. Для чего же существуют мужчина и женщина, для чего в них заложено стремление друг к другу, как не для того, чтобы

вместе на ложе всходить и сближаться,
Как для людей установлен закон,— для мужчин и для женщин?

(Ил. IX. 133—134).

Любовь сама по себе была для древнего эллина глубоко священна, потому-то и существовала богиня любви. И сама целомудренная девственница Артемида, которой якобы служит Ипполит, была, между прочим, покровительницей родящей женщины.

VI

БОГ СТРАДАНИЯ И ИЗБЫТКА СИЛ

Радостная, «синяя» эллинская осень. Виноград собран и выжат. Толпы весело возбужденных мужиков с песнями движутся к жертвеннику бога. Впереди несут амфору вина, увитую зеленью, за нею тащат жертвенного козла, несут корзину с фигами. Шествие замыкает фаллос — изображение напряженного мужского члена, символ изобилия и плодородия. Плоды и вино возлагают на алтарь, закалывают козла, и начинается веселое празднество. Свистят флейты, пищат свирели, повсюду звучат игривые песенки; заводят хороводы, парни пляшут двусмысленные пляски с непристойными телодвижениями. Подвыпившие мужики сидят на телегах, задирают острыми шуточками прохожих, зло высмеивают их, прохожие отвечают тем же. В воздухе стоит грубый, здоровый хохот, топот и уханья пляски, визги девушек. Появляются ряженые в козлиных шкурах и в масках, либо их лица вымазаны винными дрожжами. Наступает ночь, и еще жарче разгорается веселье, и творится под покровом ночи много такого, чего не должен видеть день. Широким вихрем носится пьяная, самозабвенная радость, втягивает в себя души и высоко поднимает их над обыденною жизнью, над трудами и заботами скучных будней.

Это — осенний праздник виноградного бога, многорадостного Вакха-Диониса, «радости смертных»...

Темная, бурная декабрьская ночь — самая долгая ночь в году. По вершинам и отрогам гор мелькают неверные светы факелов, слышны пронзительные, ужас наводящие женские вопли, безумный смех и безумные стоны. Исступленно звучат призывные клики: «Эвой! Эвой! Бромий!» Женщины пляшут и кружатся, волосы их бьются по ветру, одежды растерзаны. Как серны, переносятся они через пропасти и скачут с обрывов, не разбиваясь; бьются в конвульсиях; тела их принимают самые невероятные позы, как будто все законы тяжести вдруг исчезли; такие позы мы теперь можем видеть в атласах, изображающих больных из клиники Шарко. Женщины хватают жертвенных животных, голыми руками разрывают их живьем на части и поедают сырое, дымящееся мясо. Если кто посторонний случайно попадется им на пути — горе ему и горе! С грозно-восторженным воем бросятся на него женщины, схватят его за голову, за руки, за ноги и разорвут на части, и даже не услышат ни воплей его, ни стонов. И как ни будь силен человек, защититься он не сможет. Слабая женщина в таком состоянии необорима —

не потому, что сила в ней,
А потому, что бог рукам могучесть дал

(*Еврипид,* «Вакханки»)

Ничего, что кругом женщины не видят, не слышат и не чувствуют. Вьюга сечет их полуголые тела, перед глазами — только снег и камни. Но они ударяют тирсами в скалы — бесплодные камни разверзаются и начинают источать вино, мед и молоко. Весь мир преобразился для них в свете и неслыханной радости, жизнь задыхается от избытка сил, и не в силах вместить грудь мирового восторга, охватившего душу.

Это — Триэтерии, двухгодичный праздник великого бога Диониса-Загрея. Эти женщины — служительницы бога, мэнады, вакханки...

Весна — та пора эллинской весны, когда всюду благоухают фиалки и алые маки, как живые огни, шевелятся и вспыхивают под ярким солнцем. Тысячи, десятки тысяч людей теснятся на полукруглых помостах, ступенями спускающихся со склона афинского Акрополя. Внизу, на возвышении сцены и на круглой площадке орхестры, идет представление трагедии. Блещет весеннее солнце, ярко зеленеют загородные долины меж темно-серых шиферных гор, вырисовываются радостные дали в чудесных мягко-синих контурах, каких нигде нет, кроме Греции. А здесь, на священной площадке сцены, происходит мрачное, кровавое действо. Могучие герои и полубоги, изнемогая в неравной борьбе, корчатся под сокрушающими ударами «сумрачной, тяжкодарной судьбы». А хор смотрит и исходит в жалобных стенаниях. Он поет, что жизнь ужасна и мрачна, что страшны нависшие над человеком неведомые силы, что счастье призрачно и люди подобны сну, что лучше всего для смертного — не жить. Заливаются исступленные флейты, ритмически мелькают в воздухе поднятые руки, изгибаются в плавной пляске тела, гремят песни хора — то бешено-веселые, то полные отчаяния и ужаса. И странное опьянение овладевает восприимчивою толпою зрителей. Души их высоко возносятся над тем, что развертывается перед ними, охватываются огненным ощущением какого-то огромного всеединства, где всякое явление, всякая радость и боль кажутся только мимолетным сном. И уж нестрашными становятся человеку страдания и муки, и уж не нужна ему победа трагического героя; все человеческие оценки, ощущения и чувства спутались в душе, как волосы на голове безумствующей мэнады. «Страдание,— как выражается Ницше,— пробуждает веселье, а восторг вырывает из груди мучительный стон». Душа переполнена ощущением огромной силы, бьющей через край, которой ничего не страшно, которая все ужасы и скорби жизни способна претворять в пьяную, самозабвенную радость.

Это театральное представление — не просто зрелище, как у нас. Это — священнодействие в честь бога, в честь все того же Вакха-Диониса. В середине орхестры стоит его жертвенник, почет-

нейшее кресло в первом ряду занято его жрецом, и сам театр есть «святилище Диониса»...

Вот — тайная община просветленных учеников древнего Орфея. Изнуренные постом, со строгими, скорбными лицами, в оливковых венках и льняных одеждах, сходятся они на тайные свои радения. Что там творится — из посторонних никто не знает. Какими-то таинственными обрядами верующие очищаются от земной скверны, стряхивают с себя греховные думы о ничтожных земных делах и в тихих молитвенных экстазах сливаются душою с великим страдальцем-богом.

Этот бог — все тот же Дионис. Когда он был еще младенцем, Зевс предназначил ему властвовать над миром. Но злые титаны хитростью овладели ребенком, растерзали его на части и пожрали. Молнией своею Зевс пожег титанов. Из их пепла родились люди. В этом пепле заключались останки и титанов, и пожранного ими бога Диониса; поэтому и сами люди состоят из двух начал: темного, земного, телесного, *титанического* — и светлого, сверхземного, духовного, *божественного*. Блажен тот из смертных, кто, презрев земное титаническое, с его тленными радостями и ничтожными желаниями, устремляется душою к светлому очистителю и освободителю душ, великому Дионису-Загрею...

В таких разнообразных, друг другу противоречащих, как будто даже совершенно несогласимых видах является перед нами этот загадочный бог. Недаром называли Диониса «многообразным» и «многоликим»; недаром уже древние писатели высказывали мнение, что под именем Диониса-Вакха существовало несколько совершенно различных богов. Трудно было соединить в одно многообразные свойства этого бога. Он — бог весны, бог радости и избытка сил; вокруг него в ликовании толпятся гении природы — сатиры, кентавры и нимфы; сам великий Пан отказывается от самостоятельной власти над миром и смиренно вступает в свиту могучего бога. Дионис — бог яркого кутежа, самозабвенного упоения мигом, бог наивысшего сладострастия, какое знает человек. И он же — скорбный бог страдания и самоотречения, раскрывающий человеку ничтожность и тленность нашей жизни, властно напоминающий ему об ином, высшем мире. Огромнейший символ, объединивший в себе самые разнообразные переживания человеческого духа.

Но есть одно, что тесно роднит между собою все такие переживания. Это, как уже было указано, «безумствование», «исхождение из себя», экстаз, соединенный с ощущением огромной полноты и силы жизни. А чем вызван этот экстаз — дело второстепенное. В винном ли опьянении, в безумном ли кружении

радетельной пляски, в упоении ли черною скорбью трагедии, в молитвенном ли самозабвении отрешившегося от мира аскета — везде равно присутствует Дионис, везде равно несет он человеку таинственное свое вино.

Покажется странным, и иного даже покоробит, как можно подводить под одно столь различные душевные состояния. И, однако, несомненно, все их объединяет нечто очень существенное, объединяет настолько, что можно то и дело наблюдать переход одного из этих душевных состояний в другое. Опьянение вином и любовное сладострастие играют большую роль в мистических экстазах персидских суфиев. Русские мистические сектанты постоянно сравнивают свое экстатическое «упоение святым Духом» с алкогольным опьянением. В одном хлыстовском распевце поется:

На беседушке на апостольской
Я пила пивцо, я пьянехонька,
Я пошла духом веселехонька.

Христианству долго приходилось бороться со стремлением верующих прославлять бога и мучеников пляскою, и ею приводить себя в молитвенный экстаз. Еще блаженный Августин считал нужным разъяснять, что мучеников следует прославлять non saltando, sed orando — не плясками, а молитвами. Абиссинцы до сих пор пляшут в экстазе во время церковных служб.

Как близки друг другу в этой области переживания, казалось бы, не имеющие решительно ничего общего, показывает одно интересное наблюдение, сделанное исследователем русского мистического сектантства, профессором Д. Г. Коноваловым: «Экстаз имеет наклонность разряжаться по проторенным, привычным для организма путям. Такими путями у большинства русских сектантов-экстатиков, бывших алкоголиков или страдающих алкоголическою наследственностью, являются те, которые проложены и закреплены в своего рода сложные механизмы многократными разряжениями алкогольного опьянения. Экстаз для них — замена возбуждения, которое раньше давало им или их предкам вино».

Другая черта, характерная для Диониса,— что, в отличие от блаженных олимпийских богов, он — бог страдающий. Многочисленные мифы говорят о мучениях, о «страстях» этого бога, об его растерзании. Человек должен перечувствовать и перестрадать великие муки бога, чтобы приобщиться к его правде. Как буйно-самозабвенный весенний восторг доступен только тому, кто прострадал долгую зиму в стуже и мраке, кто пережил душою гибель бога-жизнедавца,— так и вообще дионисова радость осеняет людей, лишь познавших страдальческое существо жизни. Из безмерных мук, из отчаяния и слез, из ощущения растер-

занной и разъединенной жизни рождается радостное познание бога и его откровений, познание высшего единства мира, просветленное примирение с жизнью. И в этой дионисовской радости — спасение для человека, источник сил для дальнейшего несения бремени жизни.

Вещий Тиресий в еврипидовых «Вакханках» так разъясняет заслугу перед людьми новоявленного бога Диониса:

Принес он смертным влажный сок лозы.
Когда бессчастный человек той влаги,
Рожденной виноградом, изопьет,—
То улетает скорбь, и сон приходит,
Приходит повседневных зол забвенье,—
Иного средства от страданий нет

Дионисово вино мы можем здесь понимать в более широком смысле: грозный вихревой экстаз вакханок вызван в трагедии не «влагою, рожденной виноградом». Тиресий определенно указывает на ту огромную роль, какую играло это дионисово «вино» в душевной жизни нового эллинства: оно было не просто лишнею радостью в жизни человека,— это необходимо иметь в виду,— оно было основою и предусловием жизни, единственным, что давало силу бессчастному человеку нести жизнь.

Иного средства от страданий нет.

Эллин аполлоновский — мы это уже видели — знал другое средство от страданий: могучую стойкость собственного духа.

Каким же образом дионисические переживания одолевают в человеке ощущение темноты и растерзанности мира, каким образом спасают человека для жизни?

Прежде всего, самими этими мигами дионисического подъема над жизнью. Вот как рисует их Ницше: «Тут сама отчужденная от человека природа снова празднует примирение со своим блудным сыном, человеком. Тут раб становится свободным, тут, при благовествовании мировой гармонии, каждый чувствует себя слитым воедино со своим ближним, как будто разорвалось покрывало Маии, и только одни обрывки его еще носятся перед очами таинственного Первоединого. В пении и пляске являет тут себя человек сочленом общины высшего рода: он забыл размеренный шаг и плавную речь и готов, танцуя, взлететь над землей... Перед ним открывается край, где в радостных аккордах дивно замирает диссонанс, и тонет страшная картина мира». О подобных же состояниях говорит Кириллов у Достоевского: «Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда!»

И пускай это только миги, пускай они даже грозят человеку разрушением или гибелью: они так прекрасны, дают человеку такие огромные, озаряющие дух переживания, что способны перевесить темную летаргию жизни вне этих мгновений. «В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит»,— говорит Кириллов. И князь Мышкин рассуждает: «Что же в том, что это болезнь? Если в самый последний сознательный момент перед припадком ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе: «да, за этот момент можно отдать всю жизнь!»— то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни».

Но проходит блаженный миг — и человек возвращается к темной обыденности. Теперь она особенно должна томить его своею низменностью и неприемлемостью. «Как только повседневная действительность снова вступает в сознание, она, как таковая, принимается с отвращением,— пишет Ницше.— Редкие состояния экстаза с их подъемом над временем, пространством и индивидуальностью требуют философии, учащей побеждать силою представления неописуемую безотрадность промежуточных состояний». Однако в большинстве случаев последующее действие дионисических мигов на душу человека более благодатно и более непосредственно. Отвращение к себе и к жизни, влечение в «Ничто» одолевается не силою *представления,* как, по мнению Ницше, в индийском буддизме, и не силою *красоты,* как, по его же мнению, в эллинской трагедии. Взрыв дионисического безумия уже сам по себе,— как будто даже чисто физиологически,— разряжает тоску, ужас и отчаяние, скопившиеся в душе человека, приводит его к временному равновесию и освежению — к тому очищению души, катарсису, о котором говорят греки. Это чувство радостного освежения и облегчения жизни испытывает мистический сектант после своих радений, аскет после своих экстазов. И это же чувство освежения, с другой стороны, нередко испытывает человек после хорошей попойки: при жизни вялой и однообразной, лишенной ярких переживаний, такая попойка дает душе своеобразную встряску, что-то в ней как будто разряжается, просветляется, и человек более бодрым возвращается в свою вялую жизнь.

Хорошо знакомо это чувство освежения и нервнобольным. Беспокойная, беспричинная злоба дрожит в душе истерички, нарастает, сгущается и наконец разрешается бешеным взрывом. В упоении своим безумием больная рвет все принятые формы жизни, устраивает близким дикие, чудовищные скандалы, в сладком ужасе несется, зажмурив глаза, в какую-то пропасть. А потом — как будто гроза разразилась и прошла. В душе, рядом с бесконечною разбитостью,— чувство столь же бесконечной ви-

новности, нежности и умиротворенности, и облегченно дышит грудь, как в послегрозовом воздухе.

Эллины хорошо знали, что кратковременное дионисическое безумие способно спасать людей от настоящего, длительного безумия: кто противится дионисическим оргиям, учили они, тот сходит с ума. В Афинах существовал особый дионисический праздник, Эоры, который был учрежден с целью исцелить афинских женщин от охватившего их массового помешательства.

Когда Дионис нисходит в душу человека, чувство огромной полноты и силы жизни охватывает ее. Какие-то могучие вихри взвиваются из подсознательных глубин, сшибаются друг с другом, ураганом крутятся в душе. Занимается дух от нахлынувшего ужаса и нечеловеческого восторга, разум пьянеет, и в огненном «оргийном безумии» человек преображается в какое-то иное, неузнаваемое существо, полное чудовищного избытка сил.

Богом избытка сил всегда и является Дионис. Не богом силы, а непременно богом избытка сил.

Однако что же такое этот избыток сил?

У существа гармонического, проявляющегося свободно, избыток сил непрерывно разряжается в *действии*. Но жизнь часто ставит разнообразнейшие преграды такому разряжению. Мешают внешние условия, мешает временное состояние самого существа, мешает, наконец, основная его организация, соединение резко противоборствующих инстинктов и устремлений. Тогда силы уродливо скопляются и сжимаются внутри, как пар в замкнутом пространстве, получается «избыток сил», который разрешается взрывом. В жизни человеческой много дисгармонии — поэтому много и дионисического «избытка сил» и вытекающего из него «оргийного безумия».

Грозным избытком сил полна у Толстого несчастная Анна Каренина, принужденная отдавать свою любовь холодному мертвецу Каренину. Вронский в первый раз видит Анну в вагоне. «В ее коротком взгляде он успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметною улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке». Покинутая Вронским Кити приглядывается на балу к Анне: «Анна была прелестна в своем оживлении, но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести.— Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней,— сказала себе Кити».

Велик «избыток сил» у кликуши во время припадка: истощенную, больную бабу в это время не в силах сдержать несколько

дюжих мужиков. От избытка сил, перед которым «немощна земная плоть», задыхаются хворые герои Достоевского — эпилептики и горячечные. «Это не земное,— говорит Кириллов.— Я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть... Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически».

Чувство огромного избытка сил переживают мистические сектанты во время своих радений. «Ох, братцы, такая радость, что, если бы не потолок, то хватил бы выше звезд небесных!» — восклицал в пылу экстатической пляски один русский хлыст. Чем же, однако, вызывается этот избыток сил? Сила человека — от здоровья. Казалось бы, «избыток сил» должен вытекать из сугубого здоровья, из чрезмерности сил. Но вот что говорит, например, профессор Д. Г. Коновалов про русских сектантов: «Основою сектантской экстатической радости служит повышенная нервная возбудимость. Это свойство давно подмечено за нашими сектантами. В образовании и поддержке их нервозности участвуют сложные причины, например, различного рода болезни, плохое питание, плохие гигиенические условия жизни и т. п. Немаловажную роль в этом случае у сектантов играет и их суровый аскетический режим, «сморение» или «осаживание плоти постом», как они выражаются. Посты сектантов, это — самопроизвольное изнурение себя настоящим голодом, и неудивительно, если экстазы сектантов-постников иногда совершенно напоминают картину бреда от истощения». И повсюду, во все времена, одним из самых верных средств для подготовки себя к оргийным празднествам считались продолжительные посты и самоистязания.

В Элладе носительницами дионисовского избытка сил были преимущественно женщины — выключенные из широкой жизни, проводившие время в мрачных своих гинекеях. Раздавался таинственный, неизвестно откуда идущий клич бога:

— В хороводы!

И затворницы толпами выбегали из домов в горы и превращались в безумных мэнад, неистовствовавших в избытке сил. Дионис всего охотнее окружает себя «женскою свитою». «Женолюб»,— называет его гомеровский гимн

В средоточии земли, в центре мира,— в Дельфах,— стоял великий храм. Он был посвящен двум богам — Аполлону и Дионису. На переднем его фронтоне был изображен Аполлон со свитою муз, на заднем — Дионис среди мэнад. Служение обоим богам не было одновременным: в одну часть года прославляли Аполлона, в другую Диониса. Как же распределялся год

между богом счастья и силы, с одной стороны, богом страданья и избытка сил, с другой?

С ранней весны до поздней осени в Дельфах звучал пэан в честь Аполлона. Наступала зима. Аполлон на крыльях лебедей улетал в далекий край счастливых гиперборейцев, кончалось время «изобилия» (kóros), приходило время «нужды» (chresmosyne) — и являлся Дионис. Пэан сменялся исступленным дифирамбом. Отовсюду стекались в Дельфы женщины, и начинались экстатические оргии — оргии среди зимней «нужды» в честь бога «избытка сил».

Также и в Афинах летняя часть года была посвящена Аполлону, зимняя — Дионису. При этом здесь наблюдается одно очень характерное явление. Дионис — бог вина. Праздники сбора и выжимки винограда, естественно, должны бы быть праздниками Диониса. Так оно и есть. Эти праздники — Малые Дионисии и Ленэи (от lenòs — точило, в котором выжимается виноград). Вначале они, по-видимому, и праздновались в то время, когда в Греции происходит сбор и выжимка винограда,— в сентябре. Но затем праздники эти странным образом продвигаются далеко вперед, в глубокую зиму: Дионисии на Поссейдеон (декабрь), Ленэи — на Гамелион (январь), который теперь получает и другое название — Ленэон (месяц выжимки винограда). Этот перенос вызывает справедливое недоумение исследователей. Август Моммзен спрашивает: как может быть месяцем выжимки винограда месяц, в который винограда никогда не выжимают? И отказывается решить вопрос. Бергк пытается объяснить это тем соображением, что осенью за полевыми работами крестьянину некогда было заниматься праздниками, и спрашивает: не играло ли роль в этом переносе также и желание удержать афинских женщин от дельфийских оргий?

Так это или не так, но факт сам по себе характерен: оргийные праздники бога «избытка сил» оказываются передвинутыми из благодатной осени в студеную зиму, время «нужды». Зима с вызываемым ею оскудением жизненных сил и ранняя весна с опьяняющим подъемом этих сил на почве зимнего их оскудения — вот время, когда над людьми царит Дионис.

Но не только над людьми царит бог страданья и «избытка сил». В жизни на всех ее ступенях много дисгармонии, много уродливо сдавленной силы, поэтому много и дионисовского «избытка сил» с вызываемым им «оргийным безумием».

Комнатная собака круглые сутки принуждена лежать или медленно ходить по комнатам. Ее выпускают на волю. И она

бешеными кругами, с безумными глазами, самозабвенно носится по цветникам и кустам сада, ничего кругом не видя. Это — «избыток сил». Медленно и меланхолически бродит теленок, пощипывая траву; в крови его — вялость бесконечной цепи предков, превращенных из вольных животных в доильные машины. И вдруг, задрав хвост, мотая головой, он начинает неуклюже прыгать и вскачь несется по лугу, охваченный безумным «телячьим восторгом»: желание вольных и сильных движений должно было дойти до «избытка», чтоб преодолеть косность тела и взрывом вырваться наружу. Но чужд этот избыток вольной серне. Стройно и прямо, как стрела Аполлона, переносится она через пропасть и в изумлении смотрит на самозабвенное безумие теленка.

Избытком сил полон бык в период половой жизни. Чудовищная, беспричинная ярость бушует в нем, он весь дрожит от злобы, стеклянистая слюна течет изо рта, в глазах тупое безумие. Он без разбору бросается на все встречное; попадется на глаза деревянная колода — и ее он яростно начинает катать рогами. И знаменательно: как раз бык был у эллинов символом Диониса. На многих изображениях голова Диониса снабжена бычачьими рогами, на монетах и геммах он нередко изображается в виде быка с человеческим лицом. «Быкоподобный», «бог с бычачьими рогами» — вот самые его обычные эпитеты. Элейский дифирамб прямо называет Диониса быком:

Приди, о, бык достойный!

Вячеслав Иванов, русский исследователь «эллинской религии страдающего бога», видит в дионисическом безумии-экстазе характернейшую и почетнейшую особенность человека. Человек, по его мнению, прежде всего — animal ecstaticum. «Когда животное сошло с ума,— оно стало человеком». Навряд ли это так. Животное способно сходить с ума, впадать в несомненно дионисическое безумие,— и от этого еще не становится человеком.

И вне человека в природе очень много экстатического дионисова безумия. Вот сейчас — тихий летний вечер, я пишу на террасе. И вокруг огня лампы безумно мечутся большие и маленькие мотыльки. Обжигаются, падают, сидят, ошеломленные,— и опять взлетают, и опять несутся на огонь, и бьются о раскаленное стекло. Мне кажется, я слышу, как вокруг меня звучат тихие вопли, стоны смертного восторга и смертной муки, чувствую, как вихрем вьется вокруг исступленно-сладострастное безумие, упивающееся своим безволием и безмерностью своих мук.

Грандиознейшую картину избытка сил и оргийного безумия, вероятно, представлял мир в те отдаленные времена, когда еще молода была наша планета, и в неуверенных, непрочных и неумелых формах на ней только еще начинала созидаться жизнь.

Земная кора то и дело сотрясалась и трескалась от подземных взрывов, на землю выливались потоки лавы, в воздухе носились тучи пепла. В лесах из гигантских папоротников, плаунов и хвощей неуклюже ползали чудовищные динозавры с крохотными головами; птицеящеры шмыгающими зигзагами чертили воздух; в пространных, теплых и неглубоких морях кишели рыбоящеры и плезиозавры. Велика должна была быть дисгармония их неуклюжих тел и неупорядоченных инстинктов. И в теперешнем животном мире мы видим много этой дисгармонии: лягушка и жаба нередко вываливается из страстных объятий самца с продырявленною грудною клеткою и растерзанными внутренностями; ночной мотылек упорно летит на обжигающий его огонь; краб теряет от испуга свои ноги; голотурия при прикосновении к ней выплевывает собственные внутренности; самки многих животных жадно пожирают ими же рожденных детенышей. Во сколько же сильнее и неупорядоченнее были подобные противожизненные инстинкты в ту начальную эпоху! И каким «избытком сил», какими сладкими муками была полна жизнь тогдашних уродливых чудовищ! Какие в их любви были могучие судороги и извивы! Вываливались в теплые воды раздавленные внутренности, ломались и отпадали члены, как хвосты у наших ящериц; с воем и корчами ползли обезумевшие чудища по расплавленной лаве. И, должно быть, великая жажда еще больших мук охватывала эти «недоделанные существа», и они жадно рвались к «родимому хаосу», чтобы в сладостном опьянении распасться и целиком раствориться в нем. И радовался, глядя на кипящее вокруг оргийное безумие, бог страдания и избытка сил.

И этот бог избытка сил,— у него как будто совсем нет мускулов. В детстве, по свидетельству Аполлодора, Дионис воспитывался, как девочка. И на всем его облике — какой-то женский отпечаток, так отталкивающий в мужчине. «Лжемуж», «мужеженщина», «с женским духом», «женоподобный» — вот нередкие эпитеты Диониса. Таким является он и в пластических своих изображениях, как только искусство находит характерный для него, его собственный, оригинальный облик.

Более древние изображения представляют Диониса почтенным мужем или старцем с длинною бородою, с величавым лицом. Но эти изображения мало характерны. На бога перенесен уже готовый тип, по-видимому, созданный первоначально для Гермеса, и Диониса можно узнать только по его атрибутам — виноградной кисти, чаше или ветке плюща. В изображениях и этого типа бог часто имеет совсем женский облик, благодаря женским одеж-

дам, в которые он облечен; на голове его — женская лобная повязка, иногда даже женское покрывало.

По-видимому, во времена Фидия вырабатывается тот облик Вакха-Диониса, в котором полно и цельно воплощается существо бога и в котором его представляли себе в последующие века. Основной облик этот таков: прекрасное юношеское тело, но тело мягкое, женоподобное, с почти невидными мускулами; бог сидит либо лежит; если стоит, то, по большей части, прислоняется к чему-нибудь или опирается на поддерживающего его сатира. Всякое сильное, энергичное движение ему, в противоположность Аполлону, глубоко чуждо. Лицо безбородое, длинные, волнистые волосы падают на плечи. На губах едва уловимая мечтательная улыбка, чуждая всему, что кругом; огненный или затуманенный взгляд неопределенно смотрит вдаль. Общее впечатление, даваемое образом бога, самое странное по своему разнообразию. Поистине, бог многоликий и многообразный. На одних изображениях лицо светится божественною, чистою и великою скорбью — она так нам знакома по лицу Христа. И есть другие изображения. Маленькая голова на женственно-округлом, пышном теле; прекрасное лицо с блуждающею улыбкою дышит тонким и темным сладострастием. Что-то такое жуткое и грозное в этом порочном лице, что невольно вздрогнешь и отшатнешься: «дьявол!»

VII

«ПЕССИМИЗМ СИЛЫ»

В предисловии своем к «Рождению трагедии» Ницше спрашивает:

«Является ли пессимизм необходимым признаком заката, упадка, неудачничества, усталых и обессиленных инстинктов? Не существует ли пессимизма силы? Интеллектуального пристрастия к тому, что есть в бытии сурового, ужасающего, злого, загадочного?— пристрастия, вытекающего из благоденствия, из бьющего через край здоровья, из полноты существования? Быть может, есть страдание и от чрезмерной полноты,— искусительная смелость острого взгляда, жаждущая страшного, как врага, как достойного врага, на котором она может испытать свою силу? На котором она хочет узнать, что такое «страх»?

На все эти вопросы Ницше отвечает утвердительно и в таком именно отношении к ужасам бытия видит характернейшую особенность жизнеощущения дионисического.

«Не существует ли пессимизма силы,— спрашивает Ницше,— интеллектуального пристрастия ко всему суровому, ужа-

сающему и загадочному»... Но какую же силу может иметь *интеллектуальное* пристрастие в области, где все основано *на эмоции?* Как и в чем выразится этот пессимизм силы, если от общих положений мы перейдем к конкретным примерам? Вот, например, центральная «истина» лесного бога Силена — «лучше всего — не родиться; если родился — лучше всего умереть». И стоит перед этою истиною человек, действительно, полный жизни, «с бьющим через край здоровьем». Душа его ярко и радостно звучит на радость бытия, он непрерывно ощущает великую, бесценную значительность жизни. Как может такой человек почувствовать предпочтительность небытия перед бытием? «Страдать от действительности значит быть неудачною действительностью»,— презрительно говорил впоследствии сам Ницше. Как же может удачная действительность страдать от действительности? И как, не страдая от нее, может она понять могильную мудрость Силена? «Вопрос о том, что лучше — бытие или небытие,— сам по себе уже есть болезнь, признак падения, идиосинкразия». Это опять-таки сказал впоследствии не кто иной, как сам же Ницше.

Полнота жизни тянет человека изведать, что такое страх? Полнота жизни может тянуть человека изведать то, что *вызывает* страх,— и наслаждение его будет в том, чтобы оказаться *выше* страха, чтоб насмеяться над ним. Когда же человек тянется в ужас, чтоб пережить его, как таковой,— то это не от полноты жизни. И не от полноты жизни тянется он в переживание страдания, в переживание черного неверия в жизнь, в утверждение предпочтительности небытия перед бытием. Наслаждение эмоциями ужаса, страдания, отчаяния никогда не было и не могло быть героическим выражением здоровой, мощной полноты существования. Это — типичнейшее наслаждение потерявшего себя упадочного человека, лишенного инстинкта жизни. О таких именно сказал Ницше: «Я называю животное, род, индивида испорченным, если они теряют свои инстинкты, если они выбирают, если они *предпочитают* то, что им вредно».

Самое высшее проявление полноты человеческого здоровья и силы Ницше видел в эллинской трагедии. Но лучше, чем на чем-либо ином, можно видеть именно на трагедии, какой сомнительный, противожизненный характер носила эта полнота жизни, сколько внутреннего бессилия и глубокой душевной надломленности было в этом будто бы героическом «пессимизме силы». Скажем прямо: во всей литературе мира мы не знаем ничего столь антигероического, столь нездорового и упадочного, как эллинская трагедия.

Чего требовал эллин от своей трагедии?

Аристотель в «Поэтике» говорит:

«Необходимо, чтоб судьба трагического героя изменялась не из несчастья в счастье, а наоборот,— из счастья в несчастье, и притом не вследствие порочности, но вследствие великой ошибки человека. Когда страдания возникают среди друзей, например, если брат убивает брата, или сын — отца, или мать — сына, или делает что-либо другое в этом роде — таков сюжет, которого следует искать поэту. Вот почему лучшие трагедии слагаются в кругу немногих домов, например, Эдипа, Ореста, Мелеагра и всех других, которым пришлось либо перенести, либо совершить ужасное. Поэты поневоле наталкиваются на все подобные семьи, с которыми случились такого рода несчастья. Художественное изображение этих несчастий доставляет удовольствие, вытекающее из сострадания и страха; сострадание же и страх вызывают очищение страстей (знаменитое ton pathemáton cátharsis)».

Страдание составляет основное требование трагедии. «Это не годится для трагедии, потому что здесь нет страдания (apathès gar)»,— говорит Аристотель. Чем страдания ужаснее, чем меньше надежды выбиться из них, тем для трагедии лучше.

Вот обычная основная схема эллинской трагедии: берется герой и ставится в такое положение, из которого ему нет решительно никакого выхода. Все напряжение его воли, все старания и стремления ведут только к тому, что он запутывается все больше. Мало того. Именно эти его старания и стремления выбиться из западни, в которую его загнала судьба, и обусловливают его окончательную гибель. Все несчастия Эдипа потому именно и случаются с ним, что он знает о грозящих ему ужасах и всячески старается их избежать. Железным своим взглядом судьба все время как будто следит за ним и говорит: не борись, не стремись! Познай, что тщетны все усилия человеческой воли, что не сам человек — творец своей судьбы.

Но почти не бывает в жизни такого положения, где бы человек не мог достигнуть многого силою и упорством своей воли. Пусть мрачна жизнь, пусть дремуча, как первобытный лес, все-таки в ней всегда есть просветы и прорывы, в которые может устремиться не мирящаяся с судьбою человеческая воля. Чтоб такою безнадежностью обставить устремления воли, как это делала трагедия, она должна была откапывать в мифологии, как указывает Аристотель, определенные семейства, отмеченные совершенно неправдоподобною обреченностью. Но даже и мифология не давала для этого в чистом виде достаточно материала. И вот трагедия «обрабатывает» мифы, делает еще более жесто-

кими и безысходными условия, в которых действует мифический герой, запирает для его воли все выходы.

И вполне понятно, почему трагедия питала такую любовь к героическим образам, любовь, обманчиво говорящую о героическом будто бы характере самой трагедии. Бессилие человеческой воли, разумеется, всего удобнее демонстрировать на воле самой лучшей, самой крепкой. Какой это для кого будет ужас, если на сцене жалкая перепелка будет биться в сетке? Пусть могучий лев катается по земле, опутанный сетью, пусть напрягает чудовищные мышцы и потрясает театр яростным ревом. Тогда всякий зритель ясно почувствует всю предательскую силу тонкой, невидной на глаз сети и все ничтожество могучего, кто этой сетью опутан.

Всего более чуждо эллинской трагедии активное, героическое настроение, возвеличение борющейся человеческой воли,— в победе ли ее или в поражении,— все равно. Типичнейший и любимейший герой трагедии — страдалец-Эдип.

Но «лучезарному венцу пассивности», лежащему на голове Эдипа, Ницше противопоставляет «венец активности», сияющий на челе эсхиловского Прометея. В «Скованном Прометее» он видит прославление дерзкой, несокрушимой человеческой воли, смело идущей даже против божества. Основную мысль трагедии Ницше выражает в известном обращении к Зевсу Прометея гетевского:

Я здесь сижу, творю людей
По образу и лику моему,
Мне равное по духу племя,
Чтобы ему страдать и плакать,
И ликовать, и наслаждаться,
И на тебя не обращать вниманья,
Как я...

И восторженно отмечает Ницше то «достоинство», которое миф о Прометее придает преступлению в отличие от семитического мифа о грехопадении, где источником зла является любопытство, лживость, похотливость и т. п. «То, что отличает арийское представление, это — возвышенный взгляд на *активность греха,* как на прометеевскую добродетель по существу»,— говорит Ницше.

В полном недоумении останавливаешься перед таким истолкованием эсхиловского Прометея. И даже шевелится вопрос: могло ли в данном случае быть заблуждение Ницше добросовестным? Каким его рисует Ницше,— да, таков Прометей *новый,*— Прометей Гёте, Байрона, Шелли. Но вовсе не таков Прометей эсхиловский и вообще античный. В начале прошлого века на этот счет можно было еще заблуждаться, например, Шлеге-

лю. Но для Ницше, после классической работы Велькера об эсхиловском «Прометее», это было совершенно непозволительно.

Дело в том, что за «Скованным Прометеем» у Эсхила следовал «Прометей освобождаемый». От этой второй трагедии до нас дошли только скудные отрывки, но они говорят с несомненною очевидностью, что трагедия кончалась полным поражением Прометея — не наружным поражением, а поражением внутренним, художественным изобличением *неправоты*. Прометея. Уже в «Прометее Скованном», как замечает Велькер, ясно предуказан конец, ждущий Прометея. Хор выражает надежду, что Прометею еще удастся освободиться от оков и стать не меньше Зевса. Но Прометей отвечает (511—513):

Судил иначе, этому окончиться
Вершитель-Рок. *Страданьями безмерными*
Пригнутый низко,— так из плена выйду я.

Так, действительно, и кончалась борьба дерзкого духа человеческого против божества: Прометей сообщал Зевсу тайну, которую тот старался у него вырвать, смирялся перед своим мучителем и, освобожденный, надевал на голову, как знак полного своего подчинения, венок из ивы: прутьями ивы в древности скручивали руки пленным и рабам. И на руку он надевал кольцо из железа своих цепей.

Против гармонии Зевсовой
Замыслы смертных напрасны,—

поет уже в «Скованном Прометее» хор Океанид. В этом смиренном признании человеческого бессилия, в обычном для трагедии обличении «гордости» и заключалась основная мысль всего произведения в целом, а никак не в прославлении безудержно дерзающей, могучей человеческой воли. «Прометей,— говорит Велькер,— должен стать свободным только путем добровольного наложения на себя символических оков; он познает, что бессмертный дух может обеспечить себе свободу и счастье только через самоограничение, только через ощущение своей зависимости от Всевышнего».

Произошло огромное, величественное, ярко-радостное событие в жизни Эллады. Несметный флот Ксеркса был разбит греками при Саламине, на следующий год и сухопутные полчища его были уничтожены под Платеями. Черные грозовые тучи, зловеще поднявшиеся с востока, рассеялись без следа. Впервые со времен Дария Эллада вздохнула вольно и радостно.

И вот Эсхил пишет свою трагедию «Персы». Действие происходит в Персии. Хор персидских старцев ждет известий о резуль-

татах войны; Атосса — мать Ксеркса и вдова Дария — рассказывает свой зловещий сон. Является вестник и сообщает о разгроме персидского флота. Слезы, вопли, стенания. Атосса вызывает тень покойного своего мужа, царя Дария. Тень предсказывает гибель сухопутных персидских сил и объявляет, что персы несут кару за *гордость*, за то, что пренебрегли наличным счастием в погоне за далеким.

Кто смертен, пусть душою не возносится.
Из гордости цветущей колос бедствия
Рождается, и жатва жнется грозная!

Возвращается Ксеркс, и все голоса сливаются в один общий вопль скорби и отчаяния. Конец.

Попытаемся представить себе, что мог испытывать зритель-эллин, глядя на эту трагедию, слушая эти вопли и стенания. «Персы» были поставлены на сцену тогда, когда еще живы были в душах воспоминания о поруганных врагами храмах, об опустошенных городах и селах, об изнасилованных женах и дочерях. Нам сквозь даль времен могут быть одинаково понятны и горе персов по поводу их поражения, и радость греков. Но не мог же тогдашний эллин относиться к этому так просто и объективно. Что же, спросим еще раз, должен он был испытывать, слушая вопли персов о гибели их могущества? Всего бы естественнее ожидать торжествующего злорадства, грубого смеха амфитеатра в ответ на стоны и вопли сцены. Однако глубокое благородство, которым дышит эсхилова трагедия, делает совершенно невозможным такое предположение.

Но столь же невозможно предположить, чтоб зритель, поднявшись душою выше бушующего на сцене отчаяния, воспринимал зрелище как поучительный пример того, к чему приводит «гордость». Даже при простом чтении трагедии, даже нас скорбь персов заражает и потрясает. А нам в настоящее время трудно даже представить себе ту степень восприимчивости и подвижности психики, какою обладал тогдашний зритель. Он цельно и без сопротивления сливался с тем, что происходило на сцене, переживания действующих лиц были для него подлинными собственными переживаниями.

А на сцене происходило вот что. Хор персидских старцев, в страшных, бледных масках, метался с воплями по орхестре, рвал бороды, раздирал на себе одежды. Гремела экстатическая музыка, заливались вакхические флейты. Крутящийся вихрь скорби и отчаяния властно втягивал в себя души зрителей, они слушали — сами бледные, задыхающиеся и потрясенные. И никому уже не приходило в голову, что ведь рыдают-то перед ними их лютые враги, и рыдают именно над тем, что им не удалось превратить эллинов в своих рабов! Теперь это было уже неважно.

Души опьяненно жили чистою скорбью, оторванною от жизни и реальности. Что значили теперь эллины и персы, свобода Эллады и гибель персидского могущества! Все было тленно, все было равноценно в своем ничтожестве пред тою скорбью и ужасом, сквозь которые ощущалась какая-то грозная, все поглощающая бесконечность.

Представим себе недавнее прошлое Италии. Гарибальди со своею удалою тысячью высадился в Сицилии. Как будто ураганом ударило по народному морю,— оно взволновалось и закипело, ринулось на твердыни насильнической власти, опрокинуло их и смыло. И юг Италии свободен, бежит из Неаполя трусливый и жестокий Франческо Второй, и народный вождь вступает в столицу.

И вот один из гарибальдийцев пишет драму. Не Гарибальди вдохновляет его,— этот удивительный человек, не знающий, что такое невозможность,— не подвиги его лихих волонтеров, не радостно-грозная стихия поднявшегося за свободу народа, нет! Рисует он двор неаполитанского короля Франческо, ужас его при известии о высадке тысячи в Сицилии, всеобщее отчаяние при приближении победоносного Гарибальди, вопли, стоны — и силою художественного заражения заставляет души зрителей зазвучать в один тон с этими воплями и стонами сломленных насильников. Да что же это такое?! Ведь это — бессмыслица, это — психологическая невозможность! Если бы кто-нибудь рассказал подобное, никто бы не поверил. И, однако, именно это самое представляют «Персы» Эсхила,— Эсхила, который сам был тяжело ранен при Марафоне, который сражался и при Саламине, и при Платеях.

И чудовищная трагедия эта не вызывала в слушателях недоумения, она будила в их душах божественный отклик, созвучное настроение. Мало того, это настроение — для нас такое непонятное и противоестественное — для тогдашнего эллина было не случайным, а, по-видимому, наиболее естественным. Не один Эсхил отозвался на радость освобождения Эллады патетическим живописанием скорби персов. До нас дошли сведения еще об одной трагедии, имевшей сюжетом также борьбу Эллады с Персией. Это — «Финикинянки» Фриниха, поставленные на сцену несколькими годами раньше эсхиловых «Персов». И здесь опять в центре трагедии были не подвиги эллинского мужества, не радость победы, а скорбь персов о гибели их могущества!

Как же далеко ушел прочь от Аполлона теперешний трагический грек с его нездоровым исканием скорби во что бы то ни стало! Радостью и счастьем должен был служить человек Аполлону. Теперь же самую чистую, беспримесную радость он умудрялся претворить в скорбь, умудрялся увидеть в ней только напоминание о тленности и преходимости всего человеческого.

Не верь жизни! Не возносись! Помни о черных силах, неотступно стоящих над человеком!

А между тем в той же грандиозной борьбе крохотного эллинского народа с могучей Персией — мало ли в ней было того, что могло бы исполнить дух как раз великой веры в жизнь и в силу человеческого духа, веры в преодолимость грозных наджизненных сил? Ну, хотя бы, например, гибель Леонида с его спартанцами при Фермопилах, как о ней рассказывает Геродот. Горсть воинов перед несметными полчищами врагов. Близок бой, а они забавляются играми, расчесывают и украшают себе волосы. Удивленный, смеющийся царь персидский — и смущенный ренегат, объясняющий ему: «Царь! Таков у них обычай: когда они идут на смерть, они украшают свои головы». Бой. «Всему миру и особенно царю стало ясно, что на свете много л ю д е й, но мало м у ж е й». Предатель заводит персов в тыл спартанцам. Всему конец. Они отпускают союзников и остаются одни. Им говорят: «Но ведь врагов так много, что стрелы их затемнят солнце!» Они усмехаются и отвечают: «Тем лучше — мы будем сражаться в тени». И вот — последний бой, врагам нет числа, все оружие поломалось; бойцы окружены на холме и все гибнут под ударами врагов и, умирая, улыбаются гордыми, светлыми улыбками.

Если для трагедии даже так уж необходимо страдание, то мало ли здесь страдания? Однако всякий, кто хоть сколько-нибудь уразумел дух эллинской трагедии, сразу почувствует, что для трагедии такая тема совершенно не годилась. Да, страдание налицо. Но силою и величием человеческого духа оно преодолено; есть страдания, есть смерть, но нет ужаса, а вместо него — поднимающая душу радость борьбы, освящение и утверждение жизни даже в страданиях и смерти, бодряще-крепкое ощущение, что «на свете нет ничего страшного». «Женоподобному» Дионису при таком строе чувств делать было бы нечего. Это — настроение «бойца» Аполлона. А в трагедии царил Дионис.

Отношение эллина к эсхиловым «Персам» станет для нас еще более характерным, если мы сопоставим его с одним эпизодом, о котором рассказывает Геродот. В начале V века, во время восстания ионийцев против персов, персидские полчища разрушили Милет, греческий город на берегу Малой Азии, издавна бывший в союзе с Афинами. Трагик Фриних написал по этому поводу трагедию «Взятие Милета». Геродот рассказывает: глядя на трагедию, все зрители заливались слезами и... приговорили Фриниха к штрафу в тысячу драхм за то, что он напомнил им об их горе. И на будущее время специальным законом было воспрещено ставить на сцене эту пьесу.

То своеобразное наслаждение скорбью, которое давала эллину его трагедия, обусловливалось как раз *оторванностью этой*

скорби от жизни. Зритель мог празднично сливаться со скорбью эсхиловых «Персов» именно потому, что до подлинной скорби персов об их поражении эллину не было и не могло быть никакого дела. А та скорбь, которая лилась из трагедии Фриниха, не могла вознести зрителя в «высший мир», она властно напоминала о горестях и опасностях живой жизни. Душа загоралась стремлением к *действию,* рука хваталась за рукоятку меча; глаза обращались к востоку, где глухие громовые раскаты говорили о нараставшей грозе, которая вскоре должна была налететь на Элладу... Долой такую трагедию! Нынче праздник! А все разрывающий Дионис не терпит смешения праздника с буднями, не терпит и смешения искусства с жизнью. Искусство никоим образом не должно ворошить воли, оно должно повергать человека в «безвольное созерцание». В эллинской трагедии Дионис на деле осуществлял ту однобокую, враждебную жизни теорию искусства, которую в XIX веке воскресил ненавистник живой жизни Шопенгауэр: искусство должно вырывать человека из бесконечного потока «желания», освобождать от назойливого напора воли и повергать душу в чистое, ничем не нарушимое, безвольное созерцание.

Однако случалось иногда, что и трагедия спускалась со своих высот и снисходила до горестей живой человеческой жизни. Но и в этом случае она оставалась верна себе.

В двадцатых годах V века, в начале пелопоннесской войны, в Афинах свирепствовала страшная моровая язва. Фукидид рассказывает: «Люди умирали, как овцы... Никто не заботился ни о чем священном,— ни божеском, ни человеческом. Люди бросились в наслаждения, каждый спешил насладиться как можно скорее и как можно приятнее, потому что жизнь и ее блага считал верными лишь на несколько дней. Ни страх перед богами, ни страх перед человеческими законами никого не удерживал. Было все равно, почитать богов или нет,— люди видели, что погибают все без различия. И преступления никто не боялся,— всякий ждал, что умрет раньше, чем придет наказание...»

И в это-то время Софокл ставит на сцену своего «Эдипа-царя». Трагедия разыгрывается на фоне моровой язвы, посетившей город Эдипа Фивы. С глубоким волнением должен был слушать зритель рыдания хора, вызванные скорбью, столь близкою и ему самому.

Не уйти никуда от несчётных скорбей:
Ходит всюду болезнь, люди в страхе немом,
О спасенье не думая, гибнут.
Благодатных плодов не приносит земля,
Жены в муках кричат и не могут родить...

Раздаются мрачные
Песни похоронные.
Ты приди, помилуй нас,
Защити от гибели,
О, Тучегонителя
Золотая дочь!

Трагедия и не скрывала, что говорит о горе, которым в эту минуту болели все: молитва хора в первую очередь обращена к «золотой дочери тучегонителя» Афине, а она была покровительницей именно города Афин, а не эдиповых Фив. Естественно, что зритель при таких обстоятельствах ждал от трагедии не эстетического наслаждения, а чего-то более для него важного — живого утешения в скорби, того или другого разрешения давившего всех ужаса.

И Дионис приходил со своим утешением и разрешением. Он развертывал перед зрителем чудовищные ужасы эдиповой судьбы, показывал, как беспощадно жесток Рок, как все тленно и непрочно в человеческой жизни.

Ах, вся твоя жизнь,
О, род человеческий,—
Какое ничтожество!
Казаться счастливыми,—
Вам счастие большее
Доступно ли, смертные?
Казаться,— не быть,—
И то на мгновение.

Скорбь, ужас, отчаяние бились в душе — все быстрее, все сильнее и ярче; и вдруг слепящей молнией вспыхивало в душе огненное безумие. Скорбь претворялась в несказанную радость, самозабвенно упивался человек безмерным своим горем. В страдальческом экстазе разряжалось сгустившееся напряжение, и сладкие, облегчающие рыдания потрясали грудь. Низшая форма дионисовского преодоления ужаса, буйственная самоотдача мгновению, пьяное наслаждение от сладострастного нарушения всего дозволенного, «упоение в дуновении чумы» — все это здесь облагораживалось и просветлялось. Душа очищалась от охватившей ее мути, и человеку легче становилось нести окружавшие его живые ужасы.

И этим он был обязан Дионису. Только Дионис мог дать утешение и поддержку теперешнему человеку. Апполону делать было нечего в экстатической толпе этих людей, пьяных от скорби своей и скорби выдуманной. Его призыв мог бы быть только такой:

Но и от зол неизбывных богами вам послано средство:
Стойкость могучая, друг,— вот этот божеский дар.

То одного, то другого судьба поражает; сегодня
С вами несчастье, и вы бьетесь в кровавой беде,
Завтра в другого ударит. По-женски не падайте духом,
Бодро, как можно скорей, перетерпите беду

(Архилох)

Но смог ли бы услышать этот мужественный призыв «нестойкий» человек трагической поры, тянувшийся к ужасу больною своею душою? Совсем другие требовались люди, с более крепкими душами, чтоб суметь услышать такой призыв и, стиснув зубы, сказать перед лицом грозной неизбежности, как Одиссей:

Много встречал я напастей, немало трудов перенес я
В море и битвах; пускай же случится со мною и это!

Эллинская трагедия родилась из дифирамба богу Дионису. Хор певцов в козлиных шкурах, в масках сатиров, под исступленную фригийскую музыку в пении и пляске славил своего бога, его страдания и даруемую им людям радость. С течением времени из хора выделился запевала, актер. Он не рассказывал о Дионисе, а изображал самого Диониса, его деяния и страдания; хор же сопровождал игру запевалы пением и танцами. Вот — зерно трагедии. Первоначально действующим ее лицом, единственным и исключительным ее героем был страдалец-бог Дионис.

Ницше обращает внимание на чрезвычайную важность происхождения трагедии из хора сатиров для правильного понимания трагедии. «Природу, еще совершенно нетронутую культурой, вот что видел грек в своем сатире. То был первообраз человека, выразитель его высших и сильнейших возбуждений, как воодушевленный мечтатель, приведенный в восторг близостью бога, как разделяющий его страдания товарищ, в котором отражаются муки божества, как вещатель мудрости, исходящей из самых глубин природы. Здесь открывался истинный человек,— бородатый сатир, возликовавший своему богу. Дионисический грек ищет истины и природы в ее высшей мощи, он чувствует себя чарами превращенным в сатира. Охваченная такими настроениями, ликует и носится толпа служителей Диониса, могущество которого изменило их в их собственных глазах: они видят в себе вновь возрожденных гениев природы — сатиров... Зрители трагедии узнавали самих себя в трагическом хоре. В сущности, никакой противоположности между публикой и хором не было; ибо все представляло лишь один большой, величественный хор пляшущих и поющих сатиров или людей, представителями которых являлись эти сатиры».

Ницше очень дорожил мыслью о роли, которую играл в трагедии первоначальный хор сатиров. В письме к Эрвину Роде он пишет: «Мое понимание сатиров представляется мне чрезвычайно важным в этом круге исследований. И оно есть нечто существенно новое,— не правда ли?»

Несомненно, во всяком случае, одно: хор играет в трагедии огромную роль; именно в нем — центр тяжести трагедии, в хоре, песни которого нам, современным читателям, так часто кажутся не идущими к делу и только замедляющими развитие «действия».

И вот, прежде всего нас поражает одна характерная особенность хора — его странная пассивность, его неизменное отвращение ко всякому *действию*. Величественный, глубокомысленный и вдохновенный, когда дело идет о созерцании, о проникновений в «тайны бытия», хор становится раздражающе-жалок, труслив и растерян, как только требуется действие. Больше того. Всякое решительное действие вызывает в нем глубоко-мещанское недоумение, боязнь и осуждение. Хор все время тайно борется с устремлениями трагического героя, старается подрезать его крылья, подсечь его волю, доказать ему ненужность и бесплодность всякого действия.

Прометей, за его благодеяния людям, прикован Зевсом к скифской скале, терпит жестокие муки, но отказывается покориться и принести повинную. И хор Океанид убеждает его:

Смири, смири, титан могучий,
Свой гордый дух и богу покорись!..
Довольно ты заботился о людях,—
И о себе подумай!

«Электра» Софокла. Агамемнон убит своею женою Клитемнестрою. Дочь их Электра неутешно скорбит о том, что смерть отца остается неотомщенною. Хор микенских девушек, подруг Электры, поет:

Вместо умеренной скорби, в безмерную
Скорбь ты вдаешься и вечными стонами
Губишь себя; в этом нет избавления.
Что ж ты стремишься душой к невозможному?

Не у нее ведь одной скорбь в жизни, вот и сестры ее в таком же положении, а терпят. «Ты,— говорит хор,— только вредишь себе, вызывая к себе вражду и делая *неугодное сильным*».

Электра решает взять на себя священное дело мести за отца и приглашает в помощницы сестру Хрисотемиду. Та испуганно отказывается: «Ведь ты женщина, не мужчина... Умоляю, укроти себя, научись, наконец, в своей слабости преклоняться перед силою». И хор спешит поддержать слова робкой:

Послушайся! Нет ничего полезнее
Благоразумия и осторожности!

«Антигона» Софокла. Царь Креонт запретил под страхом казни хоронить труп Полиника. Антигона, сестра Полиника,— «святая преступница»,— тем не менее хоронит тело брата. Ее схватывают и приводят к царю. Хор замечает:

Отца сурового суровое дитя,—
Пред бедами она склоняться не умеет!

О, сам он, хор,— *он* склоняться умеет! Антигона говорит Креонту:

Когда б не страх, сковавший им уста,
То все они меня бы оправдали...
Так мыслят все, но пред тобой молчат.

Девушка присуждена к смертной казни. И хор поучает ее:

Велик закон божественный,
Но людям надо слушаться
И власти человеческой:
В себя ты слишком верила,—
И вот за то умрешь!

Антигону уводят на казнь. Хор ей вслед рассказывает истории разных страдальцев — Данаи, Ликурга, других:

И всех их настигли, дитя,
Богини судьбы долговечные!

И кончает, конечно, всегдашним припевом:

Как ужасна сила Рока!
От нее спасти не могут
Ни твердыни, ни войска ..

«Эдип в Колоне» Софокла. Измученный, слепой Эдип приходит с дочерью Антигоною в рощу Евменид в Колоне. Хор колонских старцев узнает, кто он, и в ужасе приказывает ему немедленно удалиться.

Эдип. Пощадите!
Как же вы обещали не гнать нас?
Хор. Нет, нет!
Встань, не медли, беги же, скорее беги,
Чтоб и нас не постигло проклятье!

Антигона умоляет их сжалиться. Хор отвечает:

Обоих вас жалеем, дочь Эдипа!
Но как же быть? Ужасен гнев богов,
И наших слов мы изменить не можем.

«Как же быть»... Вспомним Гомера. Феакийцы в подобных обстоятельствах знали, как быть. «Жалея» странников, они отвозили их на своих кораблях на родину, хотя им была хорошо известна страшная угроза Поссидона.

А исполнит ли то Посейдон-земледержец,
Иль не исполнит,— пусть будет по воле великого бога.

«Агамемнон» Эсхила. Хор глубокомысленно философствует о призрачности счастья. Вдруг из дворца доносятся крики убиваемого Агамемнона. Хор начинает растерянно метаться по орхестре.

Первый. То царь кричит. Творится там ужасное!
Что делать нам теперь? Друзья, подумаем!

Второй. Я мнение свое готов вам высказать:
Нам следует скорей созвать народ сюда.

Третий. По-моему же, в дом ворваться нужно бы
И дело, обнаживши меч, исследовать.

Четвертый. Вполне такому мненью я сочувствую:
Не время медлить, надо тотчас действовать.

Пятый. Да, времени терять нельзя.

И так далее. В дверях появляется Клитемнестра с окровавленным топором, за нею виднеется труп Агамемнона.

Можно ли себе представить эллина гомеровского, «узнающего себя» в подобном хоре, «сливающегося духом» с этими мокрыми тряпицами? Человеку действия при таких обстоятельствах понятно и близко одно — инстинктивный прыжок вперед, стремительность, быстрый удар. А тут — мечутся, толкутся, болтают... Тьфу! Только плюнул бы, глядя на них, гомеровский эллин и в негодовании пошел бы прочь.

Случайность ли это, что хор повсюду, во всех дошедших до нас трагедиях, так пассивен, труслив и робок? Случайность ли, что он неизменно состоит из дряхлых старцев, робких, трепещущих женщин, безвольных рабынь, что даже когда он состоит из воинов, как в «Аяксе» Софокла, то и воины эти трусливы, «словно глаза робкого голубя»? И случайность ли, что именно устами этих слабых и бездеятельных говорит глубочайшая мудрость трагедии?

В той узкой области переживаний, которую захватывал первоначальный дифирамб хора сатиров, настроение глубокой пассивности было вполне естественным. Что такое, по Ницше, были эти сатиры? Гении природы, приведенные в восторг близостью бога, разделяющие его страдания товарищи, в которых отражаются муки божества. «Хор,— говорит Ницше,— созерцает в видении господина и учителя Диониса, он видит, как бог страждет и возвеличивается, и поэтому сам не принимает участия в действии».

Но время шло. Дифирамб превратился в трагедию. Вместо Диониса на подмостки сцены выступили Прометеи, Этеоклы,

Эдипы, Антигоны. Однако основное настроение хора осталось прежним. Герои сцены могли бороться, стремиться,— все они были для хора не больше, как масками того же страдающего бога Диониса. И вся жизнь сплошь была тем же Дионисом. Долго сами эллины не хотели примириться с этим «одионисированием» жизни и, пожимая плечами, спрашивали по поводу трагедии:

— При чем же тут Дионис?

Пламенные Прометеи, бурные Этеоклы, энергичные Антигоны — что у них было общего с женоподобным «богом без мускулов» Дионисом? Но могучими своими чарами Дионис околдовал всех, всех заставил смотреть на жизнь глазами хора своих служителей. На сцене аполлинические образы героев бились изо всех сил, стремясь к намеченным целям,— Дионис через хор говорил зрителям, что стремления тщетны, цели не нужны, что жизнью правит железная необходимость, и не человеку бороться с нею. Смирись, страдай, познай, что в страдании — существо жизни,— и ярко воссияет из страдания свет и горячо озарит темную, холодную жизнь.

Какая при таком жизнеотношении возможна активность? Правильно говорит Шопенгауэр о трагедии: «Столь могущественные дотоле *мотивы* теряют свою силу, и, вместо них, полнейшее познание существа мира, действуя, как *квиетив* воли, приводит *резиньяцию*, отказ не только от жизни, но и от всего хотения самой жизни».

В этих нескольких строках Шопенгауэра больше понимания духа эллинской трагедии, чем во всей блестящей, но совершенно фантастической книге Ницше.

Черною тучею висит над человеком «сумрачная, тяжкодарная судьба»; жизнь темна и полна страданий, счастье непрочно и обманчиво. Как жить? Можно на миг забыться в страдании, опьяниться им, как вином. Но в ком есть хоть капля жизненного инстинкта, тот никогда не сможет примириться с такою жизнью. А жить надо — жить под властью божества, непрерывно сыплющего на человека одни только страдания и ужасы. Кто же виноват в этих страданиях и ужасах, как не божество?

Эллин гомеровский, умевший оправдывать мир силою собственного духа, не приставал к божеству с упреками за зло мира и с требованиями оправдаться в нем. Теперешний эллин из самого себя оправдать мира не мог. Слабая душа требует «нравственного миропорядка», требует от суровой, аморальной жизни, чтобы зло шло к человеку только за его *вину*. Прямо непонятно, как Ницше, так всегда настаивавший на аморальном существе жизни, не хотел видеть, что одною из центральнейших проблем милой ему

трагедии была как раз проблема «нравственного миропорядка» — нелепейшая из всех проблем, какие когда-либо ставило себе упадочное человечество.

Трагедия постоянно ставит вопрос: откуда зло в мире? И неуверенно отвечает: от самого человека, от его «гордости», от небрежения божескими законами. Но то и дело сама же опровергает себя. Ни Эдип, ни Филоктет, ни Антигона не заслужили обрушившихся на них бедствий. И повторяется вековечная история библейского Иова. Человек «ко Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с богом». Ведомая на казнь Антигона спрашивает:

Но в чем вина моя, о боги?.. Нет,
Зачем к богам невнемлющим взываю,
Кого из них о помощи молю?
Воздав им честь, я гибну за нечестье!..
Когда неправду терпят сами боги,—
Пускай умру...

И, глядя на ужасы смерти Геракла и его жены Деяниры, горько жалуется Софокл на «великую неправду богов».

Мы от них родились, их «отцами» зовем,
А они на подобные муки глядят!
То, что будет, неведомо смертным, а то,
Что теперь перед нами,— ужасно для нас
И позорно для них...
Покидай же, о, дева, скорей этот дом.
Ты увидела много нежданных смертей,
Никогда до сих пор не случавшихся бед,—
И средь них ни одной, где виновник — не Зевс.

И неистовыми проклятиями осыпает эсхиловский Прометей жестокого Зевса, карающего его за любовь к людям.

Никто
Среди богов за смертных не вступился.
От гибели я смертных спас и принял
Такую казнь за то, что страшно видеть,
Страшней терпеть. Я пожалел людей,
Но жалости не заслужил от бога.

Но в том-то и существо дионисических бунтовщиков-богоборцев, что они с фатальною необходимостью оказываются всегда «бунтовщиками слабосильными, собственного бунта своего не выдерживающими», как говорит о них Великий Инквизитор у Достоевского. Загадочными окольными путями человек приходит к тому, что готов снова подставить голову под страдания, за которые сейчас только проклинал божество, и добровольно надевает на руку железное кольцо от цепи, которою был окован. Тут нельзя требовать логики, нельзя спрашивать об основаниях.

Пережито что-то огромное, мучительно-яркое, потрясающее,— и человек примирился со всем. «Это чувство ясное и неоспоримое,— говорит у Достоевского Кириллов.— Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда! Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то, что любите,— тут выше любви».

Или, как рисует Шопенгауэр это просветление страдающих, вдруг почувствовавших основное единство мира: «В безмерности страдания раскрылась перед ними последняя тайна жизни, именно что зло и злоба, страдание и ненависть, мучимый и мучитель — все это одно и то же... Человек отрешается от воли к жизни, умерщвляет в себе всякое хотение и обращается в носителя безвольного познания... Счастье и несчастье исчезают: мы уже более не индивидуум,— он забыт,— а только чистый субъект познания; мы существуем уже только как единое око мироздания, всякое различие индивидуальности уничтожается до того, что становится безразлично, принадлежит ли созерцающее око могущественному владыке или угнетенному нищему, смотрим ли мы на заходящее солнце из темницы или из дворца».

Аполлон в негодовании отшатнется от этой мертвой мудрости; он скажет: до чего же должна быть сокрушена воля, сила и стойкость человека, чтобы он смог принять *такое* единство мира и *такое* его оправдание! Но не увидит трагический человек негодования, сверкнувшего в глазах бога жизни и счастья. Повергшись ниц перед своим страдающим богом, он благоговейно присоединит свой голос к хору эсхилова «Агамемнона»:

Зевс! Ты ведешь нас дорогою мудрости,
Ты указал нам закон,— чрез страдания
  Правде твоей обучаться.
Давит во сне нашу душу смятенную
Память о бедах. И волей-неволею
  К мудрости смертный приходит.

Следующие за этим два стиха очень темны в подлиннике. Но смысл их, по-видимому, таков:

Так нам насильственно милость дарят свою
  Боги, правители мира...

Эта «насильственная милость» — не тот же ли божественный «аркан», о котором у Достоевского говорит Дмитрий Карамазов? «На таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтоб захватить его, как на аркан, и скрутить внешней силой. Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой!.. Пострадать хочу и страданием очищусь!»

Великую ношу поднял на свои плечи маленький эллинский народ. В колоссальном, с тех пор невиданном напряжении сил он создал во всех областях духа в течение нескольких веков ценности, из которых тысячелетия не перестают черпать полными пригоршнями. Эта чудовищная работа не прошла даром для эллинского духа. Она глубоко подточила его здоровье и быстро истощила ту жизненную почву, которая его питала. Величайшее здоровье духа эпохи гомерово-аполлоновской быстрым размахом перешло в величайшую хворость эпохи трагически-дионисовской, чтоб затем умереть в плоском александрийстве. Но эта хворость трагической эпохи, это болезненное увядание ее жизненных сил было исполнено невиданной красоты. Такою красотою блещет умирающий осенний лес в своей чудесной игре красок. Жизненные процессы его останавливаются, деятельность корней замирает, листва охвачена тлением. И однако в нем такая разнообразная, яркая, захватывающая красота, какой, может быть, не давал и живой летний лес.

Тем не менее эта осенняя красота эллинской трагедии слишком громко говорит о студеных ночах души, об увядающих силах жизни, о замирающем жизненном инстинкте. Является досадливое желание стряхнуть с себя сгущенно-мрачный гнет, которым трагедия пытается придавить человека; душа возмущается против этого безмерного, намеренно раздуваемого в себе ужаса перед жизнью, и мы бессознательно сторонимся трагедии. Вот почему так неизменно бесплодны непрекращающиеся попытки театра воскресить эллинскую трагедию. Слава богу, даже и мы для нее недостаточно декаденты. Вечно свежими и молодыми, полными неумирающей жизни останутся для человечества поэмы Гомера. Но только гений Мунэ-Сюлли или Сандро Моисси сможет на миг вдохнуть жизнь в прекрасный труп эллинской трагедии, невоскресимый к прочной жизни.

VIII

МЕЖДУ ДВУМЯ БОГАМИ

«Рождение трагедии» написано Ницше в молодости, когда он находился под сильным влиянием Шопенгауэра. Сам он впоследствии указывал, что мысли свои, ничего не имевшие общего с Шопенгауэром, он выразил в шопенгауэровских формулах и этим испортил свою книгу. В дальнейшей своей эволюции Ницше решительно отрекся от Шопенгауэра, признал его своим антиподом, больше того — фальшивомонетчиком. Отрекся он и еще от очень многого, о чем говорил в своей книге.

Но Дионису Ницше остался верен до конца жизни. Главною своею заслугою он считал выдвинутую им дионисовскую пробле-

му, и на предельной грани своей деятельности, под черными тучами уже надвигавшегося безумия, он называл себя «последним учеником философа Диониса».

Мало того. В своем поклонении Дионису Ницше пошел как будто даже еще дальше сравнительно с «Рождением трагедии». В книге этой, как мы видели, только взаимодействие Диониса и Аполлона делает возможною жизнь; только Аполлон спасительною своею иллюзией охраняет душу от безмерного ужаса, который охватывает ее при созерцании стихии дионисовой. Но об Аполлоне Ницше впоследствии как будто совсем забывает. Он до странности редко и до странности поверхностно упоминает о нем, все время говорит от имени одного лишь Диониса и его же именем окрещивает любимейшего своего героя, Заратустру. «Дионисическое чудовище»,— говорит он про Заратустру.

Вспомним, однако, в чем видел Ницше существо Аполлона. «Страдания индивидуума Аполлон побеждает светозарным прославлением *вечности явления,*— читаем мы в «Рождении трагедии».— В имени Аполлона мы объединяем все те бесчисленные иллюзии прекрасной кажимости, которые в каждое данное мгновение делают существование желанным». Аполлон — бог principii individuationis, бог восприятия мира в формах времени и пространства. Под его чарами человек «возводит голое явление, создание Маии, на степень единственной и высшей реальности, ставя его на место *сокровеннейшей и истинной сущности вещей*». Между тем лишь прозрением именно этой «истинной сущности вещей» кладется, по Ницше, начало культуре дионисовской.

Но не было человека, который бы так решительно, с такою страстною насмешкою осмеял эту «сокровеннейшую и истинную сущность вещей», как позднее именно сам Ницше.

«Понятия «по ту сторону», «истинный мир» выдуманы, чтобы обесценить *единственный* (курсив Ницше) мир, который существует, чтобы не оставить никакой цели, никакого разума, никакой задачи для нашей земной реальности» (*Ecce homo*). «Кажущийся мир есть единственный: истинный мир только *прилган* к нему» (*Сумерки идолов*). В делении мира на истинный и кажущийся Ницше усматривает глубокую трусость перед жизнью, внушение декаданса, симптом *нисходящей* жизни.

И само «дионисическое чудовище» Заратустра говорит:

«Как? Времени больше не существует, и все преходящее — только ложь? Злым называю я это и человековраждебным,— все эти учения об Едином и Непреходящем. Все *не*преходящее, *оно* есть только подобие. И поэты лгут слишком много [1]... Итак, о творящие, будьте приверженцами и оправдателями всего преходящего».

---

[1] Все преходящее — Только подобье (*Гёте.«Фауст»*)

Казалось бы, при таком новом в сравнении с прежним, при таком недионисическом отношении к миру реальному Ницше должен был внимательнее вглядеться в Аполлона и спросить себя: раз аполлоновская «светлая кажимость» есть единственная истинная реальность, то что же такое бог этой реальности? Не слишком ли было поверхностно прежнее понимание сущности этого бога?

Но Ницше подобною задачею не заинтересовался. Он просто отвернулся от Аполлона, забыл о нем. Что ж, забудем и мы! Забудем — и пойдем вслед за Ницше, станем наблюдать те исправления и добавления, которые он постепенно вносит в своего Диониса.

То же «дионисическое чудовище» Заратустра,— странным образом носящее имя основателя одной из самых недионисических религий,— то же дионисическое чудовище говорит:

«Некогда в заблуждении своем стремился и Заратустра по ту сторону человека, подобно всем приверженцам потустороннего мира. Страдающего и растерзанного бога творением представлялся мне тогда мир. Сном представлялся мне тогда мир и художественным созданием бога,— цветным дымом перед глазами божественно-недовольного... Прочь от себя хотел посмотреть творец — и тогда создал он мир. Пьяная радость для страдающего — смотреть прочь от своего страдания и терять себя. Пьяною радостью и самопотерею мыслился для меня когда-то мир. Страданием было бы теперь для меня и мукою для выздоровевшего — верить в такие призраки: страданием это было бы для меня и унижением».

Но ведь Дионис — именно бог страдающий и растерзанный. Именно в «Рождении трагедии» мир представлялся Ницше сном и цветным дымом. «Истинно-сущее и Первоединое,— писал он,— как вечно-страждущее и исполненное противоречий, нуждается для своего постоянного освобождения в восторженных видениях, в радостной иллюзии». Слушая подобные речи «дионисического» Заратустры, мы готовы спросить так же, как древний эллин по поводу трагедии:

— При чем же тут Дионис?

Мир был для Ницше творением божества страдающего и растерзанного. Также и человек в этом мире представлялся автору «Рождения трагедии» «диссонансом в человеческом образе». Древний эллин оказался способным познать Диониса именно потому, что был таким «диссонансом»: он обладал «исключительно-болезненною склонностью к страданию» и «ужасающею глубиною миропонимания», открывавшею ему грозную мудрость лесного бога Силена. Но Заратустра только с ненавистью и отвращением относится к человеку, поскольку он является «диссонансом»: наличный человек вызывает в нем такой же «смех и болезненный

стыд», какой в человеке вызывает обезьяна. «Что велико в человеке, это то, что он — мост, а не цель; что можно любить в человеке, это то, что он — переход и гибель... Человек есть нечто, что должно преодолеть».

По-нашему, это несомненно так. Но мы спросим опять:

— При чем же тут Дионис?

О дионисическом исступлении вот как говорил Ницше в «Рождении трагедии»: «Еще в немецком средневековье, охваченные тою же дионисическою силою, носились все возраставшие толпы, с пением и плясками, с места на место; в этих плясунах св. Иоанна и св. Вита мы узнаем вакхические хоры греков... Есть люди, которые от недостаточной опытности, или вследствие своей тупости, с насмешкою или с сожалением отворачиваются, в сознанье своего собственного здоровья, от подобных явлений, считая их «народными болезнями»: бедные, они и не подозревают, какая трупья бледность лежит на этом пресловутом здоровье, как призрачно оно выглядит, когда мимо него вихрем проносится пламенная жизнь дионисических безумцев!»

Но не эту ли именно пламенную жизнь с ее касанием к мирам иным имеет в виду Заратустра, когда говорит: «Все потусторонние миры создало страдание и бессилие, и то *короткое безумие счастья, которое испытывает только самый страдающий»*. Мы знаем, что «пламенная жизнь дионисического безумия» охватывала народы неизменно в самые ужасные, истощающие дух исторические эпохи. (Пляски св. Иоанна и св. Вита, например,— на почве страшной «черной смерти», опустошавшей Европу в XIV веке.) «Бешенство разума было богоподобием! — возмущается Заратустра.— Братья мои, слушайтесь лучше голоса здорового тела: это более честный и более чистый голос. И он говорит о смысле земли». И в «Антихристианине» Ницше восклицает: «Высшие состояния, которые провозглашены идеалом человечества, как ценность из ценностей, суть эпилептоидные формы!» Говорит он это как раз о тех состояниях, крайним выражением которых были именно пляски св. Иоанна и св. Вита.

Наконец, и сама трагедия — эта форма наивысшего будто бы утверждения жизни — начинает по временам вызывать в Ницше «старые сомнения о влиянии искусства». Он спрашивает: «Действительно ли трагедия, как думал Аристотель, разряжает сострадание и страх, так что слушатель возвращается домой более холодным и спокойным? Верно ли, что истории с привидениями делают человека менее боязливым и суеверным?.. Возможно, что в каждом отдельном случае трагедия смягчает и разряжает страх и сострадание; тем не менее, в общем они могли бы увеличиваться под действием трагедии, так что в *целом трагедия делала бы людей более трусливыми и сантиментальными*. Это соот-

ветствовало бы и мнению Платона, что трагические поэты, а также целые общины, которые особенно ими наслаждаются, вырождаются и все больше предаются неумеренности и разнузданности».

И вот трагического поэта — это наивысшее, по Ницше, проявление человеческого «дерзания» и героизма — он ставит теперь рядом с ненавистным теологом, а искусство его вполне правильно называет наркотическим. «Религия и искусство пытаются воздействовать на изменение сознания... отчасти через пробуждение наслаждения скорбью и вообще эмоцией (что образует исходную точку трагического искусства). Чем более человек склонен перетолковывать бедствие и приспособляться к нему, тем менее он способен усмотреть причины бедствия и устранить их; временное устранение боли и наркотизация, которыми обыкновенно пользуются, например, при зубной боли, удовлетворят его и при более серьезных страданиях. Чем более падает господство религий и всякого рода наркотических искусств, тем основательнее люди обращают внимание на действительное устранение бедствий; правда, это наносит ущерб сочинителям трагедий, ибо материал для трагедии все сокращается, так как область неумолимого и неотвратимого рока становится все уже,— и еще вреднее это для священнослужителей»...

На наших глазах один за другим отпадают все признаки, которые делают Диониса именно Дионисом. Вместо безвольного слияния с «Первоединым» Ницше страстно и настойчиво требует теперь от человека *воли,* действия, борьбы за свой собственный счет, призывает людей к «верности земле», чтоб возвращен был земле ее смысл, чтоб человек гордо нес на земле свою земную голову и делал дело земли. В «Рождении трагедии» возвратить дионисического человека к делу земли мог только Аполлон своею «иллюзией».

Когда теперь Ницше начинает восхвалять Диониса, то восхваляет он его как раз за то, что ему совершенно несвойственно. В «Сумерках кумиров» Ницше говорит: «Лишь в дионисовских мистериях выражается основной факт эллинского инстинкта — его «воля к жизни». Что гарантировал себе эллин этими мистериями? Вечную жизнь, вечное возвращение жизни; истинную жизнь как общее продолжение жизни через соитие (!!), через мистерии половой жизни. Поэтому в половом символе греки видели достойный уважения символ сам по себе, подлинный глубокий смысл всего античного благочестия... Я не знаю высшей символики, чем эта греческая символика, символика Дионисий. В ней придается религиозный смысл глубочайшему инстинкту жизни, инстинкту будущности жизни, вечности жизни; самый путь к жизни, соитие, понимается как священный путь».

Это — полнейшее извращение смысла дионисовых мистерий, еще большее, чем извращение смысла трагедии, которое проделал Ницше. Вечная жизнь мистерий никоим образом не понималась в смысле вечного продолжения жизни на земле. Земная жизнь трактовалась в них, как несчастье; душа должна была проделывать все новый и новый круг рождений, как кару; и свершившееся очищение души знаменовалось ее освобождением от тяжкой обязанности родиться вновь... Правда, Дионис являлся, между прочим, и носителем половых восторгов, фаллус был одним из его символов на празднике Дионисий; но и эти половые восторги для все разрывающего Диониса не имели целью продолжения жизни. Правильно замечает Вячеслав Иванов: «Дионисическое расторжение граней индивидуума находит в размножении как восстановлении и конечном утверждении индивидуации свой противоположный полюс. Поэтому дионисовой стихии более родственно уничтожение и истребление из чрезмерности изобилия, нежели размножение».

Самые основные дионисические настроения теперь совсем забываются Ницше. Его сверхчеловек, любимое детище дионисического Заратустры, вызывает вполне справедливые возражения со стороны людей, действительно дионисических. «Религия Диониса — религия мистическая,— говорит Вячеслав Иванов,— и душа мистики есть обожествление человека, через благодатное ли приближение божества к человеческой душе, доходящее до полного их слияния, или через внутреннее прозрение на истинную и непреходящую сущность «я». Дионисическое исступление уже есть человекообожествление, и одержимый богом — уже сверхчеловек... Дионисическое состояние знает единый свой, безбрежный миг, в себе несущий свое вечное чудо: каждое мгновение для Ницше — восходящая и посредствующая ступень, шаг приближения к великой грядущей године. Дионисическое состояние есть выхождение из времени и погружение в безвременное,— дух Ницше весь обращен к будущему; он весь в темнице времен».

Это отмечено точно и верно. Свершилось «чудо», спустился на человека Дионис,— и одним мигом достигнуто все: человек стал сверхчеловеком, больше — стал богом. Как Кириллов Достоевского, он скажет: «В эти пять секунд я проживаю жизнь, и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута?»

Но только с негодующим смехом пожмет на это плечами Заратустра. Он весь пылает одною настойчивою, страстною мыслью: «Человек есть нечто, что должно преодолеть». Чтобы «цель была достигнута», для него нужно огромное и долгое «развитие», нужны многие поколения детей. «Землю ваших детей должны вы любить,

еще не открытую!» — говорит он. А на слова Кириллова и Вячеслава Иванова о достигнутой уже цели у него есть очень ядовитый ответ: «Человек есть нечто, что должно преодолеть. Но только клоун думает: через человека можно также и *перепрыгнуть*».

И вот Ницше приходит, наконец, к Гёте, самому недионисическому из европейских писателей, и дает ему такую характеристику:

«Гёте — явление не немецкое, а европейское. Он окружил себя исключительно замкнутыми горизонтами; он не отделялся от жизни, он входил в нее; он не был робок и брал столько, сколько возможно, на себя, сверх себя, в себя. Чего он хотел, так это *цельности*: он боролся с разрозненностью разума, чувственности, чувства, воли, он дисциплинировал себя в нечто цельное, он *создал* себя. Гёте был среди нереально настроенного века убежденным реалистом: он говорил «Да» всему, что было ему родственно в нем. Гёте создал сильного, высокообразованного, во всех отношениях физически ловкого, держащего самого себя на узде, самого себя уважающего человека, который может отважиться разрешить себе всю полноту и все богатства естественности, который достаточно силен для этой свободы; человека, для которого нет более ничего запрещенного, разве что слабость, все равно, называется ли она пороком или добродетелью... Такой ставший свободным дух стоит с радостным и доверчивым фатализмом среди вселенной, веруя, что лишь единичное является негодным, что в *целом* все искупается и утверждается,— он не отрицает более... Но такая вера — высшая из всех возможных вер: *я окрестил ее именем Диониса*».

Что же это, наконец, такое?.. Вместе с Ницше мы постарались совсем забыть об Аполлоне. Но теперь уж решительно невозможно не вспомнить о нем,— дело слишком ясно. «Я окрестил эту веру именем Диониса»... Очевидно, Ницше окончательно запутался в своих святцах: эту веру можно окрестить, и нельзя иначе окрестить, как только одним именем,— именем *Аполлона*.

Новый бог вплотную подошел к душе Ницше. И, как Патрокл на равнинах Трои,

> не узнал он идущего бога:
> Мраком великим одеянный, шествовал ввстречу бессмертный

Но все ярче в этом мраке начинало светиться лучезарное лицо бога жизни и счастья. Каждую минуту имя его, казалось бы, могло быть названо. Ницше уже говорит о себе: «Мы, гиперборейцы»... Профессор классической филологии, он, конечно, хорошо знал, что над счастливыми гиперборейцами безраздельно царит Аполлон, что Дионису делать у них нечего.

Опять, как в юношескую пору, перед Ницше встали оба великих бога — Дионис и забытый было Аполлон. И теперь их уже нельзя было примирить и соединить в «братском союзе», как сделал Ницше в «Рождении трагедии». Там он этого достиг тем, что превратил Аполлона в какую-то ширму, в цветное стеклышко, умеряющее нестерпимый для смертного глаза блеск дионисовой стихии.

Теперь оба бога стояли перед Ницше в своей изначальной, непримиримой противоположности. Оба говорили ему: «Либо я, либо он!» Оба требовали ответа точного и решительного.

Но нелегко было для Ницше дать ответ. И не случайно имя Аполлона так-таки и не было им названо.

IX

ДЕКАДЕНТ ПЕРЕД ЛИЦОМ АПОЛЛОНА

Лучезарный бог счастья и силы вплотную остановился перед Ницше. И яркий солнечный отблеск лег на бледное, трагическое лицо «последнего ученика философа Диониса». Finitur tragoedia! Конец трагедии! Аполлон несет человеку правду, которая под самый корень подсекает всякую трагедию.

Лев Толстой рассказывает про Пьера Безухова:

«Пьер чувствовал, что та роковая сила, которая смяла его во время казни, теперь опять овладела его существованием. Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее *сила жизни*».

«В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что *человек сотворен для счастья,* что счастье в нем самом... Но теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую, утешительную истину,— он узнал, что *на свете нет ничего страшного*».

«Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемешения внимания, вложенную в человека, подобно тому спасательному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму».

Огромна и чудесна эта основная тайна Аполлона, которую живо все живое. Несчетные ужасы со всех сторон окружают человека. Но жизненно-сильный человек слеп к ужасам, из которых воля его не может найти выхода.

Ярко вскрывает суть этой аполлоновской тайны тот же Толстой в своей «Исповеди». Ослабевший жизнью, смутившийся духом, он говорит о ней с отрицанием, но именно ею всегда и была жива душа самого Толстого.

«Не нынче завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся,— раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить, вот что удивительно! *Можно жить только, покуда пьян жизнью,* а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это — только обман, и глупый обман! Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто — жестоко и глупо».

Можно жить только, покуда пьян жизнью. Вот в чем суть первой и главнейшей тайны Аполлона. Чудотворная сила жизни опьяняет, как благороднейшее вино. Человека ждет неизбежная смерть, несчастные случайности грозят ему отовсюду, радости непрочны, удачи скоропреходящи, самые возвышенные стремления мелки и ничтожны перед грозным лицом вечности,— а человек ничего этого как будто не видит, не знает и кипуче, ярко, радостно осуществляет жизнь. Когда же человек «протрезвляется», когда исчезает в нем этот ясный, беспохмельный хмель, вызываемый непосредственною силою жизни, то для человека ничего уже не остается в жизни, ему нечего в ней делать — разве только ему удастся обрести для себя какой-нибудь другой хмель. И все существо Диониса, вся огромная заслуга его заключается именно в том, что он несет упадочному человеку свой временный хмель, как замену выдохшегося из души подлинного, длительного хмеля жизни.

Ницше ясно сознавал то великое значение, какое имеет для жизни это чудесное неведение жизненных ужасов. «Мало того, что ты понимаешь, в каком неведении живут человек и животное,— говорит он,— ты должен иметь еще и *волю* к неведению и научиться ей. Необходимо понимать, что *вне такого неведения была бы невозможна сама жизнь,* что оно есть условие, при котором все живущее только и может сохраняться и преуспевать: нас должен покрывать большой, прочный колокол неведения».

Да, все это хорошо. Но если у человека уже нет неведения, если он пришел в себя от хмеля жизни, если отрезвевший взгляд его остро и ясно различает ужасы, наседающие на человека, и бездны, разверзающиеся под ногами? Конечно, можно тогда сказать, как Заратустра: «Ваша любовь к жизни пусть будет любовью к вашей высочайшей надежде, и ваша высочайшая надежда пусть будет высочайшей мыслью жизни. А эта высочайшая мысль гласит: человек есть нечто, что до́лжно преодолеть».

Но нельзя ли достичь гармонии путем более непосредственным и более широким? Нельзя ли все эти разверзшиеся бездны сделать составною частью самой гармонии?

И вот Ницше гордо провозглашает «самое радостное, самое чрезмерное и надменное утверждение жизни». Великая, невиданная гармония встает перед ним опьяняюще-обольстительным призраком,— «рожденное из полноты, из преизбытка высшее утверждение, утверждение без ограничений, утверждение даже к страданию, даже к вине, даже ко всему загадочному и странному в существовании». И Заратустра объявляет: «Во все бездны несу я свое благословляющее утверждение». Incipit tragoedia — начинается трагедия!..

Пойманный лесной бог Силен хохочет в лицо смущенному царю Мидасу и открывает ему сокровеннейшую истину жизни: высшее счастье для человека было бы не родиться, не быть вовсе, быть ничем; второе же, что ему остается,— как можно скорее умереть.

Смерть наклоняется к человеку и, обдавая его смрадным своим дыханием, злорадно шепчет на ухо: «Ты умрешь. В какую сторону ни иди, каждый твой шаг — приближение ко мне».

Из темных глубин жизни скорбно, как похоронный гимн, звучит песнь трагического хора:

Ах, вся твоя жизнь,
О, род человеческий,—
Какое ничтожество!
Казаться счастливыми,—
Вам счастие большее
Доступно ли, смертные?
Казаться,— не быть,—
И то на мгновение

Вот передо мною, как радостная утренняя греза, Наташа Ростова,— такая одухотворенная, такая прекрасная!.. Прекрасная? Ложь всякая красота и тлен. Только пьяного или близорукого может чаровать ее обманчивая видимость. Волнистые линии фигуры девушки, выпуклость ее груди — оттого, что у нее там везде под кожею отвратительный беловато-желтый жир. Внутри стройного ее стана медленно движется в кишках зловонная кашицеобразная масса. Прекрасное лицо, словно маска, налеплено на голый, глупо ухмыляющийся череп. А что приходится ей проделывать, когда она остается наедине! Мерзость! Гадость!.. Или, как Бодлер, стоящий со своею возлюбленною перед дохлой клячей: «И ты,— ты тоже станешь похожею на эту гадость, тоже превратишься в этот ужасный смрад, о, звезда моих глаз, солнце моей природы, ты, мой ангел и моя страсть... Ты будешь плесневеть среди скелетов, и черви станут пожирать тебя поцелуями».

Ликует народ, после тяжкой борьбы завоевавший свободу. Мать в экстазе счастья прижимает к груди спасенного от смерти ребенка. В молитвенном восторге бродит по улицам юноша, впервые услышавший от любимой девушки «люблю». А мудрец с огром-

ным лбом и желчными бакенбардами смотрит на них колючим взглядом и говорит: «Ваше счастье — не больше, как «счастливый сон нищего». Проснитесь! Вы не понимаете, что время, пространство — лишь обман сознания. Пока вы сами — твердая воля к жизни, пока вы подтверждаете жизнь, до тех пор все страдания, где бы и когда бы они ни случались, даже все лишь *возможные* страдания, все это — *ваши* страдания. Только помутнение вашего ума мешает вам почувствовать вашу неотрывную связь с страдающею вселенною и несвержимое владычество страдания в жизни» (Шопенгауэр).

И сколько их еще, этих бездн и ужасов познания, от которых опьяненный жизнью живой человек защищен «прочным колоколом неведения»!

Но в Ницше хмеля жизни нет. Отрезвевший взгляд его не может не видеть открывающихся кругом «истин». И вот он старается уверить себя: да, я не боюсь их вызывать, эти темные ужасы! Я хочу их видеть, хочу смотреть им в лицо, потому что хочу испытать на себе, что такое страх. Это у меня — только *интеллектуальное* пристрастие ко всему ужасному и загадочному... Вот оно, высшее мужество,— мужество трагического философа! Заглянуть ужасу в самые глаза и не сморгнуть.

«Есть ли у вас мужество, братья мои? Неустрашимы ли вы? Мужествен тот, кто знает страх, но одолевает страх, кто смотрит в бездну, но с гордостью. Кто смотрит в бездну, но орлиными глазами, кто орлиными когтями х в а т а е т бездну: вот кто мужествен!»

И новые, все новые бездны открываются перед человеком, много новых бездн. Темный хаос бушует и плещется в подсознательных глубинах души. Заглянешь туда — бледнеет лицо, замирает сердце и, как у пьяного, кружится голова от жуткой радости, судорожно сотрясающей все существо человека. Кто познал эту радость, разве возможно тому отказаться от нее? Если утверждать жизнь, то утверждать целиком. «Утверждение жизни без ограничений, утверждение даже к страданию, даже к вине, даже ко всему загадочному и странному в существовании»...

О, как болел этою задачею и Достоевский! Как жаждал он права «самостоятельного хотения», как жаждал этой свободы утверждения к страданию, к вине, ко всему загадочному и странному!

Отчего не убить старушонку-процентщицу — так себе, «для себя», чтоб только испытать страшную радость свободы? Какая разница между жертвою жизнью в пользу человечества и какою-нибудь сладострастною, зверскою шуткою? Отчего невозможно для одного и того же человека изнасиловать малолетнюю племянницу г-жи Ресслих и все силы свои положить на хлопоты о детях

Мармеладовой? Для чего какая-то черта между добром и злом, между идеалом Мадонны и идеалом содомским?

Сладко стоять, наклонившись над бездною, и смотреть в нее; может быть, еще слаще — броситься в нее вниз головою. «Раскольников ужасно побледнел, верхняя губа его дрогнула и запрыгала. Он склонился к Заметову как можно ближе и стал шевелить губами, ничего не произнося. Страшное слово так и прыгало на его губах: вот-вот сорвется; вот-вот только спустить его, вот-вот только выговорить!

— А что, если это я старуху и Лизавету убил? — проговорил он вдруг и опомнился...

Он вышел, весь дрожа от какого-то дикого, истерического ощущения, в котором, между тем, была часть нестерпимого наслаждения».

Гордая, чистая девушка сломила себя и пришла отдать свое тело, чтоб получить четыре тысячи, необходимые для спасения ее отца. А ей вдруг взять, да ответить — «с интонацией, с какою только купчик умеет сказать:

«Это четыре-то тысячи на такое легкомыслие кидать! Да я пошутил-с, что вы это? Сотенки две я, пожалуй, с моим даже удовольствием!»

Упадочная душа жадно и извилисто тянется к жути, мраку и безднам жизни, сладострастно опьяняется бушующим в духе хаосом. Как морфий для морфиниста, для нее всего дороже в жизни это сладострастие, эта жестокая радость — острая, как боль от укуса осы, и пьяная, как крепчайшее вино. Какая гармония способна дать хоть что-нибудь, близкое к этой пронзающей душу радости? Все пьянящие запахи весеннего леса или летнего луга,— как они пресны для морфиниста сравнительно со шприцем морфия! И Достоевский последовательнее Ницше. Он готов откровенно заявить: к черту гармонию! Не верю я в нее и не хочу для себя,— пусть она остается aux animaux domestiques.

Но Ницше отказаться от гармонии не хочет. А от бездн отказаться не может. И вот свои декадентские, дисгармонические переживания он старается втиснуть в царство гармонии, старается уверить себя, что они могут войти составною частью в гармонию, что узаконение дисгармонических переживаний души и есть высшее утверждение жизни.

Однако обоняние было у Ницше очень хорошее. «Мой гений в моих ноздрях»,— говорил он. И тонкие ноздри его ясно ощущали запах гнили и распада, идущий от той свободы, по которой томился Достоевский. «Свобода, которой я не разумею,— говорил он.— В такие времена, как нынешнее, быть предоставленным своим инстинктам является лишним злополучием. Эти инстинкты противоречат, мешают друг другу, взаимно разрушают друг друга;

современность представляет для меня *физиологическое самопротиворечие*. Ныне следовало бы делать возможным индивидуум, лишь *обрезывая* его: по возможности, т. е. *совершенно*... Происходит обратное: притязание на независимость, на свободное развитие, на laisser aller изъявляется с наибольшею горячностью теми, для кого *никакая узда не была бы слишком строгою*. Но это симптом декаданса: наше понятие «свободы» есть лишнее доказательство вырождения инстинкта».

Значит, опять — человек есть нечто, что должно преодолеть. Но какое же тогда утверждение жизни *без ограничений*, утверждение ко всему загадочному и странному? Ограничение вводится огромное: устранение всякого физиологического самопротиворечия, цельность, строгая гармоничность и согласованность всех жизненных инстинктов... Но где же тогда бездны, осененные таким решительным благословением Заратустры?

Сам хаос, которого еще так много в глубинах души человеческой, дорог Ницше не сам по себе, а дорог постольку, поскольку из него может родиться «танцующая звезда». Неиспользованные возможности этого хаоса служат для Ницше залогом, что человек способен подвинуться далеко вперед по пути к гармонии, что гармоничность его может еще стать уничтожающе-высокою сравнительно с мертвою упорядоченностью души вседовольного «последнего человека».

«Почва человека еще достаточно богата. Но эта почва со временем станет бедною и смирною, и на ней уже не сможет вырасти высокое дерево».

«Я говорю вам: нужно еще иметь в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду! Я говорю вам: в вас есть еще хаос».

«Горе! Приходит время, когда человек уже не будет рождать никакой звезды. Горе! Приходит время презреннейшего человека, который уже не в состоянии презирать самого себя».

«Так говорил Заратустра».

Цельность, великая, гармоническая цельность человека — по ней жаждет и тоскует Ницше сильнее, чем странник в пустыне тоскует по воде. Отсутствие этой цельности, вялость в ощущении жизни, растерзанность и противоречивость инстинктов вызывают в нем гадливое отвращение. И особенно в области морали.

Что такое мораль? Откуда она? Мораль есть то, что говорит человеку: «ты должен» там, где человек говорит: «не хочу». Она родилась тогда, когда инстинкты человека стали в противоречие с жизнью и друг с другом. «Все хорошее есть инстинкт, и, следовательно, легко, необходимо, свободно,— говорит Ницше.— Быть

вынужденным побеждать инстинкты — это формула для décadence; пока жизнь восходит, счастье равно инстинкту. Удачный человек, «счастливый», с естественною обязательностью совершает известные поступки и инстинктивно чуждается других поступков, он вносит порядок, который он физиологически являет собою, в свои отношения к людям и вещам. Словом — его добродетель есть *следствие* его счастья».

В этом случае и великая любовь и великие жертвы радостны и легки для человека, составляют само существо живой жизни.

«Одно из самых больших преступлений в психологии,— говорит Ницше,— это то, что любовь была подменена альтруизмом в то время, как она есть *присоединение* к себе или уделение от чрезмерного богатства личности. Это богатство личности, переливающая через край полнота внутренней жизни, инстинктивное чувство благосостояния и самоподтверждения — вот что составляет сущность великих жертв и великой любви. Раз кто-либо не сидит достаточно прочно и бодро в своей собственной шкуре, то ему нечего раздавать... Любовь есть выражение эгоизма».

Где мы все это уже слышали? Ведь это самое, почти даже теми же словами, говорит... Наташа Ростова: «Соня — неимущий: за что? Не знаю. В ней нет, может быть эгоизма,— я не знаю; но у нее отнимется, и все отнялось... Она пустоцвет». Это мы слышали и от Оленина: «Любя ее, я чувствую себя нераздельною частью всего счастливого божьего мира... Самоотвержение — все это вздор, дичь. Это — убежище от заслуженного несчастья, спасение от зависти к чужому счастию». Это мы непрерывно слышали и от самого художника-Толстого: чтобы любить людей, чтобы понимать «все, что стоит понимать в жизни», надо быть преисполненным силы жизни, надо быть счастливым. В счастье, на высшей ступени счастья, «человек делается вполне добр и хорош».

Какая в этом случае может быть мораль, на что нужна идея долга? Какое требуется обоснование нравственных действий? Они — свободное и необходимое проявление самого существа человека.

«Слышал ли кто когда-нибудь, чтобы мать хотела быть вознагражденной за свою любовь?.. Пусть ваша добродетель будет вашим существом, а не чем-то чужим, не кожею, не одеянием. Так говорил Заратустра».

Вечные вопросы Достоевского: *почему* я должен быть нравственным, *почему* я должен быть порядочным, раз нет бога? — вызвали бы у Ницше только усмешку: «Мы отнеслись бы с предубеждением к человеку, если бы услышали, что ему нужны особые *основания,* чтобы оставаться порядочным. Словечко «ибо» в известных случаях компрометирует; иногда мы даже опровергаем себя самих единственным «ибо».

Да, несомненно: все это устами Ницше говорит сам Аполлон, бог гармонии и живой жизни. И, конечно, как для Толстого, как для Аполлона, так и для Ницше отсюда вовсе не вытекает самодовольный вывод Макса Штирнера: «Во всякий момент мы бываем всем, чем мы быть можем, и не должны быть чем-то бо̀льшим». Эти «мы» — о, совсем не к ним обращается Ницше со своим призывом стать свободным от морали! Мы видели — современного человека Ницше считает возможным, лишь *обрезывая* его, для нынешнего человека «никакая узда не была бы достаточно строгой». «Современный человек,— говорит Ницше,— представляет собою в биологическом отношении *противоречие ценностей,* он сидит между двумя стульями, он говорит сразу «да» и «нет». Мы, если нас рассматривать с физиологической точки зрения,— *фальшивы*».

Значит, опять и опять,— «человек есть нечто, что должно преодолеть. Что велико в человеке, это то, что он мост, а не цель; что можно любить в человеке, это то, что он переход и гибель. Так говорил Заратустра».

Это «преодоление человека» должно происходить во имя *жизни*, во имя развития здоровых инстинктов жизни, чтоб сама мораль его была торжествующим проявлением этих здоровых инстинктов. А такая здоровая мораль заключается в следующем:

«Злое — лучшая сила человека. Человек должен стать лучше и злее,— так учу я»,— сурово объявляет Заратустра.

Злее? Но почему же именно злее? Почему именно злое составляет лучшую силу человека?

Случилось это во время франко-прусской войны. Молодой Ницше был начальником санитарного отряда. Ему пришлось попасть в самый ад перевязочных пунктов и лазаретов. Что он там испытал, об этом он и впоследствии никогда не мог рассказывать. Когда, много позже, друг его Эрвин Роде спросил его, что ему пришлось видеть на войне в качестве санитара, Ницше с мукою и ужасом ответил:

— Об этом *не надо* говорить, это невозможно; нужно гнать от себя эти воспоминания!

И вот однажды, ошеломленный ужасом от всего виденного, с сердцем, почти разорвавшимся от сострадания, Ницше вышел на дорогу. Вдали послышался быстрый топот, звон и шум. И мимо Ницше, как сверкающая молниями туча, пронесся в атаку кавалерийский полк. Молодые, здоровые, сильные люди радостно и опьяненно мчались туда, где многие из них найдут смерть, откуда других потащут на те же перевязочные пункты с раскроен-

ными головами, с раздробленными суставами, с распоротыми животами.

«И я почувствовал тогда,— рассказывает Ницше,— как хорошо, что Вотан влагает в грудь вождей жестокое сердце. Как могли бы они иначе вынести страшную ответственность, посылая тысячи на смерть, чтобы тем привести к господству свой народ, а вместе с ним и себя».

Позвольте! И это все мы где-то уже слышали. Где же именно?

«Все... ну, напр., хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и т. д.,— все до единого были преступники, и уж конечно не останавливались перед кровью, если только кровь могла им помочь... О, как я понимаю «пророка», с саблей, на коне: велит Аллах, и повинуйся, «дрожащая тварь»! Прав, прав «пророк», когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостаивая даже и объясниться! Повинуйся, дрожащая тварь, и — *не желай,* потому — не твое это дело!»

Это Раскольников говорит,— Раскольников, с душою столь же нежною и отзывчивою, как душа Ницше. Сам Раскольников — мягкий, раздвоенный, колеблющийся — совершенно не в силах вынести той страшной ответственности, которую несут на своей душе «вожди» и «установители человечества». И с завистью смотрит он на этих цельных, сильных людей. Раньше, по крайней мере, он признавал за ними право преступать человеческие законы во имя «идеи», во имя «блага человечества». Но теперь и это он готов отбросить, он все им готов простить за их цельность, силу, за то, что они — не «вошь», не «тварь дрожащая», что они — прирожденные властелины.

«Нет, те люди не так сделаны,— с завистью думает он.— Настоящий *властелин,* кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, *забывает* армию в Египте, *тратит* полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры, а стало быть, все разрешается. Нет, на этаких людях, видно, не тело, а бронза!»

Но ведь и бронза бывает различного качества. Вот, например, Гарибальди. Он пролил потоки крови, вел на смерть цвет итальянской молодежи, беспощадно расстреливал своих волонтеров за мародерство. Но в то же время он не выносил ненужного пролития крови и на острове своем Капрере строжайше запрещал охоту на диких коз.

А вот другой человек — тоже из бронзы вылитый: Цезарь Борджиа. Смелый и сильный красавец — негодяй, хитрый и жестокий, как хищный зверь. Ему нужно устранить брата от наследства. Он приглашает его к себе на ужин — а назавтра труп брата

вытаскивают из Тибра. Ему мешает Альфонс Аррагонский, муж его сестры Лукреции. И вот, при входе в своей дворец, Альфонс ранен неизвестными убийцами. Сестра ухаживает за раненым, собственноручно готовит ему пищу, боясь отравы, а Цезарь нагло смеется: «Не удалось в полдень, удастся вечером!» Врывается во дворец и велит приведенному с собою палачу задушить выздоравливающего. Отъединенное себялюбие зверя. Ни капли стыда или великодушия. Подлость и предательство во всем и звериноравнодушная, холодная жестокость.

Какая «бронза» хороша? Какая нужна жестокость? Заратустра говорит: «Что такое добро, и что такое зло, этого еще не знает никто — разве только творящий. А это — тот, кто творит цель для человека, кто дает земле ее смысл и ее будущее. Этот впервые творит условия, при которых что-нибудь становится добром или злом».

Ну, что ж! Тут спорить не о чем. Конечно, это так. Не существует абсолютных норм добра и зла. Все дело в том, к чему и как они применяются. Хорошо ли перевязать рану товарищу? Хорошо. Но ведь прав и полководец (кажется, Драгомиров), сказавший: «Солдат, который во время атаки остановится, чтобы перевязать раненого товарища,— тряпка и негодяй». На что уж был мягок и добр св. Франциск Ассизский. Рыбак поднес ему великолепную живую рыбу. Франциск поблагодарил — и выпустил рыбу обратно в воду. А и он, когда было нужно, умел быть беспощадно жестоким. Одного из своих учеников, в наказание за злословие, он заставил съесть кучу ослиного помета. И всю целиком заставил съесть, не сжалился.

Здесь спор возможен не по существу, а разве только о степени, о критерии. Но не это важно для Ницше.

«Когда человечество не стыдилось еще своей жестокости,— говорит он,— жизнь на земле была радостнее, чем теперь. Усталый пессимистический взгляд, недоверие к загадке жизни, ледяное «нет» отвращения к жизни — это вовсе не признаки самых *злых* веков человеческого рода; они выступают, скорее, на свет, когда приходит болезненная изнеженность и оморализованность, вследствие которых животное «человек» научается в конце концов стыдиться всех своих инстинктов. По дороге к «ангелу» человек выработал себе тот испорченный желудок и тот обложенный язык, вследствие которых ему не только противна радость и невинность зверя, но и сама жизнь стала невкусной».

О, не совсем так! Люты были старинные времена, люди стыдились тогда не того, чего стыдимся мы; вкусна была для них жизнь, и язык их был чист. Но всегда человек — с тех пор, как он стал человеком,— стоял выше отъединенной от мира «радости и невинности зверя». Он чувствовал свою общность

с другими людьми, с народом, с человечеством. И он знал то, чего не знает зверь,— *стыд.*

Ахиллес глумится над трупом ненавистного ему Гектора. Снова и снова привязывает он истерзанный труп к колеснице и волочет по пыли и грязи вокруг могилы Патрокла. И с омерзением следит за ним Аполлон:

из помыслов всякую правду изгнал он,
Всякую жалость из сердца Как лев, о свирепствах лишь мыслит
Лев, и душой дерзновенной, и дикою силой стремимый,
Только и рыщет, чтоб стадо найти и добычу похитить.
Так сей Пелид загубил милосердье и стыд потерял он

(Ил XXIV, 40—44)

Этот стыд — aidós,— прочно живет в душах гомеровских эллинов. Нищие, странники, бездомные беглецы называются у Гомера трогательным словом aidoioi,— вызывающие в людях стыд.

И замечательно: обожествляя все решительно вокруг себя, гомеровский эллин не обожествил этого стыда, а оставил его при себе, как свое изначальное, внутреннее, ему присущее свойство. Только много позже — впервые у Гесиода — этот стыд превращается в богиню Айдос или Айдо, «сидящую на троне вместе с Зевсом» (Софокл).

«Зачем так мягки, так покорны и уступчивы? — спрашивает Заратустра.— Зачем так мало рока во взоре вашем? Злое — лучшая сила человека. Человек должен стать лучше и злее». В «Ecce homo» Ницше разъясняет истинный смысл своего сверхчеловека, мало кем понятого. «Слово *сверхчеловек* для обозначения типа самой высокой удачности, в противоположность «современным» людям, «добрым» людям,— почти всюду было понято в полной невинности, как «идеалистический» тип высшей породы людей, как *полусвятой,* как *полугений*». И с искушающею улыбкою дьявола Ницше наклоняется к читателю и «шепчет ему на ухо»:

— Скорее уже можно в нем видеть... Цезаря Борджиа!

Услышит это Аполлон и с омерзением отшатнется от Ницше: если лютый, не знающий стыда Ахиллес — дикий лев, то ведь Цезарь Борджиа — просто подлая гиена, а «радость и невинность зверя» есть и в гиене, хотя она и питается падалью. Но вглядится Аполлон попристальнее в грозное лицо Ницше, вглядится — и рассмеется, и махнет рукою, и пренебрежительно повернется к нему спиной.

Как мало «рока» в этом напряженно-грозном взоре! Ведь это же просто — *добрый человек,* ужасно добрый человек, с сердцем, «почти разрывающимся от сострадания». Вот почему он и делает такое свирепое лицо. Вот почему ему и нужен — не Гарибальди,

а непременно Цезарь Борджиа. Бояться пролить кровь дикой козы,— о, на это очень способен и сам Ницше! А вот двинуть на смерть тысячи людей, взяв на свою душу всю ответственность за это, а вот расстрелять человека...

Итак, да здравствует Цезарь Борджиа!

Помните вы, как Иван Карамазов, решив принести на суде повинную, идет ночью по улице и наталкивается на замерзающего в снегу мужичонку? Два часа назад сам же Иван толкнул его в снег. Теперь Иван суетится вокруг мужичонки, сзывает людей, старается его спасти. «Иван Федорович остался очень доволен.

— Если бы не было взято так твердо решение мое назавтра,— подумал он вдруг с наслаждением,— то не остановился бы я на целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо и только плюнул бы на то, что он замерзает!»

Когда человек, в котором мало «бронзы», вступает в область «по ту сторону добра и зла», то он, так сказать, «по долгу службы» почему-то считает себя обязанным быть непременно злым, злым во что бы то ни стало. В снегу замерзает человек? Пройди мимо и только плюнь — иначе ступишь опять «по сю сторону».

Да! Да здравствует именно Цезарь Борджиа! Самое коренное зло нашей современности — что люди ужасно добры. «В ком лежит величайшая опасность для всей будущности человека? — спрашивает Заратустра.— Не в добрых ли и справедливых? О, братья мои, зачем так мягки, так покорны и уступчивы? Станьте твердыми!»

Но — боже мой! Где же вокруг видел Ницше этих добрых и мягких? Чему они помешали, что задержали? Кто творил вокруг Ницше реальную жизнь? Бисмарк и Лассаль, Ротшильд и Маркс, Наполеон III и Гарибальди, Галлифе и Бланки, Абдул-Гамид и Биконсфильд, Муравьев-Виленский и Чернышевский, Победоносцев и Желябов,— какие всё «мягкие»! Какие всё «добрые»! Неужели вправду величайшею угрозою для века этих людей был... Диккенс, что ли?

«Сострадание признал я более опасным, чем любой порок»,— заявляет «твердый» человек, сердце которого готово разорваться от сострадания при виде ужасов жизни.

В «Ecce homo» Ницше говорит: «Заратустра определил однажды, со всею строгостью, свою задачу — это также и моя задача: он есть *утверждающий* вплоть до оправдания, вплоть до искупления всего прошедшего». Ницше имеет в виду следующие слова Заратустры:

Искупить в человеке его прошлое и пересоздать всякое «так было», пока воля не скажет: «Но ведь так я и хотел! Так буду я хотеть!» — это назвал я искуплением. Это одно научил я их называть искуплением».

Казнь Сократа и Бруно, Варфоломеева ночь, наш еврейский погром, Азеф, процесс Бейлиса, изнасилованная девочка, затравленный барскими собаками крестьянский ребенок,— «так я и хотел? Так буду я хотеть?» Это-то есть истинная «твердость», это — «рок во взоре»? О, нет. «Укрощать свой дух перед неизбежностью» — еще не значит оправдывать неизбежность. Живой человек бодро и радостно несет жизнь не потому, что оправдывает ее ужасы и гадости, а потому, что сила жизни не дает ему прийти от них в отчаяние. Среди ужасов, которые видит Пьер Безухов во время своего плена, его охватывает «чувство радости и крепости жизни», «чувство готовности на все, *нравственной подобранности*». «Пьеру было страшно. Но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни».

Это глубоко аполлоновское настроение совершенно непонятно «твердым» людям типа Ницше. Для них одно из двух: либо разбей голову об стену от отчаяния и ужаса перед жестокостью жизни, либо — возьми себя в руки, внуши себе: «Я рок, я буря, я вихрь!»— и, глядя на жестокости жизни, скажи: «Да, так я и хотел, так буду я хотеть!»

В своей автобиографии Ницше пишет:

«Я — декадент, и в то же время я — противоположность декадента. Происхождение мое двойственное, как бы с верхней и нижней ступени жизненной лестницы: поскольку во мне мой отец, я уже умер, поскольку — моя мать, я еще живу и мужаю. Мой отец был хрупким, добрым и болезненным существом,— он был скорее воспоминанием о жизни, чем самою жизнью... От болезненной оптики — к здоровым понятиям и ценностям и, обратно, из полноты и самосознания *богатой* жизни низводить свой взор в тайную работу инстинкта декаданса,— в этом я особенно опытен».

Ницше видел в таком своем положении большое преимущество. «Этим,— говорит он,— объясняется тот нейтралитет, та независимость во всех вопросах жизни, которыми я, по-видимому, выделяюсь».

Да, для исследователя такое двойственное положение, может быть, и выгодно: каждый отдельный вопрос он способен охватить более всесторонне, если имеет возможность смотреть на него то с верхней, то с нижней ступени жизненной лестницы. Но для человека, но для единства общего его мироотношения такое положение просто невозможно. Невозможно стоять одновременно на верхней и нижней ступеньке лестницы, невозможно решать *из себя* коренных вопросов жизни, когда душа состоит из двух половин,

друг другу враждебных и противоположных, когда одна половина здорова и трепещет жизнью, а другая источена гнилыми инстинктами декаданса. Переживания обеих половин спутаются, и получится не стройное целое, а мешанина, с которою меньше всего можно жить. Получится та «биологическая фальшивость», то сидение между двумя стульями, которые Ницше считает столь характерными для ненавистной ему современности.

«Типичный декадент,— говорит Ницше,— умеет заставить смотреть на свою испорченность как на закон, как на прогресс, как на завершение». Отличие Ницше от других декадентов заключается именно в том, что он ни под каким видом не согласен принять своей «испорченности», совершенно не доверяет ее внушениям и все время чутко прислушивается к себе, все время следит за собою,— как бы не попыталась в нем творить жизненные ценности его «испорченность».

«Сам я не более, как обломок,— с грустью пишет Ницше своему другу Рэ,— и только в редкие, редко-счастливые минуты дано мне заглянуть в лучший мир, где проводят дни свои цельные и совершенные натуры».

И Ницше крепко держится за эти редкие минуты, старается отрешиться от себя и заглушить мрачные похоронные песни, которые поет его увечная душа. Ей нельзя верить, нельзя позволить ей обмануть себя и его. «Я сделал свою волю к здоровью, свою волю к жизни своей философией,— рассказывает он.— Годы полного падения моей жизненной силы и были теми, когда я *перестал* быть пессимистом: инстинкт самосохранения *воспретил* мне философию нищеты и уныния».

Позиция очень опасная. Человек не творит своего мироотношения свободно, из своей сущности, а старается пройти мимо самого себя, выскочить, говоря словами Ницше, «из собственной шкуры». Трудно в таких условиях создать цельное, не противоречивое мироотношение. И мы это видим на Ницше. В одних случаях — творчество «от противоположного», резкое и решительное провозглашение того, чего как раз не чувствует собственная душа. В других случаях, где не успел доглядеть настороженный взгляд не доверяющего себе человека,— творчество прямое, точно отражающее первоначальную «испорченность». Прочный колокол неведения — и благословляющее утверждение бездн, «преодоление человека» — и санкция его упадочных инстинктов, великая любовь Заратустры — и нарочито разжигаемая им в себе жестокость, проповедь радости жизни — и восхваление трагического пристрастия к страданиям и ужасам — все это, конечно, можно психологически объяснить, но совершенно невозможно все это объединить в одно цельное, из «бронзы» отлитое жизнеотношение.

Сойдя с ума, Ницше послал своему другу, музыканту Петеру Гасту, такую записку:

> Моему maestro Pietro. Спой мне новую песню. Мир ясен, и все небеса радуются.
>
> Распятый.

Эту новую песню сам Ницше и пропел миру. Пригвожденный ко кресту, со смертною мукою и отчаянием в душе, он славил ясность мира и радость небес. Только *такую* радость он и знал. Только *так* смог он понять и радость аполлоновского эллина: что такое светлый мир его божеств? Не больше, как «восхитительные видения истязуемого мученика».

Аполлон мог на минуту обмануться, слыша мужественные призывы Ницше к верности земле и к светлой радости жизни. Но достаточно было ему взглянуть на это искаженное мукою лицо, на эти экстатические глаза, полные радости, «которую знает только самый страдающий», чтобы сказать: «Нет, *этот* — не из моих сынов, не из моих учеников и сопричастников». И с суровым равнодушием Аполлон отвернулся от него.

Ницше однажды сказал про ненавистных ему христиан: «Христианином не делаются: надо быть достаточно больным для этого». Обратное мог бы сказать Аполлон про самого Ницше: «Аполлоновским человеком не делаются: надо быть достаточно *здоровым* для этого».

X

ТРАГЕДИЯ НИЦШЕ

Якоб Буркгардт отмечает одну характерную особенность бога Диониса. «От всех других эллинских божеств,— говорит он,— Дионис отличается, между прочим, тем, что он фанатическим образом требует своего прославления и признания; он один проявляет заботу и ярость, когда ему повсюду не служат».

Действительно, мифы о Дионисе полны рассказами о жестоких карах, которые обрушивает Дионис на смертных, его не признающих. Saeva laesi numinis ira (страшный гнев оскорбленного божества.— *Овидий*) уничтожает непокорных. Дионис все время как будто говорит человеку: «горе тебе и гибель, если ты не признаешь меня богом!» Олимпийским богам такое требование совершенно чуждо. Они, конечно, жестоко мстят людям за частные обиды, но им просто даже не приходит в голову мысль, что кто-нибудь может их отрицать, не признавать.

Эта особенность Диониса многознаменательна. Можно объяснять ее тем, что Дионис позже других богов пришел в Элладу, что ему приходилось постепенно завоевывать то признание, каким

естественно пользовались боги олимпийские. Однако особенность эта в то же время глубоко лежит в самом существе Диониса.

Вера, при которой божество исходит непосредственно из жизни,— аполлоновская вера Гомера, Франциска Ассизского, Гёте, Толстого, Уолта Уитмена, Рабиндраната Тагора,— вера эта не требует обязательно от человека формального признания божества. Душа переполнена жизнью, переполнена блаженным ощущением огромной и таинственной ее значительности. Ощущение этой огромности пытаются обыкновенно выразить в случайных и совершенно нехарактерных терминах пространства и времени, говорят об ощущении «бесконечного», «вечного». Но гораздо, по-моему, правильнее называть ощущение этой дух захватывающей огромности ощущением божественного. Из этого-то именно чувства и рождаются благороднейшие элементы всякой религии.

Так вот. Если душа человеческая переполнена ощущением божественности жизни, то важно ли, как назовет человек это ощущение? Гретхен спрашивает Фауста:

Скажи мне, веруешь ты в бога?

И она уверена, что точный и решительный ответ на этот вопрос ужасно важен. А Фауст только мягко улыбается и просто отстраняет вопрос.

Ты видишь, как приветливо над нами
Огнями звезд горят ночные небеса?
Не зеркало ль моим глазам твои глаза?
Не все ли это рвется и теснится
И в голову, и в сердце, милый друг,
И в тайне вечной движется, стремится
Невидимо и видимо вокруг?
Пусть этим всем исполнится твой дух,
И если ощутишь ты в чувстве том глубоком
Блаженство,— о! тогда его ты назови
Как хочешь: пламенем любви,
Душою, счастьем, жизнью, богом,—
Для этого названья нет:
Все — чувство. Имя — звук и дым...

В душе аполлоновского человека прочно живет это блаженное ощущение непрерывного светлого таинства, видимо и невидимо творящегося вокруг него. А назвать ли это ощущение счастьем, назвать ли жизнью, назвать ли богом — не все ли равно? Интеллектуальная совесть одного скажет: это живой, самостоятельно существующий бог. Интеллектуальная совесть другого скажет: это — только известное душевное состояние, быть может, совершенно обманчивое, хотя и блаженное ощущение прочной связи с целым. Но что же из того, что обманчивое? Это блаженство, эта связь ярко ощущается человеком, как матерью ощущается связь ее с ребенком. Не все ли равно для матери, «обманчиво» ощущение

этой связи, или связь реально существует? То же и тут. Существо отношения человека к жизни мало изменится от того, будет ли у него одна теория познания или другая. «Жизнь есть все, жизнь есть бог»,— говорит у Толстого Пьер Безухов. Признающий жизнь тем самым признает и бога, хотя, может быть, и сам об этом не знает. Формальная вера в бога имеет здесь значение второстепенное.

Герои Толстого, например, очень легко распределяются на две резко обособленные группы, людей живых и мертвых, по признаку, есть ли в них *сила жизни*, или нет. Но совершенно невозможно разделить их, руководствуясь признаком, верят ли они в бога. Как с первого раза ни странно, но *этим* признаком всего менее определяется душевная жизнь толстовских героев. Вот живые люди, цельно принимаемые душою Толстого: Платон Каратаев верит в православного бога, Хаджи-Мурат — в Аллаха; дядя Ерошка, хотя в бога и верит, но думает: «Сдохнешь,— трава вырастет на могиле, вот и все»; Наташа Ростова к богу равнодушна; революционер Набатов — атеист. Но у всех их одинаково — живое, глубоко религиозное отношение к жизни, в душах всех одинаково живет Бог-Жизнь. И это объединяет всех столь различных людей в одну группу людей *живых*. Бог их совсем не нуждается, чтоб ему говорили: «Да, ты существуешь!» Для людей с таким жизнеотношением вопрос о существовании бога никогда не может стать основным вопросом и трагедией жизни: назван ли бог человеком или нет,— он все равно непрерывно живет в душе человека.

Совсем другое место занимает вопрос о боге в жизнеотношении дионисическом,— в религии орфиков, большинства представителей средневекового христианства, Гюисманса, Достоевского.

Род однодневный!
Что — кто-нибудь? И что — никто?
Лишь сновиденье тени — человек,
Но если луч падет от божества,
То светом ярким озаряет он
Людей, и сладостною станет жизнь..

(Пиндар).

Жизнь вокруг человека — мрак, «безгласие косности», разъединение, страдание. «Вечная гармония» познается человеком только в редкие мгновения экстаза. Прошел экстаз, и живое ощущение гармонии погасло, и кругом снова — мрак и страдание.

Спрашивается, может ли быть для такого человека все равно, что именно он переживает в эти редкие мгновения экстаза? Может ли он, как Фауст, сказать об них: «Чувство — все; а назовешь ли ты его богом или счастьем,— безразлично». Как безразлично? Я пережил потрясающие «пять секунд» вечной гармонии. Если

это было просто известное душевное состояние, вызванное, скажем, приближением эпилептического припадка, потрясающею художественною эмоцией или чаркою вина,— то что мне до этих пяти секунд, если днями, неделями и месяцами я чувствую вокруг только вечную дисгармонию и страдание? Жизни тут быть не может, может быть только тот суррогат жизни, тот недовершенный Дионис, имя которому — культ мгновения, в какой бы форме он ни выражался — в декадентски ли утонченном упоении красотою острых мигов, или в ординарнейшем, грубом пьянстве.

Совсем другое дело, если в эти пять секунд вечной гармонии мне действительно открывается божество, если смятенною своею душою я соприкасаюсь с реально существующею, таинственною и великою первоосновою бытия. Какая для меня тогда бесконечная радость, какое прочное, ничем не сокрушимое счастье! Пусть жизнь вокруг неумолчно кричит только своими ужасами, мраком и разъединением — пускай! Я знаю, я всею душою почувствовал — есть бог. В темной, хаотической жизни просветленному взору открылась вечная гармония. Грубая и тленная земная реальность теперь навсегда освещена для меня неугасающим, божественным светом.

Естественно и понятно, что для людей такого типа вопрос о существовании бога — самый коренной вопрос жизни. Кириллов Достоевского говорит: «Бог необходим, а потому должен быть. Но я знаю, что его нет и не может быть. Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых?» Так стоит вопрос о боге и для самого Достоевского. Для него это центральнейший из всех вопросов жизни. И герои его, в противоположность героям Толстого, всего легче и естественнее делятся на группы по признаку, верят ли они в бога или нет. Верит человек — он живой; не верит — мертвый; колеблется и ищет — стоит между жизнью и смертью.

Очень в этом отношении характерны два типичнейших дионисических человека Достоевского — Кириллов и князь Мышкин. Оба они знают те пять секунд вечной гармонии, когда человек всей жизни говорит: «Да, это правда!» Но Кириллов в бога не верит. И он не в силах взять жизни, он стынет и живьем замерзает в ней, как дантовский грешник в ледяном кругу ада. Князь Мышкин чужд живой жизни не менее, чем Кириллов,— он стоит перед нею, «всему чужой и выкидыш». Но он верит в бога,— и человек преображен: ясный и светлый, радостно идет он через жизнь, и на всю эту темную, низменную жизнь лучится от него тихий, блаженный свет. И здесь не может быть никакого сомнения: все это — только оттого, что Мышкин верит в бога. Не будет у него веры — он стал бы Кирилловым; поверь Кириллов — он стал бы князем Мышкиным.

И в чем, помимо бога, возможно найти выход из тех противоречий, которые разрывают душу подобных людей? Что может дать санкцию одним их устремлениям и властно скрутить другие? К чьим иным ногам можно смиренно сложить ту страшную свободу, которой не в силах вместить человек, лишенный цельности? Один только есть выход, одно решение и избавление — бог. Только он способен осиять душу ощущением единства с людьми и миром, только он укажет, почему именно человек «должен быть» нравственным, и какая разница между зверскою, сладострастною шуткою и подвигом в пользу человечества. Здесь все начинается и все кончается богом. Возьмите Николая Ставрогина. Это — ходячий труп, все инстинкты в нем расползаются, как волокна в гнилом мясе, и возродить его, казалось бы, невозможно так же, как гнилое мясо сделать свежим. Но дайте ему веру в бога. Живая вода этой веры оросит разлагающуюся душу, и смердящий запах ее исчезает, и душа восстанет в жизнь — радостная и светлая. И Николай Ставрогин превратится в старца Зосиму.

Для всех таких людей обретение веры в бога есть поистине второе рождение. Именно людей дионисического склада имеет в виду Джемс, называя их в своем «Многообразии религиозного опыта», вслед за Ньюманом, «дважды рожденными». Они действительно рождаются дважды: один раз — для темной, страдальческой земной жизни, во второй раз — для блаженной жизни в боге. Отметим, кстати, что и самого Диониса легенда изображает нам рожденным дважды. Носившая его во чреве смертная женщина Семела взяла со своего возлюбленного Зевса слово, что он предстанет перед нею в своем подлинном, божеском виде. Небесный огонь бога опалил женщину, и она погибла. Зевс вынул из ее чрева недоношенного младенца, зашил в свое бедро, доносил в бедре и родил Диониса. Случайное ли это совпадение, глубочайший ли символ, но мы видим, что и сам Дионис рождается дважды: в первый раз, «выкидышем», от смертной женщины, во второй раз, цельным существом,— от бога.

В автобиографии своей Ницше пишет: «*Бог, бессмертие души, избавление, потусторонний мир* — все это понятия, которым я никогда не дарил ни внимания, ни времени, даже ребенком. Я знаю атеизм отнюдь не как результат, еще меньше как событие; он вытекает у меня из инстинкта».

Верить этому утверждению Ницше решительно невозможно. Уж из биографии его мы знаем, что в детстве он был глубоко религиозен; товарищи даже прозвали его «маленьким пастором». Но если бы мы даже не знали этого, сами произведения Ницше сказали бы нам, каким колоссальным «событием» была для Ницше

потеря веры в бога. Стоит только вспомнить знаменитое место из «Веселой науки». Сумасшедший бегает с фонарем средь бела дня и кричит:

«Где бог? Я вам скажу, где: мы его убили,— вы и я! Мы все его убийцы! Но как могли мы это сделать? Как могли мы выпить море? Что мы делали, когда разрывали цепи, привязывавшие землю к ее солнцу? Куда она теперь движется? Куда движемся мы сами? — Прочь от всех солнц? Есть ли еще «верх» и «низ»? Не блуждаем ли мы как бы в бесконечном «ничто»? Не дышит ли на нас своим дыханием беспредельная пустота? Разве не холоднее стало? Разве ночь не надвигается ближе и ближе, все темнея? Не приходится разве в полдень зажигать фонарь? Разве вы ничего не слышите? Разве уже не шумят могильщики, хоронящие бога? Вы не чувствуете запаха разлагающегося божества? — и боги ведь разлагаются! Бог умер! Останется мертвым! И убили его мы! Убийцы из убийц, в чем найдем мы себе утешение? Самое святое и могущественное, что было доселе у мира, истекло кровью под нашим ножом! Кто смоет с нас эту кровь? Не чрезмерно ли велико для нас величие этого деяния? Не должны ли мы сами стать богами, чтобы только оказаться достойными его? Никогда еще не совершалось деяния более великого,— и всякий, рождающийся после нас, уже ради этого деяния принадлежит истории более возвышенной, чем вся история, бывшая доселе!»

Здесь под каждым словом охотно подписался бы и Достоевский. Умер бог — умерла и жизнь, умерли и мы в ней; кругом — «ничто», «холод», «беспредельная пустота», все связи с жизнью оборвались, и человеку в полдень приходится зажигать свой жалкий фонарь, чтобы заменить погасшее мировое солнце.

Но для Достоевского такое положение дела представлялось вечным, неизменным законом человеческой жизни. Не так для Ницше. Он понимал, что *может* быть иначе. «Новой гордости научило меня мое «Я»,— говорит Заратустра,— ей учу я людей: больше не прятать головы в песок небесных вещей, но свободно нести ее, земную голову, которая творит для земли смысл!» Ницше понимал, что неисчерпаемо глубокая ценность жизни и религиозный ее смысл не исчезают непременно вместе со «смертью бога». Он понимал даже больше: что *религия,* может быть, как раз противоположна *религиям.* Он так говорит о «разрушении церквей»: «в мире нет достаточно религии даже для того, чтобы только разрушать религии».

Однако что значит в этом смертно-серьезном деле голое *понимание?* Требуется что-то другое, гораздо более прочное и глубокое. «Позади твоих мыслей и чувств, брат мой, стоит могучий повелитель, неведомый мудрец,— он называется *Сам.* Так говорил Заратустра». Этот «Сам» живет не пониманием, не мыслями,

а тем, что непосредственно исходит из глубочайших глубин человеческой души.

А что там было у Ницше, в глубинах его души, мы уже достаточно видели. Он не ощущал могучих токов, идущих от земли, не знал того извечного хмеля жизни, который делает все живое способным «любить жизнь больше, чем смысл ее». Не как Толстой, не из здоровья, не из полноты жизни творил Ницше свое учение о жизни,— не из «нутра» своего, а только из глубокого убеждения в болезненности почвы, на которой вырастают учения противоположные. «Он творит не из избытка, он *жаждет* избытка»,— как выразился сам Ницше о Брамсе.

Лучше было бы Ницше, для *личного* его благополучия, остаться, подобно Достоевскому, при самом себе и пытаться найти правду жизни, исходя из своего больного, упадочного «нутра». Но Ницше — это Достоевский, проклявший свое нутро и отвернувшийся от него,— «смешной человек», увидевший сон третьего ноября [1]. Зачем смешному человеку видеть подобные сны? Не лучше ли сейчас же забыть о них, как сделал Достоевский? После такого сна смешной человек не захочет идти по доступному ему пути, а вечно будет рваться на путь, для него закрытый.

И тогда случится страшное.

В «Рождении трагедии» Ницше часто говорит о «метафизическом утешении», которое находит трагический человек в слиянии с «Первоединым». Без этого «примиряющего» метафизического утешения Ницше вообще считает необъяснимым наслаждение трагедией; самое трагедию он называет искусством метафизического утешения. В чистейшем виде «эти примиряющие напевы из другого мира» звучат, по мнению Ницше, в софокловой трагедии «Эдип в Колоне». Действительно, в ней они звучат особенно сильно, в ней жестокость и незаслуженность земных мук с потрясающею вдохновенностью оправдываются указанием на «иной мир», и в этом указании — великое, примиряющее утешение, которое несет душе зрителя указанная трагедия. Но утешение это имеет уже чисто религиозный характер. И, казалось бы, не нужно было для Ницше много усилий, чтобы сделать последний шаг и признать, что дело тут не в холодном «метафизическом» утешении, а в утешении *религиозном*.

И Ницше ясно понимал, что из всех его предпосылок настоятельно вытекал вывод о необходимости религиозного утешения,— того религиозного утешения, против которого его интеллектуальная совесть протестовала изо всех сил. В позднейшем предисло-

---

[1] См настоящее издание. С. 185

вии к «Рождению трагедии» он представляет себе читателя, который обращается к нему с таким возражением:

«Но, милостивый государь, что же такое, прости господи, романтика, если *ваша* книга не романтика? Ведь за вашим пессимизмом уже прелюдирует и обычный романтический финал — разрыв, крушение, возвращение и падение ниц перед старой верой, перед старым богом... Да разве ваша пессимистическая книга не есть сама часть антиэллинизма и романтики, сама нечто «столь же охмеляющее, сколь и отуманивающее», наркотик во всяком случае?» И в самом деле, послушаем (следует цитата из «Рождения трагедии»):

«Разве не представляется необходимым, чтобы человек этой трагической культуры, для самовоспитания к строгости и ужасу, возжелал нового искусства, искусства метафизического утешения трагедии?»

И вот что теперь отвечает на это Ницше:

«Разве не представляется необходимым? Нет, трижды нет, о, молодые романтики, это *не* представляется необходимым! Но весьма вероятно, что это так *кончится,* что *вы* так кончите, т. е. «утешенными», как писано есть, несмотря на все самовоспитание к строгости и к ужасу,— «метафизически утешенными», короче, как кончают романтики,— христианами».

Но для себя и для сильных Ницше решительно отвергает такой выход. Он знает другой. Этот выход вот в чем:

«Нет, научитесь сперва искусству *здешнего* утешения,— научитесь *смеяться*, молодые друзья мои, если вы непременно хотите остаться пессимистами; быть может, вы после этого, как смеющиеся, когда-нибудь пошлете к черту все метафизическое утешительство,— и прежде всего метафизику! Или, говоря языком того дионисического чудовища, которое называется Заратустрой: «Я сам возвел мой смех во святыню... Этот венец смеющегося, этот венец из роз: вам, братья мои, бросаю я этот венец! Смех возвел я во святыню: вы, высшие люди, научитесь-ка смеяться! Так говорил Заратустра».

Так вот он, выход сильных! Вот в чем конечная правда и мудрость жизни,— в *смехе*!!!

Если бы сильна была в душе Ницше правда аполлоновская, он сказал бы совсем другое. Он сказал бы:

«Вы можете перестать смеяться, молодые друзья мои, потому что вам больше нет нужды оставаться пессимистами. Можно смеяться, но нельзя жить смехом. И в смехе вовсе не нуждается искусство здешнего утешения. Строгая и радостная тайна здешней жизни много глубже и серьезнее, чем ваш смех».

На мрачной и безрадостной почве возросли те розы, из которых Ницше сплел свой венец смеющегося. И он сам хорошо это знал. В предсмертной своей книге «Воля к власти» он говорит:

«Чтоб вынести тот крайний пессимизм, отзвуки которого тут и там слышатся в моем «Рождении трагедии», чтобы прожить одиноким, «без бога и морали», мне пришлось изобрести себе нечто противоположное. Быть может, я лучше всех знаю, почему смеется только человек: он один страдает так глубоко, что принужден был изобрести смех. Самое несчастное и самое меланхолическое животное,— по справедливости, и самое веселое».

Нужно ли указывать, как чужд смех Ницше и подлинному Дионису, каким он является кощунством по отношению к этому богу?

Воюя в Малой Азии, царь Митридат приказал однажды предать огню священную рощу Евменид. Когда роща запылала, вдруг по ней прокатился чудовищный, неизвестно откуда идущий смех. Прорицатели объявили, что для умилостивления оскорбленных богинь нужно принести человеческую жертву. Взяли девушку и зарезали ее перед алтарем богинь. И вдруг из перерезанного горла девушки зазвучал тот же таинственный смех, и жертвоприношение оборвалось.

Смех Ницше — последнее, что у него осталось для жизни,— напоминает этот страшный смех, хлещущий вместе с кровью из перерезанного горла жертвы. Грозно звучит через этот смех великий гнев оскорбленного божества. И не радостным созвучным смехом отзовется душа на призывы покинутого богами человека, старающегося заглушить смехом черный ужас своего одиночества.

Однако в этом одиночестве Ницше было для него и одно великое преимущество. Отвернувшийся от Диониса и сам отвергнутый Аполлоном, оставшийся без поддержки, в стороне от обоих богов, он смог увидеть много такого, чего никогда не увидел бы человек, осененный благословением того или другого бога.

XI

«ИСТИНА НЕ ЕСТЬ НЕЧТО ТАКОЕ, ЧТО НУЖНО НАЙТИ, А ЕСТЬ НЕЧТО ТАКОЕ, ЧТО НУЖНО СОЗДАТЬ»

В чем основная истина жизни? В чем ценность жизни, в чем ее цель, ее *смысл?* Тысячи ответов дает на эти вопросы человек, и именно множественность ответов говорит о каком-то огромном недоразумении, здесь происходящем. Недоразумение в том, что к вопросам подходят с орудием, совершенно непригодным для их разрешения. Это орудие — разум, сознание.

«Основная ошибка кроется в том,— говорит Ницше,— что мы, вместо того чтобы понять сознательность лишь как частность в общей системе жизни,— принимаем ее в качестве масштаба,

в качестве высшей ценности жизни... Если захотеть достаточно широко поставить цель жизни, то она не должна бы совпадать ни с одной категорией сознательной жизни; наоборот, она должна была бы еще *объяснять* каждую из них, как средство, ведущее к сказанной цели».

Эта мысль дерзко была высказана Ницше в то еще время, когда все почтительно преклонялись перед разумом, как перед верховным разрешителем важнейших вопросов жизни. В настоящее время мысль Ницше начинает находить себе широкое признание. Бергсон, например, целиком повторяет ее в своей «Творческой эволюции».

«Наша мысль, в своей чисто логической форме, не способна представить себе действительную природу жизни,— говорит Бергсон.— Жизнь создала ее в определенных обстоятельствах для воздействия на определенные предметы; мысль — только проявление, один из видов жизни,— как же может она охватить жизнь?.. Наш ум неисправимо самонадеян; он думает, что по праву рождения или завоевания, прирожденно или благоприобретено, он обладает всеми существенными элементами для познания истины».

Если не разумом, не мыслью познается истинная природа жизни, то чем же? Чем-то гораздо более глубоким и могучим, нежели разум. «Ощущения и мысли,— говорит Ницше,— это — нечто крайне незначительное и редкое в сравнении с бесчисленными органическими процессами, непрерывно сменяющими друг друга. В самом незначительном процессе господствует целесообразность, которая не по плечу даже нашему высшему знанию: предусмотрительность, выбор, подбор, исправление и т. д. Одним словом, мы тут имеем перед собою деятельность, которую мы должны были бы приписать интеллекту, несравненно более высокому и обладающему несравненно более широким горизонтом, чем известный нам. Мы научились придавать меньшую цену всякому сознанию, мы разучились считать себя ответственными за наше «сам», потому что мы, как сознательные, полагающие цели существа, составляем только самую малую часть его... В результате мы научились понимать, рассматривать само сознательное «я» лишь как орудие на службе у указанного выше верховного, объемлющего интеллекта».

Под нашим сознанием лежит темная, глубокая и таинственная область, не озаряемая светом сознания. Там прячутся в темноте наши инстинкты, по-своему отзывающиеся на явления жизни; там залегает наше основное, органическое жизнечувствование — оценка жизни не на основании умственных соображений и рассуждений, а по живому, непосредственному ощущению жизни; там — то «нутро и чрево», которое одно лишь способно «жизнь

полюбить больше, чем смысл ее», или, с другой стороны,— возненавидеть жизнь, несмотря на сознанный умом смысл ее.

Так говорил Заратустра:

«Тело есть великий разум, множественность с одним сознанием, война и мир, стадо и пастух».

«Орудием твоего тела является и твой малый разум, брат мой, твой «дух», как ты его называешь,— маленькое орудие и игрушка твоего великого разума».

«Я, говоришь ты — и горд этим словом. Но больше его,— во что ты не хочешь верить,— твое тело и его великий разум: он не говорит «я», он творит «я».

«Позади твоих мыслей и чувств, брат мой, стоит могучий повелитель, неведомый мудрец,— он называется *Сам.* В твоем теле живет он, он — твое тело».

«В теле твоем больше разума, чем в твоей наилучшей мудрости. И кто знает,— на что именно нужна твоему телу твоя наилучшая мудрость?»

«Твое *Сам* смеется над твоим *Я* и над его гордыми прыжками».

Это «Сам», этот великий разум человека,— вот тот основной раствор, из которого кристаллизуются оценки человеком мира и жизни, мысли человеческие и суждения. Поэтому ценны и интересны не столько человеческие мысли сами по себе, сколько та душевная стихия, которая их произвела. И даже у философов. Изучая философов, нужно смотреть «на их пальцы и между строк».

«Всякая великая философия,— говорит Ницше,— представляла до сих пор самопризнание ее творца и род невольных, бессознательных мемуаров... сознательное мышление даже у философа в большей своей части ведется и направляется на определенные пути его инстинктами. И позади всякой логики и кажущейся самопроизвольности ее движения стоят оценки, точнее говоря, физиологические требования сохранения определенного рода жизни».

Объективной истины не существует. Нелепо искать объективных ценностей. «Как будто ценности скрыты в вещах, и все дело только в том, чтоб овладеть ими!» — иронизирует Ницше. Ценности вещей скрыты не в вещах, а в оценивающем их человеке. *«Нет фактов, есть только интерпретации».* Поскольку дело идет об оценке жизни, о выяснении ее «смысла», это, несомненно, так.

L'un t'eclaire avec son ardeur,
L'autre en toi met son deuil, Nature!
Ce qui dit à l'un: Sépulture!
Dit à l'autre: Vie et splendeur!

«Один своим горением освещает тебя, Природа, другой в тебя вкладывает свой траур. То самое, что говорит одному: «погребение!» — говорит другому: жизнь и блеск!» *(Бодлер).*

Так не только с природою, а и с жизнью вообще. Наш ум, малый наш разум, руководствуется определенными, объективными нормами мышления, общеобязательными методами наблюдения и исследования. Почему же один человек видит погребение там, где другой видит жизнь и блеск? Потому что ценность жизни определяется не малым разумом, не логическими нормами и методами, а великим разумом «нутра», творящим человеческое «я».

Нутро одного человека — здоровое, крепкое, насквозь освещенное радостно-ярким инстинктом жизни; он жадно и безотчетно влюблен в жизнь, бодро переносит во славу ее жесточайшие удары судьбы. Такое отношение к жизни вызовет и соответственную оценку жизни. Нутро другого — больное, темное, упадочное; жизнь томит его, как плен, на всякий удар жизненного грома он в смятении вздрагивает своими издерганными нервами; он не в состоянии понять, чтó можно любить в этой жизни, где все только страхи и скорби. И когда человек, в соответствии с этим, строит свое жизнепонимание,— то что же? *Возражать ему, опровергать* его доводы, стараться *убедить* его?.. Какой вздор! Никакие доводы и возражения здесь недействительны. Один лишь совет можно дать таким людям:

«Вы должны не переучиваться, не переучивать, но только сказать «прости» своему собственному телу — и замолчать... Верьте, братья мои! Это — тело, которое отчаялось в теле, это — тело, которое отчаялось в земле». Так говорил Заратустра.

В одно чудесное, ласково-жаркое январское утро я стоял в зоологическом саду перед львиными клетками. Это было в Каире. Мальчик-араб в белой ермолке дразнил двух молодых львов с короткими, только еще начинавшими курчавиться гривами: сунется к клетке и потом кинется назад, и зубы яркою улыбкою сверкали на смуглом лице. Львы мягко прыгали за решеткою, бросались то в одну, то в другую сторону, не спуская глаз с мальчика; глаза горели зеленоватыми, загадочно-смеющимися огоньками, и нельзя было угадать, что сделали бы львы, если бы поднять решетку: может быть, растерзали бы мальчика,— может быть, стали бы, как котята, играть с ним.

Сверкала улыбка мальчика, сверкали задорно-веселые глаза львов. И широкою, горячею радостью сверкало солнце над огромными, ласковыми эвкалиптами с серебряными стволами. В небе непрерывно звенело вольное верещание ястребов: их здесь очень много, здесь и солнца нельзя себе представить без реющих в его сверкании могучих ястребиных крыльев; и так здесь становится понятным, почему египтяне изображали солнце в виде диска с ястребиными крыльями.

Душа была в светлом опьянении от непривычного сверкания и блеска кругом, от радостно-победительных кликов, дождем лившихся из солнечного неба. И вдруг что-то черное и тяжелое медленно вошло откуда-то в душу; тоскливо стало в ней и смутно.

В соседней клетке лежал большой кордофанский лев. Скрестив передние лапы, он неподвижно смотрел перед собою мимо нас, не захватывая ничего вокруг в свой строгий, ушедший в себя взгляд. Что за глаза были у него! Проникновенные, сурово-скорбные, по-человечески думающие. И это не было обманом зрения. Чувствовалось в них не только *настроение* больного неволею зверя; в них чуялось подлинное человеческое знание, мудрость, претворяющая настроение в выводы. Да, этот зверь что-то *познал,* познал какую-то сокровеннейшую правду жизни. И я чувствовал себя перед ним мелким, легкомысленным, и неловко становилось за то бездумное ликование, которое сверкало кругом.

Лев смотрел, пренебрежительно не видя меня, сосредоточенным взглядом, полным мысли и скорби. И, как по строчкам книги, я читал в этом взгляде:

Да, умереть! Уйти навек и без возврата
Туда, куда уйдет и каждый из людей (и зверей).
Стать снова тем *ничто,* которым был когда-то,
Пред тем, как в мир прийти для жизни и скорбей.
Сочти все радости, что на житейском пире
Из чаши счастия пришлось тебе испить,
И согласись, что, чем бы ни был ты в сем мире,
Есть нечто лучшее,— *не быть.*

Несомненно, этот зверь,— он умел ставить жизни совершенно определенные вопросы, какие только люди ей ставят, умел из отсутствия ответов делать вполне логические выводы. Разница была только в мелочах: мудрые люди излагают свои выводы в писаниях, мудрый зверь отобразил их в своих глазах. Но существеннейшее, важнейшее было и здесь, и там одинаково.

И вдруг мне представилось: кто-то разломал клетку и выпустил на волю мудрого зверя с разбуженною, человеческою мыслью. Ливийская пустыня — сейчас за городом. И зверь пришел в родную пустыню, к родным зверям, вольным детям песков. И собрались дети песков, бегающие, летающие и ползающие, и окружили мудрого зверя, с удивлением и страхом вглядываясь в его страшные, говорящие глаза, полные темного знания.

И мудрый зверь спросил каждого:

— *Счастлив* ли ты?

Сочти все радости, что на житейском пире
Из чаши счастия пришлось тебе испить...

Задумались звери. Какие же такие особенные радости? Стали считать. Ну, радость на минуту, когда спариваешься с самкою... Когда добычу поймаешь — тоже, пожалуй, радость. Большая бывает радость, когда выскочишь из опасности.

— И только-то? — с сожалеющею усмешкою спросили глаза мудрого зверя.— А сколько горестей?

Горестей каждый мог насчитать сколько угодно: голод, холод, зной, обиды более сильных зверей, вечные опасности, раны, смерть... Да, горестей очень много!

— Значит?

Звери с недоумением смотрели.

— Что же значит?

— Значит,

> И согласись, что, чем бы ни был ты в сем мире,
> Есть нечто лучшее,— *не быть.*

Звери изумились. Этой логики никак не могли вместить их живые души.

— Три радости, двадцать горестей... Плюс три, минус двадцать... Минус семнадцать...

Им ничего решительно не сказал этот зловещий итог, и они ни с какой стороны не могли приладить его к тому могучему чувствованию жизни, которое переполняло их души одинаково среди радостей и горестей.

Звери с бо̀льшим еще правом, чем Ницше, могут сказать: «Мой гений в моих ноздрях». Они подозрительно потянули носами, подошли к проповеднику и обнюхали его. Шерсть мудреца насквозь была пропитана пронзительным, мерзостным запахом, который стоит в клетках полоненных зверей; из пасти несло смрадом; тронул его плечом вольный ливийский лев — мудрец зашатался на ослабевших ногах...

И тотчас же звери покинули его и отошли прочь. Мудрый зверь остался один. Не пришлось ему сыграть среди зверей роли, которую сыграл смешной человек Достоевского среди блаженных людей планеты-двойника. И подумал мудрый зверь:

«Их взору недоступны бездны жизни, душе их чужды грозные загадки бытия. Все они глупы, как дети, близоруки и поверхностны!»

Но Ницше... Ницше об этом происшествии выскажется совсем иначе. Он скажет:

«О жизни мудрейшие люди всех времен судили одинаково: о н а н е с т о и т н и ч е г о... Всегда и всюду из уст их слышали одну и ту же речь,— речь, полную сомнения, полную тоски, полную усталости от жизни, полную сопротивления жизни. Что д о к а з ы в а е т это? На что у к а з ы в а е т это? — В прежнее время сказали бы (о, это говорили, и довольно громко, и прежде всего — наши пессимисты!): «Здесь, во всяком случае, что-нибудь должно быть истинным! Consensus sapientium доказывает истину».— Будем ли мы и ныне так говорить? С м е е м ли мы это? «Здесь, во всяком случае, что-нибудь должно быть *больным*»,— ответим

мы: эти мудрейшие всех времен, надо бы сперва посмотреть на них вблизи! Быть может, все они были уже нетвердыми на ногах? старыми? шатающимися? décadents? Не появляется ли, быть может, мудрость на земле, как ворон, которого вдохновляет запах падали?» *(Сумерки кумиров)*.

А этот обычный прием оценки жизни путем бухгалтерского подведения баланса ее радостей и горестей,— как он возмущает Ницше! «Сумма неудовольствия перевешивает сумму удовольствия; следовательно, небытие мира было бы лучше, чем его бытие. Такого рода болтовня именует себя в наше время пессимизмом!.. Но сам этот пессимизм есть признак глубокого обнищания жизни. Человек *не* ищет удовольствия и *не* избегает неудовольствия: читатель поймет, с каким глубоко укоренившимся предрассудком я беру на себя смелость бороться в данном случае. Удовольствие и неудовольствие, это — только следствия, только сопутствующие явления; они — второстепенные вещи, не причины; это — суждения ценности второго ранга».

Кто жив душою, в ком силен инстинкт жизни, кто «пьян жизнью»,— тому и в голову не может прийти задавать себе вопрос о смысле и ценности жизни, и тем более измерять эту ценность разностью между суммами жизненных радостей и горестей. В огне не могут водиться черви. В жарко и радостно пылающем огне живой жизни не могут жить вопросы, порождаемые разложением. А именно только чудовищное разложение жизненных инстинктов делает возможным, что человек стоит среди жизни и спрашивает: «для чего? какая цель? какой смысл?» — и не может услышать того, что говорит жизнь, и бросается прочь от нее, и только богом, только «тем миром» способен оправдать ее.

«Если центр тяжести переносят не в жизнь, а в «тот мир»,— говорит Ницше,— то у жизни вообще отнимают центр тяжести. Великая ложь о личном бессмертии разрушает всякий разум, всякую природу в инстинкте; все, что есть в инстинктах благодетельного, споспешествующего жизни, ручающегося за будущность,— возбуждает теперь недоверие. Жить так, что нет более смысла жить,— это становится теперь смыслом жизни!»

И Заратустра учит:

«Усталость, которая одним прыжком хочет достигнуть последнего,— одним смертельным прыжком,— бедная, невежественная усталость, которая уже больше не хочет хотеть: она создала всех богов и все потусторонние миры».

«Новой гордости научило меня мое «я», ей учу я людей: больше не прятать головы в песок небесных вещей, но свободно нести ее, эту земную голову, которая творит для земли смысл».

«Новой воле учу я людей: *желать того пути, которым слепо шел человек,* и *назвать его хорошим,* и больше не красться от него в сторону, подобно больным и умирающим!»

Этот путь, которым слепо шел человек,— тот же путь, которым идет все живущее, руководимое непогрешимо мудрым слепцом — инстинктом жизни; путь живой жизни, о которой говорит у Достоевского Версилов:

«Что такое живая жизнь, я не знаю. Знаю только, что это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтобы оно было так просто, и, естественно, проходим мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая».

Наши мысли о жизни, наши нахождения тайно и незаметно для нас определяются чем-то, лежащим вне нашего сознания. Сознательное «я» думает, ищет, обретает дорогу, победительно вступает на нее — и не подозревает, что его все время толкал именно в этом направлении его неучитываемый «Сам», великий разум его тела. Человек смотрит на мир, думает, что можно верить своим глазам...

О, легковерный! Зачем ты бегущие призраки ловишь?
Нет, чего ищешь, нигде; отвернись,— и утратишь, что любишь
Все, что ты видишь,— не больше, как твой отразившийся образ:
В нем ничего своего; с тобою он вместе приходит,
Вместе с тобою уйдет.. *(Овидий)*

Как же велико рабство человеческой души! Как связана она, как беспомощна в своих исканиях и нахождениях! Как призрачна ее кажущаяся свобода! Где и как, в таком случае, может человек найти истину жизни?

Больше, чем кто другой, Ницше испытал на самом себе всю обидную силу этого рабства. Полуживой-полумертвый, полуздоровый-полудекадент, он имел печальную возможность наблюдать в себе постоянную смену и постоянное колебание самых основных душевных настроений. Тот же у человека мозг, те же мыслительные способности сегодня, как вчера. Между тем, вчера он недоумевал, как можно ставить жизни вопросы об ее смысле и ценности; вселенная говорила ему: «жизнь и блеск!» Сегодня же она, сама в себе нисколько не изменившаяся, говорит ему: «погребение!» И напрасны попытки силою представления и воспоминания удержаться при вчерашнем жизнеотношении; то, что вчера было полно покоряющей душу убедительности, сегодня превратилось в мертвые слова, брезгливо отвергаемые душою. Рабство великое и позорное!

И жадно, настороженно вглядывается Ницше в темную глубину своей души и старается разглядеть того таинственного «Самого», который, как игрушками, капризно играет его мыслями и исканиями, и в ничто обращает трудную и мучительную работу ума

Вот он, этот «Сам», великий разум тела, неведомый, слепой повелитель, обративший наше «я» в своего раба.

Но ведь выход есть к освобождению, выход верный и торжествующий. Этот «Сам», могучий хозяин нашего «я»,— он слеп, как крот. А наше «я» — зряче. Пускай оно осуждено отображать всегда только то, что чувствует «Сам», но зато оно, это «я», благодаря своей зрячести, способно, в свою очередь, направить своего повелителя по намеченному пути, заставить его влиять на себя не по его, а по своей воле.

Здоровою частью своей души Ницше интуитивно чуял ту основную истину, которою живо все живое,— истину о глубокой, неисчерпаемой самоценности жизни, не нуждающейся ни в каком «оправдании». Но чтобы человек познал эту истину, нужны известные предусловия, нужна почва, которая бы питала ее. Это подсказала Ницше больная, упадочная часть его души, слишком ясно и болезненно чувствовавшая отсутствие этой почвы.

Значит:

«Истина не есть нечто, что существует, и что надо найти и открыть, но нечто, что надо создать».

Тело, великий разум нашего тела, творящий наше «я», оно — источник живой жизни. Нужно *пересоздать* его, и тогда сама собою придет истина жизни, которую тщетно и беспомощно разыскивает наш ум. «Тут надо именно не ошибиться насчет методики,— говорит Ницше.— Голая дисциплина чувств и мыслей — почти ноль; надо прежде всего *убедить тело*... Для жребия народа и человечества является решающим обстоятельством, чтобы культура начиналась с надлежащего места,— не с души (что составляло роковое суеверие жрецов и полужрецов): надлежащее место есть тело, жест, диета, физиология, остальное вытекает отсюда... Греки остались поэтому первым культурным событием истории,— они знали, они делали то, что было необходимо; христианство, презиравшее тело, было до сих пор величайшим несчастием человечества».

Ломаного гроша не стоит для Ницше самая глубокомысленная истина, если к ней пришел человек с обложенным языком и дурным запахом изо рта, сиднем сидящий за своим письменным столом. Пусть мускулы быстрее погонят по телу ожившуюся кровь, пусть научится глубоко дышать грудь, пусть много кислорода прихлынет к мозгу, пусть «веселым» станет кишечник — вот тогда с этим человеком можно будет и побеседовать. «Сидячая жизнь есть истинный грех против духа святого»,— говорит Ницше. И Заратустра учит: «Поистине, друзья мои, дух есть желудок!»

Дух есть желудок... Так вот оно что! Вот к чему сводятся все великие томления и искания духа, таинственные бездны жизни и ее потрясающие ужасы! Да ведь это, пожалуй, совсем то же

самое, что у Мечникова: человеку нужно вырезать толстую и слепую кишку, кормить его простоквашею с болгарскими бациллами,— и он станет «оптимистом». Какая пошлость! Декадент презрительно кривит губы и ополчается на защиту великих запросов и переживаний человеческого духа.

Смотрим в горящие бездны,
Что-то хотим разгадать,
Но усилья ума бесполезны,—
Нам ничего не узнать.
Съевший в науках собаку
Нам говорит свысока,
Что философии всякой
Ценнее слепая кишка,
Что благоденствие наше
И ума плодотворный полет —
Только одна простокваша
Нам несомненно дает...
Разве же можно поверить
В эту слепую кишку?
Разве же можно измерить
Кишкою всю нашу тоску?

Именно с таким остроумием в шестидесятых и семидесятых годах папаши высмеивали своих сыновей-гимназистов, поклонников Бюхнера и Фейербаха. Но пусть читатель не смущается убогостью этого остроумия: стихотворение принадлежит одному из талантливейших наших декадентов. Характерно в нем это глубочайшее презрение к телу в его таинственном и могучем влиянии на дух человека. По этому презрению Ницше сразу и безошибочно узнавал декадента. «Когда отклоняют серьезность самосохранения и увеличения силы тела, т. е. жизни, когда из бледной немочи конструируют идеал, то что же это, как не рецепт декаданса?» — спрашивает он.

Кто презирает тело, с теми Ницше не желает иметь ничего общего, с теми ему совсем не по дороге.

«В самой вашей глупости и презрении вы, презиратели тела, служите вашему «Сам». Я говорю вам: ваше «Сам» хочет умереть и отвращается от жизни».

«Погибнуть хочет ваше «Сам», и поэтому стали вы презирателями тела! Ибо вы больше ничего не способны творить выше себя».

«Поэтому-то полны вы гнева на жизнь и на землю. Несознанная зависть — в косом взгляде вашего презрения».

«Я не пойду вашею дорогою, вы, презиратели тела!»

Ницше твердит и не устает повторять: «Вера в тело фундаментальнее веры в душу», «на первом месте нужно ставить вопрос о здоровье тела, а не о здоровье души», «исходная точка: тело и физиология».

А раз это так, то насколько же важнее серьезное и внимательное изучение той физиологической почвы, на которой вырастает

жизнеотношение людей, чем изучение их мыслей и чувств самих по себе. В своей автобиографии Ницше оглядывается назад на свои искания и не может простить себе тех путей, которыми шел.

«Невежество в физиологии,— пишет он,— проклятый «идеализм»,— вот истинный рок в моей жизни, лишнее и глупое в ней, нечто, из чего не выросло ничего доброго, с чем нет примирения, чему нет возмещения. Последствиями этого идеализма объясняю я себе все ошибки, все большие инстинкты-заблуждения и «скромность» в отношении задачи моей жизни, например, что я стал филологом,— почему, по меньшей мере, не врачом или вообще чем-нибудь, раскрывающим глаза?.. Не было никакой охраны повелительного инстинкта, было забвение своих границ, нечто, чего я себе никогда не прощу. Когда я пришел почти к концу, именно *потому,* что я пришел почти к концу, я стал размышлять об этой основной неразумности своей жизни — об «идеализме». Только болезнь привела меня к разуму... Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было потрачено, как бесполезно, как произвольно было для моей задачи все мое существование филолога. Медленно, с больными глазами, пробираться среди античных стихотворцев — вот до чего я дошел!.. *Реальностей* вовсе не было внутри моего знания, а «идеальности» не годились ни к черту! Поистине, жгучая жажда охватила меня: с этих пор я, действительно, не занимался ничем другим, кроме физиологии, медицины и естественных наук».

В великой своей убогости и нищете стоит перед Ницше наличный человек, лишенный всякого чувства жизни, всякой цельности, с устремлениями, противоречащими инстинктам,— воплощенная «биологическая фальшивость» и «физиологическое самопротиворечие». «Общее отклонение человечества от своих коренных инстинктов,— говорит Ницше,— общий декаданс в деле установления ценностей есть вопрос par excellence, основная загадка, которую задает философу животное-«человек».

Само по себе это «животное» достаточно неудачно. «Человечество, несомненно, скорее средство, чем цель. Дело идет о типе: человечество — просто материал для опыта, колоссальный излишек неудавшегося,— поле обломков». Но великая надежда в том, что внимание человечества направлено в надлежащую сторону. «Наша жадность в деле познания природы,— говорит Ницше,— есть средство, с помощью которого наше тело стремится к самоусовершенствованию. Или скорее: предпринимаются сотни тысяч экспериментов, чтобы изменить способы питания, обстановку, образ жизни нашего т е л а: сознание и оценки в нем, все виды удовольствия и неудовольствия — показатели этих измене-

ний и экспериментов. В конечном выводе, дело идет вовсе не о человеке: он должен быть преодолен».

И так говорит Заратустра:

«Создайте себе высшее тело!»

«Человек есть нечто, что должно преодолеть. Что совершили вы, чтобы преодолеть его?»

«Все существа до сих пор стремились создавать нечто выше себя: и вы хотите быть отливом этого великого прилива и предпочитаете возвратиться к зверю, чем преодолеть человека?»

«Что велико в человеке, это — то, что он мост, а не цель; что можно любить в человеке, это то, что он — переход и гибель».

Человек погибнет. И придет на его место сверхчеловек.

Но здесь мы можем расстаться с Ницше. Пусть останутся при нем те «открытия», которые Ницше — полнейший профан в биологии — делает относительно основного направления всеобщего биологического процесса и относительно условий для создания высшего человеческого типа.

«Весь животный и растительный мир не развивается от низшего к высшему,— утверждает Ницше.— Человек, как вид, *не* прогрессирует. Правда, достигаются более высокие типы, но они не сохраняются. Уровень вида *не* поднимается... Я познал неосуществимость стремления борьбы против упадка. Тогда я пошел *дальше по пути разложения*,— в этом нашел я для немногих новые источники силы. Я познал, что состояние разложения, в котором единичные личности могут достигать небывалой степени совершенства, является отображением и частным случаем всеобщего бытия».

Сверхчеловек и есть эта единичная совершенная личность, которая вырастет на почве человеческого разложения, как пышный цветок на плодородном перегное. Высшее счастье и высшее призвание человека — стремиться стать таким перегноем, чтоб сделать возможным грядущего сверхчеловека. В этом — новая мораль, к которой зовет людей разрушитель морали Ницше.

Но не будем все это подвергать критике. Не будем также спорить с Ницше, когда инстинкт жизни, волю к жизни он вдруг начинает подменять в своих построениях волею к «могуществу». Это завело бы нас слишком далеко. Простимся с Ницше. И, как драгоценную жемчужину-талисман, возьмем с собою его мысль о существе жизненной истины:

«Истина не есть нечто такое, что нужно найти, но нечто такое, что нужно создать».

XII

«ТЫ ЕСИ»

Один из современных представителей так называемого «нового религиозного сознания» пишет:

«Для неверующего сознания, ограничивающего жизнь только теперешним эмпирическим существованием, в представлениях о будущем мыслимы только две возможности: или пошлость, или бунт. Достойно ли жить пошлостью, и возможно ли жить бунтом?.. Позитивизм проводит линию от борющегося и страждущего человечества к самодовольному филистерству... Отметим еще, что пока еще ни одна теория прогресса не включала в свою схему победу над смертью. Таким образом, и победа над злом здесь мыслится неполная, ибо крайний и последний враг остается — смерть».

И другой представитель того же «нового» религиозного сознания рассуждает:

«Люди будут в тысячу раз несчастнее, когда сознание их не будет отвлечено внешним гнетом и неустройством от самых страшных вопросов бытия. Тогда жизнь их станет нестерпимо трагичной, и безмерная свобода их возжаждет бога, затоскует по любви в боге. *В этом, и только в этом метафизический и религиозный смысл социального освобождения человечества.* Пусть социальные реформаторы накормят и оденут человека, *чтоб загорелось в нем последнее сознание его нищенской бедности и рабской беспомощности,* невозможности дольше жить без бога, ужаса окончательного небытия после момента сытости и устроенности».

Вот уж поистине: «Жить так, что больше нет смысла жить,— это они называют смыслом жизни!» Страшно это. До чего же увял в людях инстинкт жизни, до чего угасло всякое непосредственное чувство жизни! Ясно, что дело тут не в том или ином понимании жизни и божества, а в чем-то гораздо более существенном и изначальном,— в невероятном обнищании человеческой природы и, что еще страшнее, в спокойном примирении человека со своим убожеством. «Нищенскую бедность» свою и «рабскую беспомощность» он провозглашает основным свойством человеческой природы; он не тяготится ими, не пытается с ними бороться. Напротив: в полном банкротстве живой жизни, в победительном и окончательном выявлении человеческой неспособности жить,— «в этом и только в этом» он способен видеть «религиозный и метафизический смысл» даже борьбы человечества за улучшение жизни.

А вот что на ту же тему пишет, например, Лев Толстой:

«Смотрел на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, а там — красный неправильный уголь-солнце. Все это под лесом. Рожь. Радостно».

«Нет, этот мир не шутка, не юдоль испытаний только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для всех, которые после нас будут жить в нем».

Ночь и день, угрюмый калека с перешибленными ногами и ра-

достно улыбающийся ребенок меньше отличаются друг от друга, чем эти два «религиозных сознания». И как объяснить, как дать почувствовать угрюмым отрицателям жизни ту вечную радостность ее и красоту, о которой говорит Толстой? Можно ли говорить о свете жизни с слепорожденным, никогда не видавшим света? Он будет пытаться ощупать свет пальцами, будет отрицательно мотать головою и твердить: «Нет никакого света. Все, на что вы мне указываете,— мрак и всюду мрак... Сытость, устроенность, самодовольное филистерство — больше я ничего не вижу!» Одно только можно сказать этим людям — повторить слова Ницше: «Вы должны не переучиваться, не переучивать, а сказать «прости» своему собственному телу — и замолчать. Это — тело, которое отчаялось в теле, это — тело, которое отчаялось в земле».

Сказать «прости» собственному телу и создать высшее тело, пересоздать великий разум, творящий наше жизиеощущение и наше «я»... И нельзя закрывать глаз. Перед трудною задачею этою стоят не единичные упадочники, отвергнутые жизнью. Только исключительно «удачные» люди, исключительно счастливые эпохи стоят выше этой задачи. Непосредственное чувство жизни утеряно большинством человечества. Тяжелые биологические и исторические условия сбили человека с солнечного пути живой жизни, и он блуждает без дороги, растерянно бросаясь на каждый болотный огонек.

В добывании силы жизни, в выведении человека на тот путь живой жизни, которым идет в природе все живущее,— в этом прежде всего «метафизический и религиозный смысл» также и социального освобождения человечества.

Фукье-Тенвиль, знаменитый прокурор революционного трибунала в эпоху террора, предлагал пускать перед казнью осужденным кровь, дабы, таким образом, ослаблять мужество, с которым они шли на смерть. Эту дьявольскую операцию, которой не удалось осуществить французскому Малюте Скуратову, давно уже с успехом осуществляет над человеком жизнь. Общественное неустройство ужасно не только своею несправедливостью, не только страданиями и лишениями, на которые оно обрекает большинство людей; всего ужаснее, что оно *обескровливает* людей, лишает их самого нужного и ценного, силы жизни.

Над Москвой-рекою, близ Вражского перевоза, видел я однажды весною мальчика-сапожника. Он стоял на откосе, заглядевшись на солнечный закат над разлившеюся рекою. Пыльные вихры давно немытых волос, вдавленная грудь, белое лицо с серою линией губ. Никогда в жизни я не видал такого бледного лица; как будто его ни разу не касался ни единый солнечный луч. Известна жизнь этих ребят-учеников. С утра до ночи гнутся они в вонючем подвале над сапожною колодкою, лупит их хозяин ремен-

ным шпандырем, а в праздники запирает на ключ в мастерской, «чтоб не баловались».

Мальчик в упоении смотрел на закат. Может быть, пришел он к реке, чтоб утопиться,— и вдруг маленькую душу его потрясли восторгом золотые небесные равнины, раскинувшиеся над разливом. С смутным чувством стыда и боли смотрел я на это серое детское лицо, скорбные губы и экстатически сиявшие глаза. Что ждет мальчика в будущем? Вернее всего, проживет он жизнь, угрюмо кипя непрерывным, беспричинным раздражением, которое накапливают в душе вялая кровь и голодающие по воздуху легкие; будет он в свой черед лупить учеников, смертным боем бить жену, сам не зная, за что; и в одном только будет для него жизнь, радость, свет — в водке; для нее он и заказ спустит, и взломает женин сундук...

А может быть, столкнет его судьба с хорошим человеком,— есть они на Руси и в рясах, и в пиджаках, и в посконных рубахах; прожжет его этот человек огненным словом, ужасом наполнит за его скотскую жизнь и раскроет перед ним новый мир, где легки земные скорби, где молитвенный восторг, свет и бог. И покорно понесет просветленный человек темную свою жизнь. Что она теперь для него? Чуждое бремя, на короткий только срок возложенное на плечи. Наступит час — и спадет бремя, и придет светлое освобождение.

Но насмешкою было бы призывать мальчика к радости жизни, говорить ему о великой, священной самоценности жизни, даже если бы теперь же вырвать его из подвала и вывести на воздух и солнце. Безвозвратно выпита из него живая кровь, выедена сила жизни. В какой угодно обновленный строй он вошел бы бессильным на счастье, и в лучшем случае жизнь открылась бы ему только как веселая пирушка.

Нет, конечно! Если смысл всей борьбы человечества за улучшение жизни — в том, чтобы превратить жизнь в пирушку, сделать ее «сытою» и «благоустроенною», то не стоит она этой борьбы. Но смысл не в этом. Обновление внешнего строя — только первый, необходимый шаг к обновлению самого человека, к обновлению его крови, нервов, всего тела, к возрождению отмирающего инстинкта жизни.

> Nos jours d'esprit charnel et de la chaire triste,—
> Наши дни плотского духа и печальной плоти...

Превращение этих дней в дни просветленного духа и яснорадостной плоти. Жизнь, не как веселая пирушка, а как неизмеримо-глубокое, серьезное таинство.

Тогда осуществится то, о чем говорит один из прекраснейших сынов Аполлона, Гёте:

«Когда здоровая природа человека действует, как целое, когда он чувствует себя в мире, как в одном великом, прекрасном, достойном и ценном целом, когда гармоническое чувство благоденствия наполняет его чистым, свободным восхищением,— тогда мировое Целое, если бы оно могло ощущать само себя, возликовало бы, как достигшее своей цели, и изумилось бы вершине собственного становления и существа».

И тогда не мягкотелый Дионис в припадке «священной болезни», а лучезарный, мускулистый Аполлон из здорово-ясных глубин души скажет жизни:

— Да, это правда!

А Дионис займет подобающее ему место: вступит в свиту бога жизни и будет делать свое частное дело, как другие боги,— мудрость-Афина, любовь-Афродита и пр. Потому что дионисово «вино» само по себе — хотя бы, например, в виде творческого или религиозного экстаза — входит также существенным элементом в живую жизнь. Незаконны только притязания Диониса на верховенство, его облыгание жизни как вечного страдания и растерзания, его утверждение, что в подносимом им человеку «вине» — единственный смысл и оправдание жизни, единственное средство к преодолению ее бедствий, что

Иного средства от страданий нет.

На фронтоне аполлонова храма в Дельфах было начертано:

ТЫ ЕСИ

Смысл загадочный этой надписи был непонятен уже самим эллинам. Плутарх посвятил целое исследование вопросу о том, что могла бы обозначать надпись (De El apud Delphos). Много гадали об этом и позднейшие ученые, предлагая каждый свое объяснение.

Полною глубокого и волнующего смысла представляется нам эта надпись, вырезанная на храме бога жизни и счастья. В ней как будто вылились сокровеннейшие чаяния человека, заветнейшая его вера. Тяжки были ему муки существования, пропадала вера в жизнь, величайшим счастьем начинало казаться небытие; с подбитыми крыльями, душа бессильно погружалась в угрюмый туман отчаяния. Но и сквозь мрачный туман лучезарным, ободряющим призывом светились человеку вещие слова. Они говорили ему, что есть жизнь, есть радость и сила, что жизнь и счастье на земле — не ложь, не обманчивый призрак.

Эти светлые слова,— зажжем их на нашем знамени, и да светят они нам в наших исканиях и борьбе, никогда не тускнея.

1914.

ХУДОЖНИК ЖИЗНИ

(О Льве Толстом)

I

В письме к одной своей приятельнице Гюстав Флобер пишет: «Я опять возвращаюсь в мою бедную жизнь, такую плоскую и спокойную, в которой фразы являются приключениями, в которой я не рву других цветов, кроме метафор». Эрнест Фейдо передал Флоберу просьбу одного своего знакомого писателя прислать ему автобиографию Флобера. Флобер отвечает: «Что мне прислать тебе, чтобы доставить удовольствие моему анонимному биографу? У меня нет никакой биографии».

Так, в общем, мог бы ответить любой из писателей, особенно из писателей нашего времени, когда писательство стало специальностью. В большинстве случаев жизнь писателей сама по себе удивительно неинтересна. Обидно неинтересна. И они совершенно не заслуживают биографии. Все интересное, все глубокое и прекрасное, все живое, что в них есть, они вкладывают в свои книги, и для жизни ничего не остается. Прочтите биографии Гейне или Бодлера, Ибсена или Достоевского, вычеркните в них все, что непосредственно относится к писательству,— и какая останется скучная, серая обыденщина! Если она иногда и прерывается каким-нибудь ярким, катастрофическим событием, то это является только случайностью, как, например, случайностью была, по собственному признанию Достоевского, его каторга.

Это отсутствие биографии у современного писателя не случайно, оно является естественным следствием писательства как ремесла, я бы сказал, следствием слишком высокой оценки своего писательского призвания. Писательство, это — все! Писатель прежде всего есть писатель! Бальзак поучает Теофиля Готье, что писатель должен чуждаться женщин. Готье рассказывает: единственная уступка, на которую Бальзак соглашался, и то с сожалением, это чтобы видеться с любимой женщиной по получасу в год. Переписку он допускал: «Это вырабатывает стиль». Братья Гонкуры в одном месте своего дневника высказывают сожаление о солнечном дне, отданном ими наслаждению весною вместо работы. Виктор Гюго превратил себя в своего рода заведенный механизм, существует по циферблату, чтобы ничем не нарушить правильности своей работы. В определенный час он позволяет себе небольшую прогулку, но всегда по одной и той же дороге: пойдя другим путем, можно, пожалуй, опоздать на минуту. Флобер работает по шестнадцать часов в сутки, не отрываясь от стола.

Флобер в этом отношении вообще особенно характерен. Переписка его дает богатейший материал для характеристики душевного строя специалиста-писателя. «Литература,— пишет он,— стала у меня конституционального болезнью; нет средств избавиться от нее. Я одурел от искусства и эстетики, для меня невозможно дня прожить свободно от этой неизлечимой язвы, которая меня грызет». «Жизнь моя,— пишет он в другом письме,— была очень плоской и благоразумной, по крайней мере, в действии. Что касается внутренних переживаний,— о, это дело другое! Я истощился, скача на одном месте (je me suis u s é s u r p l a c e.— курс. автора), как лошади, которых дрессируют в конюшне; это ломает им ноги». «Молодость моя,— пишет он еще,— была прекрасна по своим внутренним переживаниям. Огромная вера в себя, великолепные порывы души, что-то бурное во всей личности. У меня было сердце, широкое, как мир, и я вдыхал все ветры неба. А потом, мало-помалу, я ссохся, заработался, завял. О, я обвиняю в этом только себя! Я находил удовольствие в подавлении своих чувств и в терзании сердца. Я отталкивал человеческие опьянения, которые мне представлялись. С остервенением я с корнем вырывал из себя человека обеими руками,— обеими руками, полными силы и гордости. Из этого дерева с зеленеющею листвою я хотел сделать колонну, совершенно нагую, чтобы на вершине ее возжечь, как на алтаре, я не знаю, какое небесное пламя».

Мать Флобера однажды сказала ему:

— Чрезмерная страсть к фразам иссушила твое сердце.

И на эти убийственные слова он, высохший для жизни обожатель фраз, находит в сердце только такой отклик: «Великолепные слова! Муза должна повеситься от зависти, что не она их изобрела!»

Можно умиляться на самоотверженную жизнь таких «подвижников искусства», как их многие называют. Для меня она представляется ужасною. Где же человек с его широкими, разносторонними потребностями души, где он сам, вне его книг? Как, наконец, не понять, что и творение писателя только тогда будет проникнуто живым трепетом и светом жизни, когда жизнь самого писателя действенна, глубока, ярка, звучит всеми доступными человеку струнами? А. О. Смирнова приводит в своих записках такие слова Пушкина: «Греки, может быть, писали меньше, чем мы, и даже наверное меньше. Это и отличает их от нас, современных людей. Мы слишком литературны,— в том смысле, что мы только писатели, что мы живем вне всяких человеческих и общих интересов... Это была счастливая эпоха, когда именно мало занимались литературой, а просто ж и л и,— и жизнь создавала произведения, отражавшие ее».

Флобер говорит: «Я истощился, скача на месте»... «У меня нет никакой биографии»... У Льва Толстого есть биография,— яркая, красивая, увлекательная биография человека, ни на минуту не перестававшего жить. Он не скакал на месте в огороженном стойле,— он, как дикий степной конь, несся по равнинам жизни, перескакивая через всякие загородки, обрывая всякую узду, которую жизнь пыталась на него надеть... Всякую? Увы! Не всякую. Одной узды он вовремя не сумел оборвать... Но об этом после.

Как всякий живой человек, Толстой не укладывается ни в какие определенные рамки. Кто он? Писатель-художник? Пророк новой религии? Борец с неправдами жизни? Педагог? Спортсмен? Сельский хозяин? Образцовый семьянин? Ничего из этого в отдельности, но все это вместе и, кроме того, еще много, много другого.

II

Я не буду останавливаться на детстве Толстого. В детстве все мы — живые люди; в детстве все мы, как Толстой, кипим, ищем, творим, живем. Вон даже Флобер, и тот знал в детстве «великолепные порывы души, что-то бурное во всей личности».

Вот — Толстой-юноша. Он живет в Казани; сначала готовится в университет, потом становится студентом. «Единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование,— вспоминает Толстой в своей «Исповеди».— Я старался совершенствовать свою волю, составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями, изощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению». В «Отрочестве» он рассказывает: «Несмотря на страшную боль, я держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева, или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах».

Рядом с этим — другого рода совершенствование — фанатическое, почти религиозное самоусовершенствование в искусстве быть человеком comme il faut. Великолепный французский выговор, длинные, чистые ногти, уменье кланяться, танцевать и разговаривать, постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки на лице. Однажды идет Толстой с братом по улице, навстречу едет господин, опершись руками на палку. Толстой пренебрежительно говорит брату:

— Как видно, что этот господин какая-то дрянь!

— Отчего?

— А без перчаток.

Толстой-студент усердно посещает все великосветские балы и собрания, всюду танцует, ухаживает за дамами, весь отдается наслаждению жизнью. Вспоминателям и биографам очень хочется рисовать жизнь Толстого как житие пророка. Н. П. Загоскин, в своих воспоминаниях о студенческой жизни Толстого в Казани, пишет, что Толстой «должен был» чувствовать «инстинктивный протест» против окружавшей его развращающей среды. В своей биографии Толстого П. И. Бирюков приводит эти слова Загоскина. Толстой в рукописи просматривал работу Бирюкова. И живой человек, возведенный в сан пророка, с добродушною усмешкой разрушает стройное здание своего «жития» и делает на полях рукописи такое замечание: «Никакого протеста я не чувствовал, а очень любил веселиться в казанском, тогда очень хорошем обществе». Далее Загоскин выражает удивление нравственной силе Льва Николаевича, сумевшего устоять против всех этих соблазнов. Толстой замечает: «Напротив, очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провел в среде, где можно было смолоду быть молодым, не затрагивая непосильных вопросов и живя хоть и праздной, роскошной, но не злой жизнью».

Рассеянная светская жизнь далеко не поглощает всех сил Толстого. Он в то же время много работает, читает, думает, пишет статью «О цели философии». В 1847 году он выходит из университета. Почему? Одна из причин была та, что уезжал из Казани брат его Николай; вторая причина — очень характерная для Толстого, никогда не любившего ходить в жизни протоpенными дорожками. Профессор гражданского права Меер задал ему работу — сравнить «Наказ» Екатерины с «Духом законов» Монтескье. Толстой увлекся этой работой. «Она открыла мне,— вспоминает он,— новую область умственного самостоятельного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей».

Следующие три-четыре года Толстой проводит в Москве и Ясной Поляне. Жадно и бурно отдается наслаждению жизнью. Светские удовольствия, охота, связи с женщинами, увлечение цыганками и особенно картежная игра. Она была едва ли не самою сильною из его страстей, и случалось, проигрывался он очень жестоко. Эти периоды бурного наслаждения жизнью сменяются припадками религиозного смирения и аскетизма.

В 1851 году он уезжает на Кавказ юнкером. Живет в станице, дружит с казаками, ухаживает за казачками. Кутит, играет в карты, играет своей жизнью. Отправляется в рискованные экскурсии. Однажды неприятельская граната разорвалась у самых ног Толстого, разбив колесо и лафет пушки, при которой Толстой был «уносным фейерверкером». Уже в глубокой старости Толстой

несколько раз вспоминает об этом случае и в письмах, и в дневнике: «Если бы дуло пушки, из которой вылетело ядро, на одну тысячную линию было отклонено в ту или другую сторону, я бы был убит». В другой раз, во время «сквозной оказии» на Грозную, Толстой чуть не попал в плен к чеченцам и только благодаря лихости своего коня ускакал от них со своим кунаком, мирным чеченцем Садо. В это же время в «Современнике» появляется первое литературное произведение Толстого «Детство» и обращает на себя внимание всех любителей литературы.

Толстой переводится в дунайскую армию, действующую против турок, участвует в осаде Силистрии. Он захлебывается огромными впечатлениями жизни. «Сколько я переузнал, перечувствовал в этот год!» — пишет он брату Сергею. Начинается севастопольская кампания. Толстой спешит перевестись в Крым. Один из бывших боевых товарищей его вспоминает: «Толстой своими рассказами и куплетами воодушевлял всех в трудные минуты боевой жизни. Он был в полном смысле душой батареи. Толстой с нами,— и нет конца общему веселью. Нет графа, укатил в Симферополь,— и все носы повесили. Возвращается мрачный, исхудалый, недовольный собою. Отведет меня в сторону подальше и начнет покаяние, как кутил, играл, где проводил дни и ночи,— казнится и мучится, как настоящий преступник». В бригаде Толстой оставил по себе память как ездок, весельчак и смельчак. Так, он ложился на пол, на ноги ему ставился в пять пудов мужчина, и он, вытягивая руки, поднимал его вверх. На палке никто его не мог перетянуть. Толстой выдерживает знаменитую севастопольскую осаду, обращает на себя общее внимание своею храбростью. В «Современнике» появляются его рассказы «Севастополь в декабре», «Севастополь в мае» и производят сенсацию. Вдова Николая I плачет над этими рассказами, Александр II приказывает перевести их на французский язык.

После сдачи Севастополя Толстой был послан курьером в Петербург. Он приехал, окруженный двойным ореолом — героя, вышедшего из ада осажденного Севастополя, и восходящего литературного светила первой величины. «Вернулся из Севастополя с батареи,— рассказывал Тургенев Фету,— остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит, как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой». Петербургская литературная семья приняла Толстого с распростертыми объятиями. Семья эта была очень блестящая: Тургенев, Некрасов, Гончаров, Островский, Григорович, Фет... Но не застенчивым новичком, ослепленным блеском ярких имен, вступает Толстой в эту заповедную среду. «С первой минуты,— рассказывает Фет,— я заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений».

«Какое бы мнение ни высказывалось,— сообщает Григорович,— и чем авторитетнее казался Толстому собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз, и как иронически сжимались его губы, можно было подумать, что он как бы заранее обдумывает не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника». Всех он ворошит, задирает, раздражает,— и всех поражает огромностью стихийно кипящего в нем таланта. Писемский мрачно говорит: «Этот офицеришка всех нас заклюет, хоть бросай перо!»

В ноябре 1856 года Толстой выходит в отставку. Ну, теперь жизнь писателя определена. Общепризнанный талант, редакции наперебой приглашают его в свои журналы. Человек он обеспеченный, о завтрашнем дне думать не приходится,— сиди спокойно и твори, тем более что жизнь дала неисчерпаемый запас наблюдений. Перебесился, как полагается молодому человеку, теперь впереди — спокойная и почетная жизнь писателя. Гладкий, мягкий ход по проложенным рельсам. Конец биографии.

Но не так у Толстого. Биография только начинается. Да, он пишет, одно за другим дает произведения, вызывающие все большие надежды. Но вместе с тем уезжает к себе в деревню и страстно берется за сельское хозяйство. Вводит всяческие улучшения, дело кипит. Но за что ни возьмется,— всего ему мало. Брат его Николай рассказывает Фету: «Левочка желает все захватить разом, не упуская ничего, даже гимнастики. Конечно, если отбросить предрассудки, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает, но староста смотрит на дело иначе: «Придешь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись одной коленкой за жердь, висит в красной куртке головою вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось; не то приказания слушать, не то на него дивиться». На глазах Толстого рабочие пашут, косят, молотят; среди них выдается красотою и уверенностью работы один работник Юхван. И уж, конечно, простым зрителем Толстой оставаться не может: ему непременно нужно всему этому научиться, и научиться как можно лучше, чтобы работать не хуже самого Юхвана. И он с увлечением «юхванствует», перенимает все приемы Юхвана, ходит за сохою, растопырив локти, как Юхван. Это выражение — «юхванствовать» навсегда осталось в семье Толстого для обозначения увлечения его сельскохозяйственными работами. Страстно увлекается он также охотою. Однажды Толстой чуть не погиб от медведицы. Она повалила его в снег и начала грызть голову — прорвала ему щеку под левым глазом и сорвала всю левую поло-

вину кожи со лба. В то же время Толстой начинает заниматься в школе с крестьянскими детьми.

Товарищи-писатели, суть жизни своей видящие в писательстве, с усмешкой разводят руками, глядя на этот огромный талант как будто так мало придающий себе значения. Тургенев пишет Фету: «А Лев Толстой продолжает чудить. Видно, так уж ему написано на роду. Когда он перекувыркнется в последний раз и встанет на ноги?»

А Толстой, весь захваченный жизнью, как будто совсем забывает о писательстве,— он уже автор «Детства и отрочества», кавказских и севастопольских рассказов, «Трех смертей», «Семейного счастья». И товарищи из сил выбиваются, стараясь направить заблудшего на «настоящий путь». Дружинин пишет ему в 1860 году: «На всякого писателя набегают минуты сомнения и недовольства собою, и, как ни сильно и ни законно это чувство, никто еще из-за него не прекращал своей связи с литературой, а всякий писал до конца. Но у Вас все стремления, и добрые и недобрые, держатся с особым упорством, потому Вам нужнее, чем кому другому, подумать о том. Прежде всего, вспомните, что после поэзии и труда мысли все труды кажутся дрянью. Qui a bu, boira, и в тридцать лет оторваться от деятельности писателя значит лишить себя половины всех интересов жизни».

Но в том-то и особенность Толстого, что нет для него живого труда, который бы мог ему показаться дрянью, раз он захватил его душу. И вот он,— художник,— едет за границу с специальною целью изучить постановку там школьного дела. Объезжает Германию, Швейцарию, Италию, Францию, Англию, Бельгию. Жадно, как всегда, ловит впечатления. «Я везу,— пишет он своей тетушке Т. А. Ергольской,— такое количество впечатлений, знаний, что я должен бы много работать, прежде чем уложить все это в моей голове».

В Россию Толстой возвращается в апреле 1861 года, в самый разгар радостного возбуждения и надежд, охвативших русское общество после манифеста 19 февраля об освобождении крестьян. Толстой рассказывает: «Что касается до моего отношения тогда к возбужденному состоянию общества, то должен сказать (и это моя хорошая или дурная черта, но всегда мне бывшая свойственной), что я всегда противился невольно влияниям извне, эпидемическим, и что если я тогда был возбужден и радостен, то своими особенными, личными, внутренними мотивами,— теми, которые привели меня к школе и общению с народом».

Всею головою Толстой уходит в самую разностороннюю деятельность — занимается сельским хозяйством, работает в качестве мирового посредника, вызывая злобу и доносы дворянства; главным же его делом теперь становится народная школа. Он

открывает в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и сам занимается с ними, пишет ряд статей о народном образовании, издает педагогический журнал «Ясная Поляна». Как всегда у Толстого, все у него ново, своеобразно, дерзко, ко всему свой подход, вне всякого шаблона. Не будем оценивать педагогических взглядов Толстого. Но посмотрите, как все оригинально и необычно в этой школе, созданной Толстым, как не похоже на школу, какою мы привыкли ее себе представлять.

«На деревне встают с огнем,— пишет Толстой.— Уж давно виднеются из школы огни в окнах, и в тумане, дожде или косых лучах осеннего солнца появляются на буграх темные фигурки. С собою никто ничего не несет,— ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают. Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего, сделанного вчера, он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Никогда никому не делают выговоров за опоздание, и никогда не опаздывают, нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома какой-нибудь работой. И тогда этот большой рысью, запыхавшись, прибегает в школу».

И послушайте, каким образом происходит преподавание в этой школе. Вот перед нами, так сказать, амбулаторный урок народоведения. Толстой вечером выходит с ребятами из школы.

«На дворе было не холодно,— зимняя безмесячная ночь с тучами на небе. Мы пошли через лес. Дорожка чуть виднелась, огни деревни скрылись из вида. Мы разговорились о кавказских разбойниках. Я стал рассказывать об абреках, о казаках, о Хаджи-Мурате. Семка шел впереди, широко ступая своими большими сапогами и мерно раскачиваясь здоровой спиной. Пронька попытался было идти рядом со мною, но Федька сбил его с дорожки, и Пронька, должно быть, по своей бедности, всегда всем покоряющийся, только в самых интересных местах забегал сбоку, хотя и по колено утопая в снегу. Всякий замечал, кто немного знает крестьянских детей, что они не привыкли и терпеть не могут всяких ласк — нежных слов, поцелуев, троганий рукой и т. п. Потому-то меня особенно поразило, когда Федька, шедший рядом со мной, в самом страшном месте рассказа вдруг дотронулся до меня слегка рукавом, потом всей рукою вдруг ухватил меня за два пальца и уж не выпускал их. Только что я замолкал, Федька уж требовал, чтобы я говорил еще и таким умоляющим, взволнованным голосом, что нельзя было не исполнить его желания.

— Ну, ты, суйся под ноги! — сказал он раз сердито Проньке, забежавшему вперед; он был увлечен до жестокости, ему было так жутко и хорошо, держась за мой палец, и никто не должен

был сметь нарушать его удовольствие.— Ну, еще, еще! Вот хорошо-то!

Мы прошли лес и стали с другого конца подходить к деревне.

— Пойдем еще,— заговорили все, когда уже стали видны огни.— Еще пройдемся!

Мы шли, кое-где проваливаясь, по рыхлой, плохо наезженной дорожке; белая темнота как будто качалась перед глазами, тучи были низкие; конца не было этому белому, в котором только мы одни хрустели по снегу; ветер шумел по голым макушкам осин, а нам было тихо за лесом. Я кончил рассказ тем, как окруженный абрек запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали. Семка спросил:

— Зачем же он песню запел, когда его окружили?

— Ведь тебе сказывали — умирать собрался! — огорченно ответил Федька.

— Я думаю, что молитву он запел,— прибавил Пронька.

Все согласились. Мы остановились в роще за гумном, под самым краем деревни. Семка поднял хворостинку из снега и бил ею по морозному стволу липы... Мне странно повторить, что мы говорили тогда, но я помню, мы переговорили, как мне кажется, все, что сказать можно о пользе, о красоте нравственной и пластической».

Да, счастлив был Толстой, что умел так описать все это. Но еще более счастлив он был, что умел все это пережить, что умел извлекать из жизни такие радости!

III

В сентябре 1862 года в жизни Толстого происходит событие, оказавшее огромное влияние на всю его последующую жизнь. Он женится на восемнадцатилетней девушке Софье Андреевне Берс.

К браку Толстой всегда относился очень серьезно, почти благоговейно, и видел в нем очень важный акт жизни. Еще в 1854 году он пишет брату Сергею с батареи около Севастополя: «Одно беспокоит меня: я четвертый год живу без женского общества и могу совсем загрубеть и не быть способным к семейной жизни, которую я так люблю». В 1856 году он пишет одной девушке, бывшей некоторое время почти что его невестой: «От этого-то я так боюсь брака, что слишком строго и серьезно смотрю на это. Есть люди, которые, женясь, думают: «Ну, не удалось тут найти счастье, у меня еще жизнь впереди». Эта мысль мне никогда не приходит, я все кладу на эту карту. Ежели я не найду совершенно счастья, то я погублю все,— свой талант, свое сердце, сопьюсь, картежником сделаюсь, красть буду, ежели недостанет духу зарезаться».

Кстати сказать, роман Толстого с этой барышней (Валерией Владимировной Арсеньевой) — недавно только, после смерти Софьи Андреевны, опубликованный — производит очень для Толстого тяжелое впечатление своею рассудочностью и неразвернутостью: только-только еще зарождается чувство, обе стороны даже еще не уверены вполне, любят ли они,— а Толстой все время настойчиво уж говорит о требованиях, которые он предъявляет к браку, рисует картины их будущей семейной жизни и т. п. Серенький роман этот интересен только как показатель силы, с какою Толстой рвался к семейной жизни.

Софья Андреевна для тогдашнего Толстого оказалась прямо идеальною женою и вполне осуществила в себе те требования, которые Толстой предъявлял к семейной жизни. Красавица, светски воспитанная (что для тогдашнего Толстого являлось необходимым условием); умелая, домовитая и энергичная хозяйка дома, всегда со связкой ключей на поясе; патриархально семейственная, всю жизнь свою кладущая в мужа и детей. Чуть не год за годом идут у них дети, и оба они только радуются на это. Между мужем и женою — то тонкое, своеобразное взаимодействие, взаимодействие мужского и женского начал, которое обрисовано в «Войне и мире» в отношениях между Пьером и Наташей. «После семи лет супружества,— рассказывает Толстой,— Пьер чувствовал радостное, твердое сознание того, что он не дурной человек, и чувствовал он это потому, что он видел себя отраженным в своей жене. В себе он чувствовал все хорошее и дурное смешанным и затемняющим одно другое. Но на жене его отражалось только то, что было истинно хорошо; все не совсем хорошее было откинуто. И отражение это произошло не путем логической мысли, а другим, таинственным, непосредственным отражением».

Софья Андреевна являлась неутомимой заботницею о Толстом и помощницею в его литературных работах. Она окружила его самым внимательным и нежным уходом, строго, ревниво оберегала его покой и удобства во время работы. Переписывала его черновики, которые он потом черкал и исправлял, а она опять переписывала. Но участие ее в творческой работе Толстого не ограничивалось только такою внешнею помощью. «Вот, Таня, я настоящая писательская жена!» — пишет она в 1874 году своей сестре. Действительно, она была настоящею писательскою женою.

В чем достоинства такой писательской жены, истинной подруги и помощницы в творческой работе мужа художника? Не просто в том, что она обладает тонким критическим чутьем и эстетическим вкусом, умением понять то, что хотел сказать художник. Дело гораздо сложнее и тоньше. Бессознательным, интуитивным женским своим чутьем она чувствует саму душу художника-мужа, сливается с нею и как бы сама живет душою в этой родной

ей душе. Этим бессознательным своим чутьем она безошибочно улавливает в работе своего друга все фальшивое, слабое, неудавшееся. Ей незачем доказывать, обосновывать свое мнение, она, может быть, даже не сумеет этого. Но нужно ли и самому-то художнику доказывать себе, что такое-то место фальшиво или слабо, раз он почувствовал это? Такая подруга-жена художника является живым воплощением его собственной художественной совести. «Это плохо, фальшиво!» — «Почему?» — «Не знаю, а только плохо, фальшиво!» И такой умственно неубедительный довод убеждает художника, потому что она высказала только то, что ему говорила его собственная художественная совесть, но что он хотел задушить, заглушить в себе из лени, из нежелания опять и опять перерабатывать неудавшееся место. Сила и слабость такой подруги-жены заключается в том, что она чувствует, что̀ именно может и должен сделать не художник вообще, а именно он, данный художник, Лев Николаевич, потому что с ним созвучна ее душа. Незаменимая помощница и вдохновительница для Толстого, она, наверное, только вредила бы своею помощью и мешала бы, например, Достоевскому. А умный друг-мужчина, вроде Н. Н. Страхова, своими тонкими критическими замечаниями одинаково был бы полезен и Толстому, и Достоевскому. У женщины же дело не в уме, не в ее «малом умственном хозяйстве», которое Толстой ставит очень невысоко, а в могучей и огромной силе иррационального чувствования.

В 1864 году, во время работы над «Войной и миром», Толстой пишет Софье Андреевне: «Ты, глупая, со своими неумственными интересами, мне сказала истинную правду. Все историческое не клеится и идет вяло». В 1878 году он пишет Фету: «Прочтя ваше стихотворение, я сказал жене: «Стихотворение Фета прелестно, но одно слово нехорошо». Она кормила и суетилась, но за чаем, успокоившись, взяла читать и тотчас же указала на то слово, которое я считаю нехорошим: «как боги».

Восемнадцать лет этой счастливой семейной жизни были для Толстого временем наиболее продуктивного художественного творчества. За этот период им написаны «Война и мир» и «Анна Каренина», не говоря о многих мелких рассказах. Но колоссальная работа по созданию этих произведений берет только небольшую часть сил Толстого. То и дело он отрывается от этой работы для неудержимо манящей его жизни во всех ее проявлениях. В 1863 году он пишет Фету: «Я живу в мире, столь далеком от литературы, что, получая такое письмо, как ваше, первое чувство мое — удивление. Да кто же такой написал «Казаков» и «Поликушку»? Да и что рассуждать о них?.. Теперь как писать? Я в «юхванстве» опять по уши. У меня пчелы, и овцы, и новый сад, и винокурня». В 1870 году он пишет Фету: «С утра до ночи учусь

по-гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. Невероятно и ни на что не похоже. A livre ouvert читаю Ксенофонта. Жду с нетерпением показать кому-нибудь этот фокус. Но как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь! Я убедился, что из всего истинно прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как все». Не зная до того греческого языка, Толстой изучил его в три месяца. Свой «фокус» он показал в Москве проф. Леонтьеву. Тот не хотел верить возможности такого быстрого изучения древнего языка и предложил прочитать вместе с ним à livre ouvert. В трех случаях между ними произошло разногласие в переводе. После уяснения дела профессор признал мнение Льва Николаевича правильным. Но такой бешеный темп занятий греческим языком совершенно расстроил здоровье Толстого, и ему пришлось ехать в самарские степи лечиться кумысом.

Опять всею головою Толстой уходит в школьное дело. Занимается в школе сам, приохочивает к занятиям Софью Андреевну, пишет статьи о народном образовании, подвергает уничтожающей критике существующие методы народного обучения, изобретает свой способ обучения грамоте, устраивает в Москве состязание с Московским Комитетом Грамотности в сравнительных достоинствах своего метода и общепринятого звукового. Наново пишет учебники по всем предметам. «Я до одурения занимаюсь эти дни окончанием арифметики,— сообщает он Страхову.— Вы будете смеяться надо мною, что я взялся не за свое дело, но мне кажется, что арифметика будет лучшее в книге». И тетушке своей, графине А. А. Толстой, он пишет: «Я опять в педагогике, как четырнадцать лет тому назад; пишу роман, но часто не могу оторваться от живых людей для воображаемых». И прибавляет, что о себе ему писать нечего, потому что «счастливые народы не имеют истории».

И все-таки всего ему мало, этому ненасытному к жизни человеку. Жадными, «завидущими» глазами смотрит все время Толстой на жизнь и все старается захватить в ней, ничего не упустить. Все он переиспытал, все умеет, все знает,— и не как-нибудь, не по-дилетантски, а основательно. Приехал в Ясную Поляну один француз. Беседуя с Толстым и графиней на кругу, перед домом, француз подошел к реку, на котором упражнялись сыновья Толстых, и проделал какой-то нехитрый тур.

— Вот это искусство вам, граф, уж наверно незнакомо! — любезно-заискивающе обратился он к Толстому.

Лев Николаевич засмеялся и начал наглядно показывать французу, как надо обращаться с реком. Француз только покачивал головой и восклицал на все лады: «ого! ага!» при виде, как чисто и отчетливо проделывал Лев Николаевич различные упражнения на руках.

Умел ли Тургенев играть на фортепиано? Знал ли Достоевский древнееврейский язык? Пробовал ли Гончаров заниматься скульптурой? Играл ли Некрасов в шахматы? Ездил ли Чехов на велосипеде? Играл ли Короленко в лаун-теннис? Умел ли Фет вязать чулки? Вопросы странные и смешные. Какое отношение это имеет к упомянутым писателям? Может, умели, может, нет. А о Толстом заранее можно уверенно сказать: да, все это он пробовал, все это умел. И относительно него эти вопросы не смешны. Я не знаю, умел ли Толстой вязать чулки. Но я знаю, что до женитьбы Толстой проводил длинные зимние вечера в Ясной Поляне со старушкой няней Агафьей Михайловной. И просто нельзя представить себе, что, глядя, как она на его глазах вяжет чулки, он не захотел бы сейчас же все это понять и научиться делать сам.

Детское что-то есть в той внимательной и радостной серьезности, с какой Толстой делает всякое дело. И совершенно с тою же серьезностью он способен жить чисто детскими радостями. Девушке-переписчице он, уже восьмидесятилетним стариком, говорит:

— А как мне хотелось вчера с вами прыгать с лестницы! Главное, обидно было, что никто из вас не умел прыгнуть как следует. Надо прыгнуть и присесть немножко.

И вот что он пишет в 1864 году жене:

«Веселее всего, даже блан-манже и шума, и Николая Богдановича,— было вчерашний день то, что мы с Таней и Петей в пристройке повторяли все: «Са-а-аш Куп-фер-шмидт!» (!!! staccato) этаким голосом».

Вы только представьте себе: взрослый, тридцатишестилетний человек, как раз в это время писавший «Войну и мир»,— произведение, всей глубины которого и доселе еще не в силах вскрыть критика,— засел в пристройке с ребятами-подростками и, забавляясь гулкими отзвуками, в радостном одушевлении кричит с ребятами «этаким голосом»:

— Са-а-аш Куп-фер-шмидт!!!

Ощущение блаженной и творческой полноты этой красивой, гармонической жизни хорошо передает в своих детских воспоминаниях один из сыновей Толстого, Лев Львович. Мальчик смотрит в окно, как отец едет на прогулку.

«Я наблюдал, как отец садился верхом, как он собирал поводья в левую руку и ловким движением закидывал правую ногу за седло. Не успев вдеть ногу в стремя, он отъезжал от крыльца, увозя с собою на простор природы свои мысли и вдохновения. Я хорошо чувствовал тогда настроение отца и то, чем он жил и чем был счастлив. Он писал. День за днем он развертывал из своего воображения бессмертную повесть, и ничто не мешало ему в этом, а, напротив, все содействовало. Он был счастлив, занятый

своею любимою работою, потому что она легко удавалась ему, потому что он делал дело, которое прежде всего удовлетворяло его самого, потому что от жизни он в то время получил все, что только мог и чего хотел. У него была жена, совершенно исключительная по достоинствам женщина, была куча здоровых детей, была слава, кругом его была русская природа и русский народ, который он привык любить с детства больше всего на свете»...

Маленький Лева лежит вечером в постели и думает. Из залы доносятся тихие аккорды: отец сидит за фортепиано, обдумывая на завтра свой роман, и тихо играет.

«Умиленный, я засыпаю под эти звуки, чтобы проснуться завтра для нового счастливого дня. Я безотчетно чувствовал в те годы, что целое море счастья было разлито вокруг моей детской жизни; я не понимал тогда, что этим морем, этим великим океаном была жизнь моего отца».

Действительно, счастье было полное. Трудно представить, чего же не хватало для еще бо́льшей полноты этого счастья.

И сбылось то, о чем Толстой мечтал в юности: «Мне хотелось, чтоб меня все знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя,— и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь». Так оно и случилось. Стоило Толстому появиться в каком-нибудь собрании,— и все именно бывали «поражены этим известием», готовы были обступить его и восторженно благодарить. Самые знаменитые люди за счастье считали послужить Толстому своим талантом. Однажды Толстой, по случайным причинам, не смог попасть на концерт приехавшего в Москву Антона Рубинштейна и был этим очень огорчен. Антон Рубинштейн узнал про это, приехал сам к Толстому и целый вечер играл ему. Толстой заинтересовался музыкою Чайковского. И Чайковский, польщенный, по его словам, «как никогда в жизни», специально для одного Толстого устраивает в консерватории концерт из своих произведений. Исполнители в этот вечер, пишет Чайковский, «играли как никогда. Видно было, что, играя так удивительно хорошо, они старались для очень любимого и дорогого человека».

Ко всему этому жизнь Толстого отнюдь не была узкоэгоистическою. Беды, которые попадались ему на глаза, вызывали в нем горячий сочувственный отклик и потребность сейчас же вмешаться, действовать. В 1866 году рядовой Шибунин, солдат расположенного близ Ясной Поляны полка, дал пощечину своему ротному командиру, изводившему его несправедливыми придирками. Солдат был предан военно-полевому суду. Толстой выступил его защитником, сказал на суде горячую речь, но, конечно, ничего не добился. Шибулин был приговорен к смертной казни и расстрелян.

В 1873 году Толстой проводил лето в Самарской губернии. После нескольких недородных годов губернию поразил полный неурожай. Надвигался голод. Между тем не только никто в центре не знал об этом, но даже местная администрация не знала... или не хотела знать. Толстой поднял шум в газетах, ярко обрисовал надвигающуюся беду, страстно звал на помощь... И посыпались пожертвования, всюду образовались комитеты помощи голодающим.

IV

Толстому шел шестой десяток лет. Уже теперь-то, казалось бы, жизнь вполне определилась,— счастливая и самоудовлетворенная жизнь большого художника, получившего всеобщее признание. И в это-то как раз время в душе Толстого происходит глубокий надлом, и вся его на редкость счастливая, гармоническая жизнь совершенно для него обессмысливается. Вопросы о ценности жизни, о смысле ее перед лицом неизбежной смерти,— вопросы, занимавшие в его произведениях и раньше центральное место,— теперь встают перед ним с настойчивостью небывалою. Острота их сама по себе в большей степени обусловливалась, по-видимому, тою своеобразною физическою ломкою, которая происходит в организме человека на перевале, отделяющем зрелый возраст от старости. В своей «Исповеди» Толстой рассказывает об отчаянии, которое овладело им, о том, как он близок был к самоубийству, как прятал от себя шнурок, чтоб не повеситься, и не ходил с ружьем на. охоту, чтобы не застрелиться. Конечно, он бы не убил себя,— слишком велик был в нем запас жизненной энергии, слишком исчерпывающие ответы дал на эти проклятые вопросы сам он, как художник, из бессознательных глубин своего влюбленного в жизнь духа [1]. Он нашел бы то или иное оправдание жизни, перевал был бы перейден, и явилась бы новая душевная гармония — гармония умиротворенной, просветленной старости.

Но в состоянии того обостренного зрения, которое было вызвано указанным кризисом, Толстой увидел еще нечто такое, что сделало совершенно немыслимым возвращение к какой бы то ни было гармонии прежнего типа. Выбит был из-под здания какой-то самый основной устой, и все прекрасное, гармоническое здание заколебалось и рухнуло навсегда. Устой этот был выбит ярко, глубоко почувствованною истиною, которую Толстой формулирует в «Исповеди» так: «Жизнь нашего круга не есть жизнь, а только подобие жизни; условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь... Жизнь трудящегося

---

[1] См настоящее издание. С. 59—189.

народа, всего человечества, творящего жизнь, это — сама жизнь, и смысл, придаваемый этой жизни, есть истина». Широко открывшимися глазами человека, проснувшегося от глубокого сна, смотрит Толстой на окружающие уродства жизни. Какое же возможно гармоническое, не развращающее душу счастье среди этой униженной, задавленной, задыхающейся жизни?

До этого времени Толстой был поистине «пьян счастьем». Он был как-то странно слеп к неустройствам жизни. Попадавшиеся ему на глаза беды и несправедливости вызывали в нем горячий отклик и действенное сочувствие, но все они были для него так чем-то, печальными случайностями жизни. В конце сороковых годов он поселяется в своей крепостной деревне, с большим одушевлением старается улучшить жизнь принадлежащих ему рабов, но ему и в голову не приходит, что их беспечность, развращенность и нелюбовь к труду являются неизбежным последствием рабства, что прежде всего нужно их отпустить на волю. Мало того, уже много позже, в своем ответе критикам «Войны и мира», он с задором утверждает, что так называемые «ужасы крепостного права» были редкими исключениями, что в общем крестьянам жилось тогда ничуть не хуже, чем теперь. Или вот едет он за границу и в Люцерне наблюдает, как нищий певец поет перед богатым отелем, как богачи туристы с удовольствием слушают его и холодно отворачиваются, когда он протягивает к ним шапку. Толстой возмущен, взбешен; в этом маленьком проявлении огромного уклада мещанской жизни он видит что-то небывало возмутительное, чудовищное; в рассказе своем «Люцерн» публикует на весь мир это событие с точным указанием места и времени и предлагает желающим «исследовать» этот факт, справиться по газетам, кто были иностранцы, занимавшие в тот день указываемый отель.

Но теперь, теперь хмель счастья рассеивается. Все доступное человеку счастье, все целиком пережито Толстым, испробовано.

Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse,—

«светом становится все, чего я коснусь, углем становится все, что я оставляю». И сиявшее таким ярким светом личное счастье превращается в перегоревший уголь, в золу, которая совершенно неспособна дать душе ни света, ни тепла.

«У нас теперь много народа,— пишет Толстой Черткову,— мои дети и Кузьминских, и часто я без ужаса не могу видеть эту безнравственную праздность и обжирание. Их так много, они все такие большие, сильные, и я вижу и знаю весь труд сельский, который идет вокруг нас. А они едят, пачкают платье, белье и комнаты. Другие для них все делают, а они ни для кого, даже для себя ничего. А это всем кажется самым натуральным, и мне так каза-

лось, и я принимал участие в заведении этого порядка вещей».

А вот другая сторона — судьба людей, не призванных к участию на пиршестве жизни. В Москве к Толстому пришел однажды его переписчик, ночующий в ночлежном доме, и взволнованно рассказал следующее: в той же ночлежке жила больная двадцатидвухлетняя прачка; она задолжала за квартиру шестьдесят копеек, и полиция, по жалобе хозяйки, выселила ее. Больная и голодная, она весь день просидела на паперти церкви, вечером воротилась к дому, упала в воротах и умерла. Толстой пошел в ночлежку. «Деревья Нескучного сада синели через реку, порыжевшие воробьи так и бросались в глаза своим весельем; люди как будто тоже хотели быть веселы, но у них у всех было слишком много работы». Он пришел на квартиру. «В подвале гроб, в гробу почти раздетая женщина с закостеневшей, согнутой в коленке ногой. Свечи восковые горят. Дьячок читает что-то вроде панихиды, я пришел любопытствовать. Мне стыдно писать это, стыдно жить. Дома блюдо осетрины, пятое, найдено несвежим. Разговор мой перед людьми мне близкими об этом встречается недоумением,— зачем говорить, если нельзя поправить. Вот когда я молюсь: «Боже мой, научи меня, как мне жить, чтобы жизнь моя не была мне гнусной!» И он прибавляет в своем дневнике: «А солнце греет, светит, ручьи текут, земля отходит. И Бог говорит: живите счастливо!»

И с страстным, безоглядным увлечением Толстой, никогда ни в чем не знавший половины, делает из этого свой вывод, своеобразный и решительный, отвергающий всякие компромиссы: «Да, на слова людей, которые скажут, что наука, свобода, культура исправит все это, можно отвечать только одно: «Устраивайте, а пока не устроено, мне тяжелее жить с теми, которые живут с избытком, чем с теми, которые живут с лишениями. Устраивайте, да поскорее, я буду дожидаться внизу... Чтобы устроить, мало материально все переменить, увеличить; надо душу людей переделать, сделать их добрыми и нравственными. А это не скоро устроите, увеличивая материальные блага. Устройство одно — сделать всех добрыми. А для этого едва ли не лучшее средство — уйти от празднующих и живущих потом и кровью братьев и пойти к тем замученным братьям. Не едва ли, а наверное».

Нужно отдать все свое имущество, отказаться от всех культурных навыков, опроститься, жить трудовою жизнью, не противиться злу насилием, смиряться, терпеть, и не словами, а собственной жизнью своей проповедовать людям добро и любовь. Я не имею в виду рассматривать и подвергать критике эти взгляды Толстого. Но совершенно ясно одно: слишком все это было высказано категорически и безусловно, это не было «литературой», теоретическими рассуждениями «вообще», это был единственный

неизбежный для Толстого жизненный выход, слово его повелительно требовало от него своего претворения в жизнь. «Я буду дожидаться внизу».

И вот он,— он все-таки остается «наверху». Друзья в недоумении, враги злорадствуют. Он с прежнею страстностью продолжает проповедовать все время: «я понял», «мне стало ясно»,— а сам вниз не идет. Богатств своих не раздает; как жуликоватый купец, подготавливающий злостное банкротство, переводит имущество на имя жены; продолжает жить в барской усадьбе прежнею роскошною жизнью, а из требований своего учения приспосабливает для себя то, что выгодно и приятно: занимается физическим трудом — очень полезный моцион при умственной работе, носит удобную блузу вместо стеснительных сюртуков и крахмальных воротничков, бросил пить вино и курить, что весьма полезно для здоровья. И даже деньгами никому не хочет помогать: он, видите ли, отрицает пользу денежной помощи. Помните вы гаденькие подхихикивания Мережковского, рисующего, как Толстой спасается от мужика, просящего у него на корову, как перепрыгивает через канаву со словами: «Я этого ничего не знаю!» Словом — лицемерие, фарисейство, искание популярности, желание производить вокруг себя шум.

Попробуем стать на эту точку зрения. Но прежде всего: какой же был для Толстого смысл искать популярности, славы? Слава, как мы видели, была такая, что большей и делать было невозможно. И слава прочная, без терний, никем не оспариваемая. А тут все время — и в печати, и в бесчисленных письмах, и в разговорах с искренними искателями — постоянно одно и то же. «Что проповедуешь — и как живешь!» И в ответ — бегать глазами по сторонам, оправдываться никому не убедительными доводами, объяснять расхождение своего слова с делом. Хорошая слава, приятная! И врагу такой не пожелаешь!.. А живи Толстой по-прежнему, не обличая сам своей жизни, кто бы со стороны упрекнул его за его благосостояние? Всякий бы сказал: хвала судьбе, что автор «Войны и мира» имеет возможность творить в благоприятных условиях! Ведь в ужас приходишь, когда видишь, как приходилось работать, например, несчастному Достоевскому, как он наспех писал свои вещи, не успевая их даже перечитать, как в отчаянии восклицал: «Если бы мне достаток Тургенева или Толстого,— да я бы такую вещь написал, что ее бы и через сто лет перечитывали!» Да, никто бы не упрекнул Толстого. На что уж Советская власть беспощадна ко всяким имущественным привилегиям, а и она вскоре после своего установления поспешила назначить исключительно крупную пенсию — да еще не самому Толстому, тогда уже умершему, а его вдове, игравшей в последнем периоде жизни Толстого весьма сомнительную роль.

И что, наконец,— с указанной точки зрения,— мешало Толстому осуществить в жизни его учение? При его потребностях в последнее время богатство его было для него одеялом в сто аршин. Взял бы он себе две-три десятинки, построил бы скромный хуторок, поселился бы в нем с одною из сочувствующих ему дочерей, Марьей или Александрой Львовной; развел бы огород, пчельник, обрабатывал бы поле. К физическому труду он был очень способен и охоч, работу деревенскую издавна знал великолепно. Один яснополянский крестьянин отзывается о нем: «Как работает, как пашет, как косит! И силища какая! Если плоха лошадь, то его хоть самого запрягай в соху. Без обеда выходит три осьминника». И если бы Толстой роздал свое имение, какая могла бы ему грозить нищета? Да за любую повесть или статью он всегда мог, если бы хотел, получить колоссальный гонорар. Нет, даже с этой обывательской точки зрения Толстому решительно ничего не мешало устроить жизнь по своему учению, по крайней мере, в таком масштабе, чтобы заткнуть рты хулителям.

А что Толстой переживал в душе за время своего сидения в Ясной Поляне, это мы имеем возможность узнать только теперь, когда нам — по крайней мере, в некоторой степени — стали доступны его дневники и интимные строки из писем к друзьям. Мучительно читать их. Это какой-то сплошной вопль отчаяния человека, который задыхается от отсутствия воздуха, бьется о стены своей тюрьмы и не может вырваться на свежий воздух.

«Неужели,— пишет он Черткову,— так и придется мне умереть, не прожив хоть один год вне того сумасшедшего, безнравственного дома, в котором я теперь вынужден страдать каждый час, не прожив хоть одного года по-человечески разумно, т. е. в деревне, не на барском дворе, а в избе среди трудящихся, с ними вместе трудясь по мере своих сил и способностей, обмениваясь трудами, питаясь и одеваясь, как они, и смело без стыда говоря всем ту Христову истину, которую знаю». «Отец, помоги мне! — пишет он в дневнике.— Впрочем, уже лучше. Особенно успокаивает задача, экзамен смирения, унижения, совсем неожиданного, исключительного унижения. В кандалах, в остроге можно гордиться унижением, а тут только больно, если не принимать его, как посланное от бога испытание».

И одиночество,— поражающее, глухое одиночество. «Вы, верно, не думаете этого,— пишет Толстой в одном письме,— но вы не можете себе представить, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий «я», презираемо всеми окружающими меня». «Чувствую,— пишет он в дневнике,— что моя жизнь никому не только не интересна, но скучно, совестно им, что я продолжаю заниматься такими пустяками».

И сама жена — близкий, неизменный и любящий его друг,— и она теперь относится не только с отчуждением, а с прямою враждою к тому новому, чем живет ее муж. «Я начинаю думать,— пишет она ему,— что если счастливый человек вдруг увидел в жизни только все ужасное, то это от нездоровья. Тебе бы полечиться надо... Это тоскливое состояние уж было прежде давно: ты говоришь: «от безверья повеситься хотел»? А теперь? Ведь ты не без веры живешь, отчего же ты несчастен?» — с тупым недоумением спрашивает она. И все убеждает его полечиться,— и кумысом, и тем, и другим. «Я так тебя любил,— отвечает Толстой,— и ты так напомнила мне все то, чем ты старательно убиваешь мою любовь!.. Обо мне и о том, что составляет мою жизнь, ты пишешь, как про слабость, от которой ты надеешься, что я исправлюсь посредством кумыса». А Софья Андреевна все с бóльшим раздражением нападает на него: «Я вижу, что ты остался в Ясной не для той умственной работы, которую я ставлю выше всего в жизни, а для какой-то игры в Робинзона... Тогда уж лучше и полезнее было бы с детьми жить. Ты, конечно, скажешь, что так жить — это по твоим убеждениям и что тебе так хорошо. Тогда это другое дело, и я могу только сказать: «наслаждайся», и все-таки огорчаться, что такие умственные силы пропадают в колотье дров и шитье сапог. Ну, теперь об этом будет. Мне стало смешно, и я успокоилась на фразе: «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».

Поражает это невероятное непонимание души Толстого, причин, вызывающих его «тоскливое состояние». Конечно, это тоскливое состояние было вовсе не от болезни. Органически-болезненный переход от зрелого возраста к старости, отразившийся в «Исповеди», был назади. Толстой вступил в старость,— в ясную, просветленную и умиротворенную старость, прекраснейший удел хороших людей. В письмах, в дневниках Толстого мы постоянно встречаем отражение этого своеобразного старческого жизнеощущения,— «чувства расширения жизни, переступающей границы рождения и смерти», как выражается Толстой. Он пишет в дневнике: «Радостно то, что положительно открылось в старости новое состояние большого, неразрушимого блага. И это — не воображение, а ясно сознаваемая перемена состояния души, переход от путаницы, страдания к ясности и спокойствию. Вот именно выросли крылья. Это-то и есть молитва». И жизнь кругом захлестывает его душу волнами блаженной радости. «Вышел вечером за лес и заплакал от радости, благодарной за жизнь»,— пишет он в дневнике.

Но какой-то тяжелый внешний гнет лежит на его жизни и все время мешает ему выпрямиться, мешает целостно зажить этою блаженною жизнью. И в отчаянии он пишет: «Хочется плакать

над собою, над напрасно губимым остатком жизни». Он знает ясно и твердо, чего ему нужно и в какие формы надо отлить этот остаток жизни, чтоб он не был загублен. Это — уход из томящей обстановки Ясной Поляны и бездомовное странничество по степным и лесным просторам родной земли. «Необходимость бездомовности, бродяжничества для христианина,— пишет он одному из своих друзей,— была для меня в самое первое время моего обращения самой радостной мыслью, объясняющей все, и такою, без которой истинное христианство не полно и не понятно». Любовно рисует он искупительное странничество о. Сергия, с жадным любопытством изучает историю загадочного старца Федора Кузьмича. Есть легенда, что этот старец был император Александр I, симулировавший в Таганроге свою смерть, положивший в свой гроб засеченного шпицрутенами солдата, а сам ушедший в серое народное море во искупление своих царских грехов. Толстой даже начал писать записки этого Федора Кузьмича. «Тело солдата,— рассказывает у него Кузьмич,— в закрытом гробу похоронили с величайшими почестями. Я же пережил ничтожные, в сравнении с моими преступлениями, страдания и незаслуженные мною величайшие радости».

Всякий, обладающий внутренним зрением, наблюдал Толстого в последний период его жизни, видел ясно, что он давно уже вышел духом из окружавшей его обстановки. Недавно умерший В. В. Розанов гениальным своим пером так рисует свое впечатление от Толстого: «Мне он показался безусловно прекрасен. «Именно так, как ему должно быть». Только не здесь, не в барской усадьбе. Как все это не идет к нему, отлепилось от него! Сидеть бы ему на завалинке около села или жить у ворот монастыря,— в хибарочке, «старцем»; молиться, думать, говорить — не с «гостями», а с прохожими, со странниками,— и самому быть странником. В каком бы доме, казалось, он ни жил, «дом» был бы мал для него, несоизмерим с ним; а соизмеримым с ним, «идущим к нему», было поле, лес, природа, село, народ, т. е. страна и история. Он явно вышел, перерос условия видного, индивидуального существования, положения в обществе, «профессии», художества и литературы. «Исповедь» его, по которой он изо всего вышел,— была в высшей степени отражена в его фигуре, которая явно тоже изо всего вышла, осталась одна и единственна, одинока и грустна, но велика и своеобразна».

Да, именно так! Микула Селянинович в детской курточке сидит в душной спаленке. А самый близкий ему человек смотрит, дивится его «тоскливому состоянию», с усмешкою говорит: «Чем бы дитя ни тешилось, только б не плакало!» И с любовною заботою: «полечись кумысом»...

Если бы Толстой был писателем, то томление по этой новой, заманчивой для него жизни разрешилось бы просто. Он написал бы историю странничества Федора Кузьмича или о. Сергия, написал бы ярко, захватывающе,— и получил бы удовлетворение. Но Толстой,— Толстой не был писателем. Он был, пользуясь удачным выражением его биографа П. И. Бирюкова, «свободным художником жизни». И лишенный возможности воплотить свои замыслы в жизнь, в делание, он испытывал муки художника, у которого остановлен и задавлен его творческий порыв.

V

Но почему же, почему он в таком случае не уходил?

Давно уже смутные слухи настойчиво указывали на одно определенное лицо, упорно загораживавшее Толстому дорогу к новой жизни. Теперь обе стороны ушли из жизни, теперь опубликованы многие интимные места из дневника и переписки Толстого, напечатан набросок его откровенно-автобиографической драмы «И свет во тьме светит». И нет теперь никакого сомнения, что лицом этим была его милая, любящая Кити — его жена.

Тот же В. В. Розанов так описывает свое впечатление от Софьи Андреевны: «Вошла графиня Софья Андреевна, и я сейчас же ее определил, как «бурю». Платье шумит. Голос твердый, уверенный. Красива, несмотря на годы. Мне казалось, что ей все хочет повиноваться или не может не повиноваться; она же и не может, и не хочет ничему повиноваться. Явно — умна, но несколько практическим умом. «Жена великого писателя с головы до ног», как Лир был «королем с головы до ног».

Вот тут — вся суть этой тяжелой драмы. Жена великого писателя с головы до ног. А он — он ни мизинчиком не писатель. О, отчего он не был писателем! Будь он Флобером, Золя, Ибсеном, Достоевским — и как бы хорошо, как радостно и благообразно шла бы жизнь! Широкая слава, всеобщее уважение. Лауреат и почетный член академий всего мира. Колоссальные гонорары. Прекрасная барская усадьба для лета, уютный дом в Москве для зимы. Вполне обеспеченное существование. Большая, дружная семья, счастливые дети, бесчисленные, милые внучата. Всегда полный дом самых избранных гостей. Чего еще желать? О, ей, хозяйке,— ей тут работы без конца; но она на это не жалуется. Работа радостная и привычная. Сложное управление домом и хозяйством, оберегание покоя и удобств великого своего мужа, заботы и хлопоты о детях. Денег, конечно, никогда не хватает,— расходов так много! Но энергии у нее довольно. Она сама обшивает мужа и детей, сама издает сочинения мужа,— это гораздо выгоднее, чем продавать издателям. Тонет в корректурах, при-

нимает подписку. Судится с мужиками; они так наглы, так бесцеремонно рубят ее лес; если не будет острастки, то скоро и парк начнут рубить. Мало того, что на расходы нужны деньги. Нужно еще обеспечить всех детей. А их очень много. Все они женаты, замужем. Каждому нужно по хорошему именьицу.

И вдруг он, центр и солнце этой гармонической системы, говорит: ничего этого не нужно. «То, что ты называешь важными делами, я называю пустейшими из пустейших». И мало того, что это не нужно. Все это преступно. Это — разврат, это — грабительство. Нужно отказаться от неправедно нажитого богатства, отдать землю мужикам, отказаться от права литературной собственности и начать жить трудами рук своих. Все это, конечно, очень было бы хорошо и трогательно в романе. Но в жизни, в жизни! Одним махом собственными руками разрушить благополучие, создававшееся ими обоими в течение десятков лет. Ей самой сбросить с себя шелка и батисты, превратиться в деревенскую бабу, ставить хлебы и доить коров. Детям превратиться в бедняков, захудалых графчиков, и тяжелым трудом зарабатывать себе черствый кусок хлеба. А они так неподготовлены к труду, так привыкли к балам, к винту, к борзым собакам . Да что это,— сон? Блажь спятившего с ума человека, не понимающего, что он говорит?

Долго ей хотелось верить, что это так и есть, что это только минутная блажь. Она пишет сестре: «Левочка все работает, как он выражается, но — увы! — он пишет какие-то религиозные рассуждения... Но делать нечего, я одно желаю, чтоб уж он поскорее это кончил и чтоб прошло это, как болезнь». И через пять лет опять: «Левочка кончает свое печатанье, которое сожгут, но все-таки я надеюсь, что он успокоится». И его самого она пытается убедить, что ничего плохого нет в его. жизни, приводит самые неопровержимые доводы: «да ведь это все было. Ведь это у всех,— и за границей, и везде».

Но он не успокаивается, и даже ссылка на заграницу его не убеждает. Он серьезнейшим образом собирается отказаться от владения всем своим имуществом. Тогда любящая жена превращается в разъяренную тигрицу, защищающую свое логово и своих детенышей. Тут уж не до того, что об ней будет говориться в биографиях, не до уважения к великому своему мужу, тут все средства хороши. Когда Толстой захотел осуществить свое намерение, рассказывает его биограф П. И. Бирюков, «ему было категорически объявлено, что, если он начнет раздавать имущество, то над ним будет учреждена опека за расточительность, вследствие психического расстройства. Таким образом, ему угрожал дом умалишенных, а имущество все-таки осталось бы в руках семьи».

Начинается долгая, упорная, скрытая от чужих взглядов борьба. Для обеих сторон это не каприз, не упрямство, а борьба за жизнь, за существование. В июле 1891 года Толстой решил опубликовать в газетах письмо с отказом от собственнических прав на свои литературные произведения. Произошла бурная семейная сцена. Характер ее мы ясно можем себе представить по сценам, происходящим между мужем и женой в упомянутой драме «И свет во тьме светит».

«— Нет, это ужасно! За что такая жестокость? Ну, ты считаешь грехом, ну, отдай мне (плачет).

— Ты не знаешь, что ты говоришь. Если я отдам тебе, я не могу оставаться жить с тобой. Я должен уйти.

— Как ты жесток! Какое же это христианство? Это — злость. Ведь не могу я жить, как ты хочешь, не могу я оторвать от своих детей и отдать кому-то... За что ты ненавидишь и казнишь жену, которая тебе все отдала? Скажи, что я,— ездила по балам, наряжалась, кокетничала? Вся жизнь моя отдана была семье. Всех сама кормила, воспитывала, последний год вся тяжесть воспитания, управления делами, все на мне...

— Да ведь тяжесть вся оттого на тебе, что ты не захотела жить, как я предлагал.

— Да ведь это невозможно. Спроси у всего света. Невозможно оставить детей безграмотными, как ты хотел, и мне самой стирать и готовить кушанья...»

Софья Андреевна так была потрясена разговором, что решила покончить с собой. Она пошла одна на станцию железной дороги Козловку-Засеку, чтобы лечь под поезд. Случайно на большой дороге ее встретил возвращавшийся с прогулки муж ее сестры, А. М. Кузьминский. Вид ее поразил его; он добился от нее признания в ее намерении и сумел отговорить ее.

Толстой настаивал на своем решении. Осенью он послал жене в Москву письмо с отказом от прав на свои литературные произведения и просил ее напечатать письмо в газетах. Софья Андреевна отказалась. Толстой напечатал сам. Этот отказ от собственности на произведения, напечатанные после 1881 года, был единственной победой, которую Толстой сумел одержать в борьбе с женой.

Борьба продолжалась — упорная, мелочная, повседневная. Управляющий Ясной Поляны поймал мужиков за кражей леса; их судили и присудили к шести неделям острога. Они пришли к Софье Андреевне просить, чтоб их помиловали. Софья Андреевна ответила, что ничего не хочет и не может для них сделать. Опять произошел крупный разговор с Львом Николаевичем. Он указал ей, что пусть у нее нет веры, чтоб простить мужиков из убеждения; пусть нет любви к нему, чтоб из-за нее сделать это;

но неужели же он не вправе ждать от нее хоть на столько простого уважения к себе, чтоб не делать ему таких неприятностей, как эта? Софья Андреевна осталась непоколебима и отправила мужиков в острог.

В этом же разговоре Толстой категорически заявил жене, что видит для себя только два выхода из создавшегося положения: либо отдать землю крестьянам и отказаться от имущества, либо уйти из дома. Попытки первого исхода разбились об упорное сопротивление Софьи Андреевны. Оставался второй исход, казалось бы, самый простой и для обеих сторон наиболее безболезненный. Но не так оказалось на деле.

17 июня 1884 года Толстой пишет в дневнике: «Вернулся с купанья бодрый, веселый, и вдруг начались со стороны жены бессмысленные упреки за лошадей, которых мне не нужно и от которых я хочу избавиться. Я ничего не сказал, но мне стало ужасно тяжело. Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу. Дома играют в винт бородатые мужики,— молодые мои два сына. Пошел к себе спать на диване, но не мог от горя. Ах, как тяжело! Только что заснул в третьем часу, она пришла, разбудила меня: «Прости меня, я рожаю, может быть, умру». Пошла наверх. Начались роды; то, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло, как что-то ненужное и тяжелое... Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно. Безжалостно относительно ее. Я вижу, что она с усиливающеюся быстротою идет к погибели, к страданиям — душевным — ужасным. Когда приехал из Тулы брат, я в первый раз в жизни сказал ему всю тяжесть своего положения. Не помню, как прошел вечер...»

В декабре 1885 года Толстой однажды входит к жене,— лицо страшное.

— Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку.

Софья Андреевна удивленно спросила:

— Что случилось?

— Ничего, но если на воз накладывают все больше и больше, лошадь станет и не везет.

«Что накладывалось, неизвестно,— в наивном недоумении пишет она сестре.— Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже, хуже. Когда же он сказал, что «где ты, там воздух заражен», я велела принести сундук и стала укладываться. Прибежали дети, рев... Стал умолять остаться. Я осталась, но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто, подумай, Левочка, и всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его...» И в сознании полной своей правоты она горестно пишет дальше: «Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну, теперь за что же? Я из до-

ма ни шагу не делаю, работаю с изданием до трех часов ночи, тиха, всех так любила и помнила это время, как никогда. И за что?» И сейчас же следом: «Подписка на издание идет сильная. Денег выручила 2000 за 20 дней». И заканчивает: «Я все эти нервные взрывы, и мрачность, и бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе. Авось он там у Олсуфьевых образумится. Здесь топлением печей, возкой воды и пр. он замучил себя до худобы и до нервного состояния».

И такие сцены разыгрывались все чаще. Уходу Толстого из дома Софья Андреевна противилась так же упорно, как раздаче имущества. Почему? Ответ мы находим в драме «И свет во тьме светит».

«— Нет, ты христианин, ты хочешь делать добро, говоришь, что любишь людей, за что же ты казнишь ту женщину, которая отдала тебе всю свою жизнь?

— Да чем же я казню? Я и люблю, но...

— Как же не казнишь, когда ты бросаешь меня, уходишь? Что же скажут все? Одно из двух: или я дурная женщина, или ты сумасшедший... И за это я должна нести позор. Да и не позор только. Самое главное то, что ты теперь не любишь меня; ты любишь весь мир и пьяного Александра Петровича,— а я все-таки люблю тебя, не могу жить без тебя. За что? За что? (плачет).

— Ведь ты не хочешь понимать моей жизни, моей духовной жизни.

— Я хочу понимать, но не могу понять. Я вижу, что твое христианство сделало то, что ты возненавидел семью, меня. А для чего — не понимаю.

— Маша! Я не нужен тебе. Отпусти меня. Я пытался участвовать в вашей жизни, внести в нее то, что составляет для меня всю жизнь. Но это невозможно. Выходит только то, что я мучаю вас и мучаю себя. Не только мучаю себя, но и гублю то, что я делаю. Мне всякий имеет право сказать и говорит, что я обманщик, что я говорю, но не делаю, что я проповедую евангельскую бедность, а сам живу в роскоши под предлогом, что я отдал все жене.

— И тебе перед людьми стыдно? Неужели ты не можешь стать выше этого?

— Не мне стыдно,— но и стыдно,— но я гублю дело Божие.

— Делай то, что ты проповедуешь: терпи, люби. Что тебе трудно? Только переносить нас, не лишать нас себя. Ну, что тебя мучает?

— Не могу я так жить. Пожалей меня, я измучился. Отпусти меня. Прощай.

— Если ты уйдешь, я уйду с тобой. А если не с тобой, то уйду под тот поезд, на котором ты поедешь. И пропадай они все, и Ми-

ша, и Катя! Боже мой, Боже мой! какое мучение! За что? За что? (плачет)».

Простой уход для Толстого становится невозможен. Ему остается только бегство — тайное бегство свободного человека из собственного дома. Крепкими сетями жалости и любви опутан лев, и у него нет сил разорвать эти сети. Нужно потихоньку, ночью, высвободиться из этих сетей и бежать.

В 1897 году Толстой начинает подготовлять бегство, сговаривается с друзьями. Он собирается поехать в Калугу к И. И. Горбунову, а оттуда — в Финляндию, о чем списывается со своим единомышленником, финляндским писателем Иернефельдом. Жене он оставляет письмо. В нем он пишет:

«Как индусы под шестьдесят лет уходят в лес, как всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой семидесятый год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни со своими верованиями, со своей совестью. Если бы открыто сделать это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы остался, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, и в душе своей, главное, ты, Соня, отпусти меня добровольно, и не сетуй на меня, не осуждай меня. То, что я ушел от тебя, не доказывает того, что я был недоволен тобой. Я знаю, что ты не могла, буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменить свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а, напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни. Благодарю и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне. Прощай, дорогая Соня. Любящий тебя Лев Толстой».

Но он на этот раз не уехал. Письмо осталось не отправленным. Характерна запись Толстого в дневнике в день отправки письма к Иернефельду: «Внутренняя борьба. Мало верю в Бога. Не радуюсь экзамену, а тягочусь им, признавая вперед, что не выдержу. Всю ночь ныне не спал. Рано встал и много молился. Написал письмо Ернефельду. Это одно важно. А силы нет противостоять привычному соблазну. Приди и вселися в ны. Возбуди воскресенье во мне!» Как будто ясно: соблазн, это — остаться дома, не уехать. Но на запрос Иернефельда о просимой у него помощи Толстой отвечает: «Теперь соблазн, который заставлял меня искать этой помощи, минован». И при личной встрече с Иернефельдом в Москве Толстой сказал: «Да, да, соблазн минован на этот раз». И потом, огля-

чувшись, с глубочайшим вздохом скорби прибавил: «Вы извините меня, Арвид Александрович, что я так живу, но, должно быть, так надо». И Черткову он пишет через четыре дня после вышеприведенной записи в дневнике: «Я плох. Я учу других, а сам не умею жить. *Уж который год задаю себе вопрос, следует ли продолжать жить, как я живу, или уйти, — и не могу решить*. Знаю, что все решается тем, чтобы отречься от себя, и когда достигаю этого, тогда ясно». Как видим, то для него соблазн — остаться дома, то соблазн — как раз обратное, уйти из опостылевшей обстановки. И вопроса этого он никак не может решить.

Со стороны казалось бы — вопрос так ясен и бесспорен. Прочтите драму «И свет во тьме светит». Вы недоумеваете — что же мешает Николаю Ивановичу поступить так, как ему приказывает совесть? Что его связывает с его тупою, хитрою и бессердечною женою? Почему он так покорно и робко отступает каждый раз перед ее напором? Ответ может быть только один: слабый, безвольный человек, совершенно ясно видящий дорогу, но не смеющий выйти из-под власти своей Ксантиппы. Между тем в ремарке этот Николай Иванович характеризуется как «сильный, энергичный».

Дело в том, что отношения между Толстым и Софьей Андреевной вовсе не походили на отношения между Сократом и Ксантиппой и не походили также на отношения между Николаем Ивановичем и Марьей Ивановной в драме «И свет во тьме». Драма эта представляет из себя только взволнованный набросок, сделанный художником в горячке личных переживаний. Это только схема, только голый остов, который еще должен был заполниться живою плотью и кровью, засиять внутренним светом толстовского творчества, стоящего выше личного раздражения, полного любви и всепонимания. Тогда и сущность драмы стала бы нам понятнее.

Софья Андреевна — не Ксантиппа, и отношение к ней Толстого — не отношение к своей жене Сократа, стоически-спокойно несущего посланную ему судьбою семейную казнь. Толстой горячо и нежно любит жену. В разлуке они неизменно пишут друг другу *каждый день*. Если два-три дня нет писем, оба они одинаково уже волнуются и беспокоятся. В каждом письме он подробно ей сообщает о своем здоровье и житье — что сегодня у него была изжога, что покалывает в бок, что маленький угар был, что мышь мешала ему спать. Чуть он себя почувствует немного худо, — она все бросает и, сама больная, в жару, едет к нему. В 1895 году он ей пишет: «Хотел тебе написать, милый друг, в самый день твоего отъезда, под свежим впечатлением того чувства, которое испытал, а вот прошло полтора дня, и только сегодня пишу. Чувство,

которое я испытал, было странное умиление, жалость и совершенно новая любовь к тебе, любовь такая, при которой я совершенно перенесся в тебя, и испытывал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него, да знаю, что ты будешь рада слышать это. Странно это чувство наше, как вечерняя заря. Только изредка тучки твоего несогласия со мной и моего с тобой уменьшают этот свет. Я все надеюсь, что они разойдутся перед ночью и что закат будет совсем светлый и ясный». После смерти их любимого мальчика Ванечки Толстой пишет одному из своих друзей: «Больше чем когда-нибудь, теперь, когда она так страдает, чувствую всем существом истину слов, что муж и жена не отдельные существа, а одно».

При таком их взаимном отношении нам легче станет понять, почему так смертно труден был для Толстого его уход от жены. Для него это значило — с мукой, с кровью вырвать из сердца глубоко вросшую в него любовь и вырвать всякую жалость. Он будет глубоко и блаженно дышать свежим воздухом чистой, новой жизни, а в это время она, эта больная, измученная женщина, будет где-то в одиночестве озлобленно исходить в проклятиях и хулениях на жизнь, а возможно — будет уже лежать в земле, изрезанная в куски колесами увезшего его поезда,— как Анна Каренина, «жестоко-мстительная, торжествующая, совершившая угрозу никому не нужного, но неизгладимого раскаяния». Одною из особенностей Толстого была, между прочим, его способность до боли ярко и осязательно представлять себе рассказываемые или воображаемые события. И он не мог не знать, что угрозы Софьи Андреевны не были пустыми угрозами. После совершившегося бегства Толстого в 1910 году она, как тогда писали в газетах, действительно бросилась в студеный октябрьский пруд, чтобы утопиться, и ее вытащили следившие за нею близкие.

Вот в чем был «соблазн», тридцать лет удерживавший Толстого от ухода, а не в салате из помидоров и ячменном кофе со сливками, которые ему готовила Софья Андреевна. Вот почему он говорил себе: «так надо!» То «неожиданное, исключительное унижение», которое ему постоянно приходилось испытывать дома, представлялось ему, именно вследствие своей тяжести, тем бременем, которого он не имеет права сбросить. «Такое желание,— пишет он Черткову,— есть желание внешних благ для себя,— такое же, как желание дворцов, и богатства, и славы, и потому оно не Божие». И в дневнике он пишет: «Вместо жертвы примера победительного,— скверная, подлая, фарисейская, отталкивающая от учения Христа жизнь. Но ты, Боже, знаешь, чтó в моем сердце, и чего я хочу. Если не суждено, не нужен я тебе на эту службу, а нужен на навоз — да будет по-твоему. Это скверный

эгоизм. Самому хочется? Да. Дай мне жизни настоящей. И эта жизнь есть, и дана, и просить нечего».

Несомненно, что такое решение, даже с евангельской точки зрения, было падением, было сбереганием души,— тем сбереганием, о котором в Евангелии сказано: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». И Евангелие говорит слишком ясно: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит... жены своей и детей своих, тот не может быть моим учеником». Вот на эту-то святую «ненависть» у Толстого не хватило душевной силы. Но именно этот «соблазн», и только этот, удерживал его от ухода, а не привязанность к внешним благам, его окружавшим.

И столь же несомненно, что, будь у Толстого не такая жена, он уж давно легко и радостно ушел бы в новую жизнь. Как жадно томился он по жене, истинной ему духовной подруге и помощнице, показывает любопытное послесловие его к одному чеховскому рассказу. Помните вы рассказ Чехова «Душечка»? Очень глупенькая девушка с бесконечно любящею душою выходит замуж за антрепренера летнего сада. Всем сердцем она живет его интересами. Самым важным и нужным на свете она считает театр, негодует на публику, которой нужен «балаган», которой подавай «пошлость», а вот у нас вчера шел «Фауст наизнанку», и почти все ложи были пустые. После смерти антрепренера она выходит за лесного торговца — и самым важным делом в жизни начинает считать лесное дело, а о театре отзывается: «Мы — люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего?» Сходится потом с ветеринаром — и самым важным в жизни считает ветеринарный надзор и т. д. Отношение Чехова к ней — добродушно-насмешливое, и другим, конечно, отношение это и не может быть: полюбит такая «душечка» революционера — и пойдет с ним на смерть; а останется жива, выйдет за палача,— и будет ругать революционеров, задающих так много работы ее мужу. Но Толстой от этой «душечки» в восторге; его так подкупает ее способность слиться душою с делом любимого человека, что смешных и отрицательных ее сторон он совершенно не замечает. «Без женщин-врачей и сочинительниц мы обойдемся, но без помощниц, подруг, утешительниц, любящих в мужчине все то лучшее, что есть в нем, и незаметным внушением вызывающих и поддерживающих в нем все это лучшее,— без таких женщин плохо бы было жить на свете. Не было бы Марии и Магдалины у Христа, не было бы Клары у Франциска Ассизского, не было бы у духоборов их жен, которые не удерживали мужей, а поддерживали их в их мученичестве за правду. В этой любви, обращена ли она к антрепренеру Кукину или к Христу, главная, великая, ничем не заменимая сила женщины».

Относительно Толстого нам горько приходится пожалеть, что женою его не была хоть бы «душечка», если не Мария и не Клара. Мы имели бы в таком случае перед собою невиданно красивую и своеобразную жизнь, цельную и гармоническую. В изображении самого крупного художника она, может быть, казалась бы нам неправдоподобной. А мы бы ее увидели въявь, собственными глазами.

VI

Но этого не случилось. На дороге Толстого выросла непреодолимая для него преграда — и «биография» остановилась. Степной конь, вольно мчавшийся по равнинам жизни, был насильственно взнуздан и поставлен в конюшню. Помните, как у Флобера: «Я истощился, скача на одном месте, как лошади, которых дрессируют в конюшне: это ломает им ноги». На целых тридцать лет Толстой оказался запертым в такую конюшню.

Тяжело наблюдать за этот период жизнь Толстого. Такая она сдавленная, скомканная, такая для него несвойственная! По существу, он не имеет возможности претворить своих стремлений в дело, а стремления есть, властно требуют своего осуществления. И получается осуществление на одну сотую, на одну тысячную долю,— маленькое, никчемное, вызывающее улыбку и раздражительное недоумение. Дом полон прислуги; горничным и дворникам делать нечего, а Толстой сам стелет себе постель и топит печку. На корм охотничьим собакам молодым графом тратится по сорок четвертей овса в год — «вдвое более того, что осчастливило бы десятки семей», по замечанию Толстого, а Толстой в этой избыточной жизни сам шьет себе сапоги. Лакеи самим существом своей работы поставлены в унизительное положение, а Толстой, в этих условиях их работы, демонстративно здоровается с ними за руку, вызывая в них только смущение и конфуз. «Какая-то игра в Робинзона,— презрительно пишет Софья Андреевна.— Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало!»

В Москве Толстой уходит на Воробьевы горы пилить с мужиками дрова,— дело, для них нужное, а для него, на их глаза, барское баловство. В деревне у себя сам пашет, косит, убирает сено, когда есть наемные работники. И описание участниками этой работы Толстого дает тяжелое впечатление какой-то ребяческой забавы, игры в мужички,— как Толстой серьезно подбадривает их, как говорит: «Наляжем! После солнца нельзя работать. Так старики учат!» Он и на деревне работает — пашет землю у вдовы, сам складывает ей печку. В условиях той бедности, которой Толстой для себя желал, это была бы действительно проповедь христианской любви делом. Но теперь, когда это делал барин-

граф, когда мимо на великолепных лошадях со сворами борзых собак проезжали сытые, бездельные его сыновья,— вдова могла видеть в работе Толстого одну лишь блажь: купил бы сынам парою собачек меньше,— и нечего было бы самому пачкаться, да морить себя на ее пашне. И, конечно, Толстой хорошо понимал всю фальшь и ненужность этих своих трудов. «Мне нехорошо,— пишет он Черткову,— физическая работа почти бесцельная, т. е. не вынужденная необходимостью, отношений с окружающими меня людьми почти нет: приходят нищие, я им даю гроши, и они уходят. Мне очень тяжело».

В дневнике своем он рассказывает, как однажды хорошо поговорил со встречным мужиком-пахарем о боге, как убедил его бросить пить вино. Мужик пришел к нему за книжками. «Я с гостями сидел на великолепной террасе, перед разбитыми клумбами, урнами среди цветочных горок,— вообще среди той роскошной обстановки, за которую всегда стыдно перед людьми рабочего народа, когда вступаешь с ними в человеческие сношения». Этот стыд — тяжелый, стесняющий, давящий душу — теперь становится постоянным душевным состоянием Толстого. И это у человека, по натуре своей не переносящего ничего половинчатого, недоделанного, никакой фальши! По натуре своей — бойца, смелого и задорного. Что же это за муки должны были быть!

Пришел однажды в Москве к Толстому сын известного сектанта крестьянина Сютаева. Сын этот отказался от несения военной службы и только что отбыл наказание в шлиссельбургском дисциплинарном батальоне. После беседы молодой Сютаев собрался уходить, а было уже поздно. Толстой стал оставлять его ночевать. Тот жмется и отказывается.

— Что такое? Почему?

— Да, признаться, Лев Николаевич, в бане давно не был. Очень вошь замучила.

— Ну, вот, пустяки какие! Оставайся. Я очень буду рад, если в моем доме рабочая вошь заведется. (Воспоминания И. Ф. Наживина.)

Кто в здоровых, нормальных условиях станет радоваться такой своеобразной чести? И кто, не принужденный переживать этого вечного стыда за себя, способен говорить так?

И всё теперь — против Толстого, и даже слава его превращается для него в проклятие. Товарищи его и ученики идут в ссылку, в тюрьмы, в дисциплинарные батальоны, а его самого никто не смеет тронуть Он пишет министрам, что корень зла — в нем, Толстом, что странно наказывать распространителей его учения, а его самого не трогать. Министры молчат. Александр III злорадно замечает: «Толстой ждет от меня мученического венца,— не дождется!» Кто делает то, что считает делом своей жизни, не дол-

жен бояться мученического венца. Но нелепо желать его. В тех же условиях, в которые попал Толстой, самодовлеющее мученичество — само по себе столь противное его здоровой натуре — начинает ему представляться верхом счастья. Он пишет одному из своих единомышленников, сидящему в тюрьме: «Ничто бы так вполне не удовлетворило меня и не дало бы мне такой радости, как то, чтобы меня посадили в тюрьму, хорошую, настоящую тюрьму: вонючую, холодную, голодную. Это доставило бы мне на старости лет искреннюю радость и удовлетворение».

Жажда дела все время мучит его великая. Но нет утоления этой жажде. В 1885 году он пишет жене из Крыма: «Здесь хорошо; но хорошо с людьми своими и с делом. Дело-то, положим, есть мне всегда, но какое-то слишком уже легкое. А я привык к очень напряженному». А какое такое напряженное дело, в которое он бы ушел всею душою, мог он найти в условиях своей жизни?

В 1891 году значительную часть России постиг жестокий голод. Паллиативное кормление голодающих могло удовлетворить Толстого в 1873 году, во время самарского голода, при тогдашнем его отношении к бедам жизни как к несчастной случайности. Теперь же он так относиться к этому не мог. Он пишет Лескову: «Люди, которые живут всегда не заботясь о народе, часто даже ненавидя и презирая его, вдруг возгораются заботами о меньшом брате! Мотивы их — и тщеславие, и честолюбие, и страх, как бы не ожесточить народ. Я же думаю, что добрых дел нельзя делать вдруг по случаю голода, а что если кто делает добро, тот делал его и вчера, и третьего дня, и будет делать его и завтра, и послезавтра, и во время голода, и не во время голода».

Но слишком в нем сильна потребность деятельности. Он едет в голодные местности на несколько дней, чтобы на месте ознакомиться с положением и написать статью о голоде,— увлекается, и остается на два года, и развертывает свою знаменитую деятельность по кормлению голодающих. И два года устраивает столовые, в осеннюю распутицу переезжает из деревни в деревню, весь уходит во всякого рода счеты и расчеты, подсчитывает муку, картофель, горох. «Тут отношения кормящих к кормимым,— пишет он художнику Н. Н. Ге,— тут греха конца нет, но не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать, что-то делать». И все-таки его временами охватывает омерзение. «Я живу скверно,— пишет он одному из друзей.— Сам не знаю, как меня затянуло в эту работу по кормлению голодных. Не мне, кормящемуся ими, кормить их. Но затянуло так, что я оказался распределителем той блевотины, которою рвет богачей. Это скверно и противно, но не могу. Раз попавши в это положение, уж невозможно, прямо не могу отстраниться».

Нет подходящего дела, которое бы давало удовлетворение душе. И вот весь огромный избыток энергии, раньше уходившей у этого человека в жизнь, теперь направляется... на писание. Он пишет, пишет, пишет... Все пишет о том, как нужно служить Богу, как нужно жить. Еще в 1881 году он писал В. И. Алексееву: «То, что я писал и говорил, достаточно для того, чтоб указать путь; всякий ищущий сам найдет, и найдет лучше и больше, и свойственнее себе доводы, но дело в том, чтоб показать путь. Теперь же я убедился, что показать путь может только жизнь,— пример жизни... Действие этого примера одно дает толчок, пример,— доказательство возможности христианской, т. е. разумной и счастливой жизни при всех возможных условиях — это одно двигает людей».

Но этого-то одного Толстой и не имел возможности дать. Он пишет другу, сообщившему ему о мужественном поведении в тюрьме двух его последователей: «Какая сила! И как радостно,— все-таки радостно за них и стыдно за себя... Одно остается: сидя за кофеем, который мне подают и готовят, писать, писать... Какая гадость! Как бы хотелось набраться этих святых вшей. И сколько таких вшивых учителей, и сколько сейчас готовится...»

И он пишет, пишет... Ужасно много пишет. «Я перестал себя чувствовать: une machine à écrire (пишущая машина)»,— сообщает он жене. Когда сотни за сотнями перелистываешь страницы религиозных писаний Толстого, думаешь: все учение Христа полно изложено в одной маленькой книжечке, да и то наполовину заполненной повторениями и рассказами о всяких чудесах. Нужно ли было для дела Толстого его многописание? И суть здесь не в несогласии с его взглядами. Книга Иова и Евангелие, Платон и Марк Аврелий, Паскаль и Ламеннэ, Шопенгауэр и Ницше,— можно с ними совершенно не соглашаться и все-таки с наслаждением читать их и перечитывать. Но навряд ли кто-нибудь, кроме правоверных учеников Толстого, перечитывает томы его религиозных писаний. Скучны они. И в них совершенно уже не чувствуется духа искания,— этого духа, составляющего главную прелесть Толстого. Теперь истина вся целиком в его обладании.

Случилось то же, что случилось бы, если бы Толстому в свое время не пришлось жениться. Мы знаем, какое важное и серьезное значение придавал он семейной жизни. Женился он уж тридцати четырех лет. Легко могло случиться, что и в эти годы он не нашел бы подходящей подруги,— именно потому, что слишком большое значение придавал этому. И остался бы холостяком. И тогда бы всю жизнь он много и упорно писал о счастии и поэзии семейной жизни — желанной и недостигнутой. И не было бы у нас «Крейцеровой сонаты», не услышали бы мы от него о браке то, что он писал, изжив семейную жизнь. Например: «Главная

причина семейных несчастий та, что люди воспитаны в мысли, что брак дает счастье. Но брак есть не только не счастье, но всегда страдание, которым человек платится за удовлетворенное половое желание» (Дневник).

Так и теперь. Найденная Толстым истина, не претворенная в жизнь, постепенно закоченела, застыла, сделалась абсолютною. Толстой стал «пророком». Тяжелая болезнь в 1901 году, как подступившая смерть в 1910 году, по-видимому, опять всколыхнула этот ищущий дух. Характерно наблюдение Максима Горького о перемене, которую он заметил в Толстом во время болезни: «Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, и он внутренне стал как бы легче, прозрачнее, жизнеприемлемее. Глаза еще острее, взгляд пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать,— человеком решенных вопросов».

Нечего гадать, что было бы с Толстым, если бы он осуществил в жизни свое учение,— к какого рода углублению и расширению живой жизни он бы пришел. Но одно несомненно,— к у д а - т о он пошел бы дальше. Один богатый и знатный японец, бывший журналист Току-Томи, стал толстовцем. Он пишет о себе в сборнике, изданном П. А. Сергеенко ко дню 80-летия Толстого: «Теперь я живу на маленькой ферме, недалеко от Токио, в крошечном домике, со своею женою и собакою. Я развожу картофель и другие овощи. Я провожу день за днем, работая заступом, обрабатывая землю и выпалывая сорные травы. Почва так не возделана, сорные травы так быстро растут, особенно в эти летние дни. Все время, всю энергию я трачу на то, чтобы полоть, полоть, полоть... Может быть, таков уклад моей души, может быть, таков строй несовершенного мира. Однако я вполне счастлив. У нас прекрасный сон и хороший аппетит. У нас есть все, что нам нужно».

Он вполне счастлив. И, может быть, на всю жизнь останется счастлив и доволен собою. А Толстой,— он, возможно, пополол бы год-другой, а потом... Потом дикий конь перескочил бы через забор огорода и помчался бы куда-то вдаль... Куда? Кто знает? Но как обидно, как горько обидно, что судьба так долго проморила в запертом стойле этого великолепного арабского коня и на тридцать лет задержала его прекрасный бег!

VII

В 1910 году, темною октябрьскою ночью, Толстой тайно покинул Ясную Поляну. В письме, оставленном жене, он писал, что не может больше жить в той роскоши, которая его окружает, что

хочет провести последние годы жизни в уединении и тиши, просил жену понять это и не ездить за ним, если она узнает, где он.

Он поехал к своей сестре-монахине в Шамардино, Калужской губернии, думал прожить там с месяц. И вдруг зловещий призрак женщины, искривившей всю его жизнь за последние тридцать лет, опять встает на горизонте. Получено известие, что Софья Андреевна едет за ним. Больной, с повышенной температурой, под дождем и ветром, он рано утром с другом доктором и дочерью уезжает на лошадях за восемнадцать верст в Козельск, там садится в поезд, чтобы пробраться в Ростов. На станции Астапово, тяжко больного, его приходится снять с поезда и поместить в домике начальника станции.

Он умирает — это ясно и для него самого, и для всех окружающих. И не как пророк он умирает. Опять перед нами прежний Толстой — ничего еще окончательно не нашедший, все еще ищущий.

— А мужики-то, мужики-то как умирают,— жалостно говорит он.— Как видно, мне в грехах придется умирать...

И перед самой смертью шепчет про себя:

— Не понимаю, что мне делать!

Последние слова Гёте были: «Побольше света!» Последние слова Виктора Гюго были тоже какие-то очень хорошие,— не помню, какие. Последние слова Толстого: «Не понимаю!» И пускай. В своем роде эти слова еще прекраснее, чем самые возвышенные изречения.

Толстой не был пророком, не был святым. Но он был чем-то, что не менее важно для жизни. Он был страстным, безоглядным искателем, человеком, «взыскующим града». И был он еще художником, сумевшим собственную свою жизнь сделать одним из самых прекрасных своих произведений. И благодарение судьбе, что она дала ему возможность своим уходом внести последний, заключительный штрих в это художественное произведение жизни. Толстой умер не в прочно-оседлом яснополянском обиталище, он умер в пути, на глухом полустанке. Но через этот полустанок, ярко блестя рельсами, уходит вдаль бесконечная дорога.

1921.

ОГЛАВЛЕНИЕ